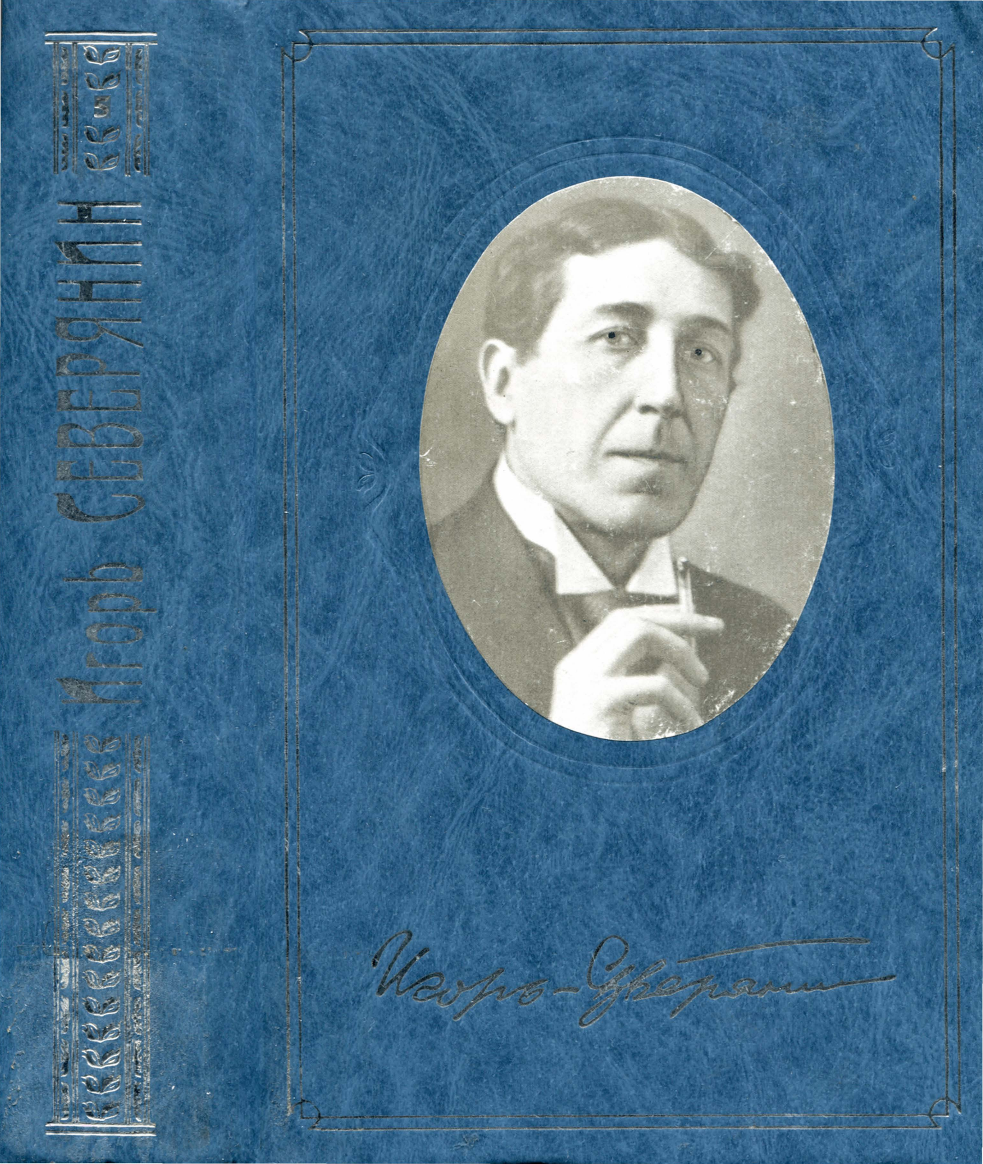
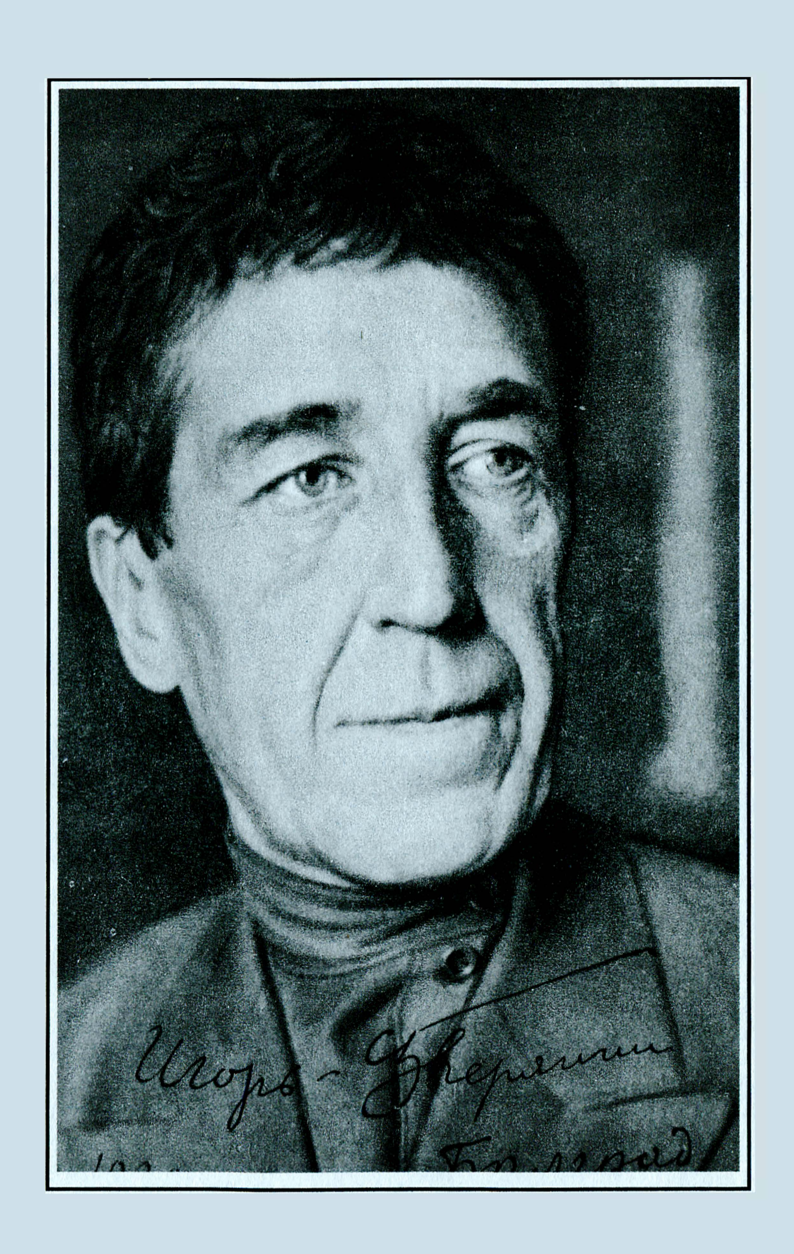

5
Игорь Северянин
Игорь-Северянин




Игорь-Северянин



СОЧИНЕНИЯ
в пяти томах

Том пятый





Санкт-Петербург
Издательство
«LOGOS»
1996

ББК 84.Р1
С28

Составление, подготовка текста, вступительная статья
и комментарии
В. А. КОШЕЛЕВА и В. А. САПОГОВА

Фотографии для публикации предоставлены
Череповецким музейным объединением

Подбор фотографий Н. Т. ДОКУМЕНТОВОЙ

Художник В. КОРНИЛОВ

С $\frac{4702010102}{Г73(03)-96}$ Подписное

ISBN 5-87288-085-5 (т. 5)
ISBN 5-87288-080-4



«УСНУВШИЕ ВЕСНЫ»







ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О К. М. ФОФАНОВЕ

I. СТИХИ, МНЕ ПОСВЯЩЕННЫЕ

Я гость не лишний, не случайный
И говорю Тебе: Поверь,
Нежнее будь с сердечной тайной
И к ней припри плотнее дверь.
Оберегай ее, как сторож,
Когда падет ночная тень,
Чтобы какой-нибудь заморыш
Не отравил твой добрый день...—

писал мне К. М. Фофанов на своей книге «Тени и тайны» в 1910 году, осенью, в Петербурге, зайдя ко мне почитать и послушать стихи, как он любил это делать, наезжая в столицу из Сергиева, где провел последние два года своей жизни. В этих стихах таится как бы некое пророчество, и сколько с тех пор разных жалких «заморышей» старались и стараются изо всех сил отравлять мои «добрые дни». Я намекаю на критиков, завистников, женщин. Но, как я сказал когда-то: «Искусство с нами,— и Бог за нас!»

Фофанов сде́лал мне много посвящений — и в стихах, и в прозе. В моем альбоме, оставленном при отъезде из Петербурга 28 января 1918 года одному моему хорошему знакомому, Борису Николаевичу Башкирову-Верину, имеется (имелось?) около двадцати фофанов-

ских посвящений, и некоторые из них были замечательными, как, например, посвящение в прозе, сделанное в 1908 году, когда К. М. гостил у меня несколько дней на мызе Ивановке под Гатчиной.

«Ничего лучшего не мог я придумать, что показал мне Игорь-Северянин. Чту его душу глубоко. Читаю его стихи, и все говорит мне: в Тебе — Бог!»

Часто я вспоминаю свои альбомы и очень беспокоюсь об их судьбе: там были стихи и письма, и некоторые с каждым годом приобретают все большее и большее историческое значение. Там были автографы Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Зинаиды Гиппиус, Леонида Афанасьева, Изабеллы Гриневской, Вл. Г. Короленко, Т. Л. Щепкиной-Куперник, И. Ясинского, К. Чуковского, Александра Масаинова, Ан. Н. Чеботаревской, Н. А. Тэффи, Н. Гумилева, Н. И. Кульбина, К. Льдова, А. Измайлова и многих, многих других. У того же знакомого я оставил пятнадцать толстых книг, чьи печатные страницы сплошь заклеены вырезками из журналов и газет всей России — рецензиями о моем творчестве и моих эстрадных выступлениях. Были в этих книгах собраны и все карикатуры на меня, а их было порядочно. Там же оставлен и шарж на меня углем работы Владимира Маяковского — голова в натуральную величину. Самое печальное, что этот знакомый бежал из России в 1920 году, и судьба всех этих ценностей ныне мне неизвестна, хотя он и уверял меня в прошлом году в Берлине, что эти книги, как ему «достоверно известно», находятся в полной сохранности. Однако, я все же сильно боюсь, тем более, если принять во внимание, что многие автографы не подлежат восстановлению, так как иных авторов уже нет на свете, как, например, Фофанова, Мирры Лохвицкой или Гумилева. Несмотря на свою блестящую память, большинство стихов, посвященных мне, основательно уже много за эти годы позабыто, и дабы избежать полного их забвения, ибо многие вовсе не были напечатаны, я стараюсь привести здесь те из них, которые еще свежо помню.

Очаровательную балладу Фофанова «Об Мирре и Принце», мне и Мирре Лохвицкой признательно посвященную, я, к крайнему моему сожалению, восстановить уже теперь не сумею. Зато я приведу великолепное его стихотворение, обращенное ко мне, носящее название «Пророк Илья»:

Пророки шли дубровой темной.
Один — Илья, чья речь, как гром.
Другой — его преемник скромный,
Босой, с лысеющим челом.
И говорит Илья: «Довольно
Мне в мире быть среди людей —
Гряди и властвуй речью вольно,
Греми, преемник Елисей!
Я ухожу — земного хлеба
Не надо мне, бессильна плоть...
Я ухожу к Творцу на небо:
Пора, пора — зовет Господь...»
И вышли старцы из дубровы.
Смеркалось. Засыпала степь.
Вдали теснился град суровый,
И огоньков далеких цепь
Вдали рассеянно блестела,
И сон пустыни был глубок,
И за Ильею шел несмело
Другой — обиженный — пророк...
Вдруг шум раздался из дубровы.
В пустыне был нарушен сон.
И был, по воле Иеговы,
Илья на небо вознесен!
И, в страхе падший на колени,
Воззрел на небо Елисей,
Где мчались кони, рвали тени
Среди молниеносных змей...
И роковая колесница
Гремела тяжко меж огней,
И мчалась легкая, как птица,
Четверка пламенных коней!
И между тем, как пламенея,
Гремел и плакал небосклон,
К ногам скатился Елисея
Ильи разодранный хитон!..

Фофанов, вообще, очень любил меня, всячески поощряя мои начинания и предрекая им постоянно громкую будущность; но мой уклон к модернизму его всегда печалил, а иногда и раздражал. Он написал даже две пародии на мои стихи, которые тоже вошли в один из двух моих альбомов. К сожалению, я их не помню, да и вряд ли они характерны для него, так как написаны... в прозе! Из других полушуточных стихов я приведу следующие, написанные им в одно из моих посещений, когда он проживал в Гатчине. Было это зимою 1908 года. Я пришел к нему с мызы Ивановки на лыжах. Лыжный спорт с детства — один из моих любимейших, и на своих одиннадцатифутовых норвежских беговых лыжах с пружинящими ход американскими «хомутиками» я пробегал большие расстояния.

Я видел вновь весны рожденье
Весенний плеск, веселый гул,
Но прочитал твои творенья,
Мой Северянин,— и заснул...
И снилось мне: в стране полярной
В снегу и в инее сады,
Где лился свет луны янтарной
На зачарованные льды.
И спало все в морозной неге
От рек хрустальных до высот,
И, как гигант, мелькал на снеге
При лунном свете лыжеход...

Никто, думается, не будет спорить, что в этом пустяке много настроения и что он весь насыщен чистейшей лирикой именно в фофановских тонах. Стихи, подобные этим, я причисляю к истинным произведениям поэзии: несмотря на свою скромную форму, размер, бедноту рифм и общую кажущуюся банальность, они так пленительны и полны такого тайного очарования, что повторять их бесконечно является настоящим наслаждением, я сказал бы потребностью каждого, кто любит и чувствует красоту.

Из других посвящений мне Фофанова я вспоминаю еще слегка декадентскую «Серенаду»:

Над прудом кружилась долго
Голубая стрекоза,
Закрывая от восторга
Изумрудные глаза...
Чуть колеблелась осока,
Наклоняя тощий стан,
А в саду неподалеку
Цвел оранжевый тюльпан.
И, предвидя новолунье,
Он влюбился в стрекозу,
И летит к нему шалунья
Утереть его слезу...

Бывши поэтом-пушкинианцем, молясь на Пушкина, он любил простоту и ясность, хотя сам не был чужд свежих образов, смелых эпитетов. Он мог сказать: «безлиственная ночь» и, вероятно, весьма удивился бы, если бы ему указали на дерзновение данного выражения. Происходило это оттого, что в творчестве своем, как истинно художественном, он часто бывал подсознателен. Недаром многие критики называют Фофанова первым русским декадентом. Да, действительно в нем было то, что подходит под это наименование, но как он не любил, можно сказать, даже ненавидел «декадентов»,—

как называла критика того времени, Брюсова, Блока, Сологуба. В одном из писем ко мне он дошел до того, что прямо-таки называл вышеназванных поэтов... бездарностями (!) и предостерегал меня от подражания им.

В заключение привожу его стихи, написанные мне в 1908 году на книге его «Иллюзии»:

Все люблю я в Игоре,—
Душу и перо!
Жизнь его, ты выгори
В славу и добро!
Песнь его прекрасная,
И, как зорька ясная,
Озари всевластная,
На Парнасе высь!

II. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОЭТА

5 мая 1911 года, когда я только что закончил свой знаменитый «Весенний день», раздался звонок, и в мой кабинет вошел, как всегда возбужденный и нервный, Фофанов в сопровождении своего сына Константина, впоследствии футуриста Олимпова, оставившего после себя печальную память своими дикими выходками и причудами вплоть до запускания в публику стульями...

Этот случай имел место на первом моем поэзоконцерте в Петербурге, в зале Тенишевского училища, в октябре 1913 года, где среди двадцати трех участвующих литераторов и артистов выступал и этот неистовый юноша. В тот вечер вступительное слово о моем творчестве произнес покойный ныне Н. И. Кульбин.

...Я прочел пришедшему Фофанову свое новое, только что законченное стихотворение, и с каким искренним восторгом он выслушал его, как обнимал меня, растроганный и восхищенный. «Вот как надо писать, радость моя! — говорил он со слезами на глазах.— Забудь все декадентские исхищрения, они тебе не к лицу. Пиши всегда так же просто и ясно, как написал этот „Весенний день“, и ты будешь всенародным русским поэтом. А теперь я пришел к тебе напомнить, что жду тебя и твою маму к себе в Сергиево 8 мая — в день моего рождения. Приезжайте обязательно и помните, что особых приглашений в этот раз не будет. Так смотрите же, будьте непременно».

Посидев около часа, гости ушли, а уже 10 мая, т. е.

через пять дней после их посещения, в «Биржевых ведомостях» появилось сообщение о серьезной болезни Фофанова. Тотчас же я собрался поехать в Сергиево, взволнованный этим известием. В это время приехал за мной Леонид Николаевич Афанасьев, весьма встревоженный и расстроенный тем же, и мы отправились с ним к больному.

Застали его в постели,— как всегда, без гроша в доме. Он жаловался на боли в левом боку, кашлял, но был весел и оживлен, по обыкновению много шутя и развлекая нас остротами и эпиграммами преимущественно на высочайших особ. Он потребовал, чтобы жена распорядилась послать за водкой и, несмотря на наши протесты и на доводы о вреде вина во время болезни, водка все же была добыта, и мы принуждены были, скрепя сердце, выпить с ним несколько рюмок, Афанасьев наверняка не более одной.

Пробыв у больного до позднего вечера, мы с Афанасьевым возвратились с последним поездом в Петербург, вполне успокоенные состоянием здоровья Константина Михайловича и негодуя на преувеличенные газетные сведения... Можно представить себе поэтому наше изумление, когда через два дня в той же газете и в «Новом времени» появились заметки об ухудшении здоровья поэта и о переводе его в закрытом автомобиле на Васильевский остров, в лечебницу доктора Камераза.

Мы бросились по указанному адресу и нашли нашего друга в большой светлой палате, до неузнаваемости исхудавшего, пожелтевшего, обстриженного «под ноль», с выбритой бородой и усами. Вскоре появился Аполлон Коринфский, и мы учредили нечто вроде дежурства у постели больного. Доктор Камераз, сердечно предоставивший поэту палату и лечение совершенно безвозмездно, покачивал головой и не скрывал от нас серьезности его положения. Три болезни одновременно — воспаление левого легкого, нефрит и белая горячка — овладели несчастным. Он был еще в полном сознании, лишь по временам впадая в бредовое состояние. Камераз поддерживал его шампанским.

Всю эту неделю, до последнего часа своей жизни, он не переставал водить рукой по стене, как будто что-то писал: очевидно, творчество не покидало его до самой смерти. Бросалось в глаза полное отсутствие людей искусства, которым даже в голову не приходило наве-

стить больного, хотя бюллетени о его здоровье печатались в газетах ежедневно. Лидия Константиновна, жена Фофанова, в это время проживала в нашей квартире на Средней Подьяческой 5, ежедневно навещая мужа.

Семнадцатого утром, оставив Афанасьева у постели больного, я выехал на станцию Елизаветино по своим делам. Возвратясь около трех часов дня, я наскоро пообедал и, почему-то переодевшись в чужой сюртук, поспешил без «особых приглашений» в лечебницу. Там я спросил у одной из сиделок, встреченной мною в коридоре, о здоровье больного. «Он скончался сегодня»,— был ее ответ.

Я вошел в зал, где шли приготовления к первой панихиде. А. А. Измайлов и И. Ясинский были уже там. Отведя Измайлова в сторону, я спросил у него, где и на какие средства он предполагает хоронить поэта. «Видите ли, деньги на похороны дают редакции „Биржевых ведомостей" и „Нового времени". Что же касается места погребения, я думаю, лучше всего избрать Волково кладбище, на Литературных мостках которого спят Тургенев, Надсон и другие писатели».— «Да, но известно ли Вам,— спросил я у него,— что у Фофанова было определенно выраженное желание, чтобы его похоронили непременно в Новодевичьем монастыре, о чем он неоднократно мне упоминал, а в последний раз, когда пятого мая, на вид совершенно здоровый, посетил меня, он еще раз напомнил мне об этом, обронив следующую знаменательную фразу: „А мне что-то все нездоровится последнее время. Помни, радость моя, когда я умру, обязательно настаивай на Новодевичьем. Только не на Волковом!" — почти злобно закончил он».

Измайлов выслушал меня внимательно, но отказал, мотивируя это безумной дороговизной мест на кладбище Новодевичьего монастыря. Редакции же, по его словам, таких расходов нести не пожелают. Тогда я призадумался, искренне огорченный. Вдруг меня осенило. «Костя,— сказал я, обращаясь к сыну покойного,— сделаем так, чтобы воля твоего отца была выполнена». Но Костя, совершенно растерянный, никаким советом помочь мне в моем намерении не мог. Тогда я, взяв его с собою, направился, влекомый интуицией, в редакцию «С.-Петербургских ведомостей», предварительно узнав цену могилы, и просил лакея доложить о нас князю Эсперу Эсперовичу Ухтомскому, которого до этого дня лично не знал вовсе.

Когда, минут десять спустя, мы были приняты им, я обратился к нему со следующими словами: «Как Вам известно, умер Фофанов. Его воля: быть похороненным на кладбище Новодевичьего монастыря. Эта воля для нас с ним (я указал на Костю) — священна: он его сын, я — друг и сам начинающий поэт. Обращаюсь к Вам как к поэту и человеку: дайте двести пятьдесят рублей — разницу стоимости мест на двух кладбищах, и Вы выполните свой долг, долг художника». Князь Ухтомский мгновенно выполнил мою просьбу, и, когда я стал благодарить его, он остановил меня одной фразой: «Не Вы меня, а я должен благодарить Вас за любовь к поэту, за стремление выполнить его волю». Мы с Костей отправились в монастырь и выбрали место рядом с могилой Врубеля.

Двадцатого мая состоялись похороны. Князь Ухтомский принимал в них живейшее участие. Публики было немного: человек триста. Литературный мир по-прежнему блистал своим отсутствием... Перечислю присутствовавших: Леонид Афанасьев, Аполлон Коринфский, М. О. Меньшиков, Владимир Лебедев, И. Ясинский, А. Измайлов, доктор Студенцов, полковник И. А. Дашкевич и... публика. Мы читали стихи, возмущались равнодушием людским и разошлись по домам. У нас состоялись поминки.

Так был похоронен выдающийся русский поэт, временами достигавший гениальности! Он умер пятидесяти лет, и, если и дожил до этого возраста, то благодаря лишь А. С. Суворину, дававшему ему ежемесячно пятьдесят рублей, и Академии Наук, откуда он получал по двадцать рублей в месяц. Все же остальные заработки, как у чистого поэта, бывали случайны и более чем эфемерны.

Озеро Uljaste
Декабрь. 1923

О ТВОРЧЕСТВЕ И ЖИЗНИ ФОФАНОВА

Творчество Фофанова полярно: с одной стороны жалкая посредственность, с другой — талант, граничащий с гением: «Скорей в *постелю*, поэтесса...» и «Я сердце свое захотел обмануть, А сердце меня обмануло...» написано одним и тем же автором! Этому даже поверить трудно, однако это так. И у него это постоянно. И сколько раз Академия Наук не присуждала из-за этого Пушкинской премии, награждая ею стихотворцев, талантливость которых более чем сомнительна и идти в сравнение с фофановской вовсе не может. Но зато у них не было того, что сплошь и рядом портило строфы Фофанова: вопиющей небрежности, необдуманной на́скорости.

Я предложил как-то в Москве своему издателю, ныне расстрелянному, В. В. Пашуканису, издать сборник избранных стихов Фофанова. Пашуканис, человек с университетским образованием, вдобавок обладавший большим вкусом и сам писавший далеко не дурные стихи, сначала улыбнулся моему предложению, но, когда я стал приводить ему перлы поэта, улыбка сошла с его лица, и он с большим вниманием слушал замечательные стихи, которые я выискивал в фофановских книгах. В заключение было решено издать книгу страниц в сто, не более, и тогда-то, можешь представить себе, русский читатель, какое сокровище истинной поэзии было бы у тебя в руках! Это была бы воистину изумительная книга, да она и будет со временем, если только Господь продлит мою жизнь, ибо я знаю, что выбрать из Фофанова и что забраковать.

Тогда наша идея, пришедшая нам в головы, к сожалению, слишком поздно, не осуществилась из-за... осуществленной революции, отвлекшей людское внимание от печатного художественного слова. Теперь же у меня нет под руками ни всех книг Фофанова, ни — и это самое главное — тонкого, интеллигентного издателя во вкусе Пашуканиса. Поэтому «Звезды ясные», как думал я назвать эту книгу, не изданы до сих пор.

В чем главная сила, в чем же очарование фофановской музы? Я думаю, прежде всего, в его лирике северной весны с ее белыми ночами, такими больными и при-

зрачными, с ее утонченным целомудрием, с почти безуханными ароматами,— прежде всего, думаю я. Ни у одного из русских поэтов нет того, что вы найдете у Фофанова относительно северной весны: ее души, ее аромата, повторяю, почти недушистого, но такого пленительного своими возможностями, что эта недушистость душистее всякого яркого аромата, ибо в ней он только подразумевается, но передан и запечатлен и именно в силу этого обстоятельства своей неопределенности насыщен истинным свойством благоухания точного, неприкрашаемого, не преувеличенного ничем. Вот это-то и есть, по-моему, отличительная черта его лирики, в этом-то и таится вся ее душа — все ее непередаваемое обаяние, которое не подлежит никаким анализам, никакой формулировке. Его импрессионизм можно постараться обозначить лишь импрессионистическим способом.

В этом отношении весьма характерны многие из его стихов, в особенности «Мелодия». Девять книг было выпущено им при жизни, две («Эфиры» и «Слезы и крылья») остались в издательстве А. С. Суворина неизданными, да дома, в особом сундуке, мне пришлось видеть массу его рукописей, в том числе драму в стихах «Железное время» (революция 1905 г.). Кому известна судьба этих произведений, среди которых много выдающихся? Да и кто заботится теперь об этом?..

Меньше всего Фофанову удавалась повествовательная форма, и его поэмы, как, например, «Поэтесса» или «Барон Клакс», испещрены безвкуснейшими строками, бессильными и аляповатыми, хотя справедливость требует заметить, что в этих неудачных произведениях, наряду со строками слабыми во всех отношениях, встречаются все же стихи достойные всяческого внимания по своей изобразительности, остроумию, проникновенности. В его поэмах ярче всего сказалось его неумение, возможно, нежелание работать над стихом. Я говорю «нежелание», припоминая такой случай, когда одно лицо, в моем присутствии, потребовало высказать ему свои мнения по поводу его какого-то стихотворения. Добавлю, что лицо это принадлежало к литературе и, следовательно, судило не без примитивной компетенции. И надо было видеть гнев поэта, обрушенный им на этого злополучного критика.

Сущность этого «разноса» сводилась к тому, что все напечатанное Фофановым и подписанное его именем,

разбору и суждению не подлежало. По этому поводу небезынтересно припомнить рассказ Леонида Афанасьева об одном из его стихотворений в три строфы, предложенном им распространенной газете. Редактор забраковал первую строфу, оставив две другие, критик отверг вторую, собрат-поэт обрушился на третью. Когда Леонид Николаевич передавал мне этот случай, я хохотал до слез.

Хотя Фофанов принадлежал к плеяде поэтов пушкинской школы и декадентства сильно недолюбливал, его талантом бывали заинтересованы и «левые». Бальмонт и Брюсов даже ездили знакомиться с ним в Гатчину. Последние годы Фофанова из-за его «недуга» все покинули, и только трезвейший Леонид Афанасьев остался верным ему до последнего часа. Фофанов очень любил творчество Лохвицкой, и я неоднократно был свидетелем его экстазов при чтении моем из нее. Поэтесса, не бывшая знакомой с ним, в свою очередь, видимо, ценила его дар и прислала ему однажды свой сборник с надписью, но жена поэта в припадке беспричинной ревности его уничтожила, и напоминание об этом случае доставляло почившему искреннее огорчение. Надсон, бывший современником Фофанова, вписал как-то в альбом Марка Басанина строки, в которых говорилось, что, если бы он, Надсон, имел хотя бы одну десятую дарования автора «Мелодии», он покорил бы мир. Любил Фофанов и Голенищева-Кутузова, и Величко, и Владимира Лебедева, не переносил лишь определенно К. Р. и Веру Рудич.

Рассказывают эпизод, когда полковник П., принимая у себя как-то Фофанова, желая его занять, не подозревая его ненависти к Рудич, предложил его вниманию ее сборник. Поэт пришел в ярость, и, если бы хозяин вовремя не уклонился, этот премированный сборник попал ему в лицо. Про Фофанова складывались легенды, но большинству из них я верить не рекомендую. Я был знаком с ним с 20 ноября 1907 года по день его кончины 17 мая 1911 года и за это время виделся с ним очень часто. Правда, в моменты опьянения и невозможное делалось возможным, но, повторяю, большинство россказней про него — ложь и вздор. Я же со своей стороны могу и должен сказать, что, несмотря на все свои — иногда и крупные — недостатки, как в творчестве, так и в жизни, Фофанов был обаятельным, мягким, добрым, ласковым и сердечным человеком, очень

нравственным, религиозным и даже застенчивым по-детски.

Он любил своих детей, в особенности Константина (Олимпова впоследствии), а если не умел их воспитывать, что же, он прав: он и не брался ведь за их воспитание. Кроме своей жены, как я имею основание утверждать, он не знал ни одной женщины. Был ли счастлив поэт в семейной жизни? Об этом нельзя даже говорить, так как, в сущности, несмотря на то, что был женат по страстной любви и имел девять человек детей, у него семейной жизни вовсе не было, по крайней мере в те годы, когда мне выпало счастье знавать его лично, ибо жена его, подверженная тому же недугу, каким страдал и он сам, иногда где-то пропадала по целым дням, а когда бывала дома, находилась почти постоянно в невменяемом состоянии. За время своего супружества она побывала семь раз у Николая Чудотворца. «Гостил» там однажды и сам Фофанов.

Многие спрашивают, кто на кого дурно повлиял? Не отвечая прямо на этот вопрос, я укажу только, что пить поэт начал с тринадцатилетнего возраста. Жена же его, происходившая из вполне приличной — в общественном смысле — морской семьи, окончившая Смольный институт, пить начала спустя много лет после брака. Но без предрасположения к чему-либо мы в это «что-либо» не втягиваемся.

1923
Озеро Uljaste

ЦВЕТЫ НЕУВЯДНЫЕ
(Лирика Фофанова)

Я беру с полки книжку, одну из тех немногих, которые захватил с собою, уезжая из Петербурга в 1918 году на дачу в Тойла. Книжка издана в 1887 году Германом Гоппе. Ее название: «Стихотворения К. М. Фофанова (1880—1887 гг.)». Это — первая книга поэта. Издана она в год моего появления на свет и в год смерти С. Надсона — даты знаменательные... Фофанов писал семь лет при жизни Надсона и был многим уже знаком до своей первой книги. И не странно ли: посредственный Надсон был божеством для молодежи, между тем как более чем талантливый Фофанов для большинства оставался чуждым.

Надсоном зачитывались, учили его наизусть, всячески «уважали» и чествовали, его появления на эстраде сопровождались овациями, «Литературный фонд», издававший в бесконечном количестве экземпляров его единственную книгу, разбогател на ней, а Фофанова почти не замечали. Я не говорю, конечно, о настоящих немногих ценителях искусства — я имею в виду так называемую «большую» публику. Объясняется, однако, все это очень просто: у Фофанова не было тенденции, обязательной для русского поэта той эпохи. Надсон же, писавший душещипательные элегии, насыщенные гражданской скорбью и стереотипной лирикой обывателя, отвечал как раз запросам времени.

Я убеждался неоднократно, что рядовой читатель, к сожалению, до сих пор плохо разбирается в вопросах стиля, и это — после извержения такой поэтической Этны, как Бальмонт, после офортов Брюсова и аллитерационной волшбы Сологуба!.. Немудрено, что в те времена, когда, прозевав Каролину Павлову, Баратынского и Тютчева, русский читатель зачитывался Некрасовым и Плещеевым, Надсон пришелся ему по вкусу и был принят им целиком. Какое могло быть дело публике до жалкого однообразия его размеров, вопиющего убожества затасканных глагольных рифм, маринованных метафор и консервированных эпитетов? Самое главное было налицо: «тоска *по иному*», все остальное не замечали, не хотели замечать и замечать не умели.

Здесь я делаю необходимую оговорку: воздавая Надсону глубокое уважение как человеку безукоризненной честности, и вполне сочувствуя его тяготению к иным формам затхлой жизни его эпохи, я абсолютно не принимаю его как поэта, для ухода из этой самой затхлости пользовавшегося затхлыми средствами в своем творчестве. Я не склонен и обвинять его за это, памятуя, что его одаренность была весьма ограниченной и не позволяла ему заняться изысканиями иных средств. Я только хочу констатировать прискорбный факт превознесения малодостойного за счет достойного вполне. Повторяю, я говорю только с точки зрения литературного, специального подхода, и ничего более.

Вот для этого-то я и достал с полки книжку Фофанова, современника Надсона, которого высоко ценил сам Надсон, чтобы сделать несколько знаменательных из нее выборок, могущих сказать сами за себя больше, нежели я стал бы пытаться прозой хвалить стихи! Но прежде, чем сделать это, припомню кстати эпизод, происшедший в 1912 году в Москве за ужином после моего концерта в «Эстетике». Присутствовавший на этом ужине ныне покойный профессор С. А. Венгеров, говоря о Надсоне, всячески его восхвалял и защищал от нападок моих и Валерия Брюсова, читавшего на моем вечере стихи, мне посвященные.

«Понимаете ли,— говорил Венгеров,— что, читая Надсона, чувствуешь не только тоску, но и ужас...» Тогда Брюсов саркастически заметил: «Если в темноте меня схватят за горло, я тоже почувствую ужас. Следует ли, однако, что этот ужас художественного происхождения?..» Ясно: если Надсон не был художником, то «ужас» его был несколько иного порядка.

Я раскрываю томик Фофанова на первой странице, украшенной его автографом. Дата — 23 мая 1908 года, мыза Ивановка, на станции Пудость:

НА ПАМЯТЬ ИГОРЮ-СЕВЕРЯНИНУ

Это в юности всё было,
Прежде я не так любил.
И одно мне изменило,
Я другому изменил.

Эти струны, эта книжка —
Грезы юности былой...
Но теперь амур-мальчишка
Стал и взрослый и седой.

Потому-то сердцу больно,
Вьюга веет на душе,
И следы любви невольно
Я ищу на пороше.

Той любви своей юности искал престарелый поэт, гостя у меня на даче, когда на нашей «изношенной земле», под «золотой лазурью», «весною, в Божьи именины, тебе веселый праздник дан: в твоем саду цветут жасмины, в твоем саду журчит фонтан», когда над «огненной урной тюльпана» светит «молодая луна», когда

Весь заплакал сад зеленый,
Слезы смахивают клены
На подушки алых роз.
Порвана последней тучки
Легко-дымчатая ткань.
И в окно уносят ручки
Юной бабушкиной внучки
Орошенную герань...

когда

Едва-едва забрезжило весной,
Навстречу вешних дней мы выставили рамы.
В соседней комнате несмелою рукой
Моя сестра разучивала гаммы.
Духами веяло с подержанных страниц,—
И усики свинцово-серой пыли
В лучах заката реяли и плыли,
Как бледный рой усталых танцовщиц...

И не хотелось ли поэту, вспоминавшему свою молодость, заключенную в монастыре лет, сказать ей:

Быть может, тебя навестить я приду
Усталой признательной тенью
Весною, когда в монастырском саду
Запахнет миндальной сиренью?

Опечаленно вспоминает он дальше:

Тихо бредем мы четой молчаливой,
Сыростью дышат росистые кущи...
Пахнет укропом, и пахнет крапивой,
Влажные сумерки гуще и гуще...
...Верно, давно поджидает нас дома
Чай золотистый со свежею булкой.
Глупое счастье, а редким знакомо...

И не подумал ли он, смотря на осенеющий парк Ивановки:

Полураздетая дуброва,
Полуувядшие цветы,
Вы навеваете мне снова
Меланхоличные мечты.

О музе прежних дней, о которой он сказал когда-то:

Увы, ей верить невозможно,
Но и не верить ей нельзя.

О, молодость Фофанова, когда

Заслушалась роза тюльпана,
Жасмин приклонился к лилее,
И эхо задумалось странно
В душистой аллее.

Теперь же

Время набожно сдувает
С могильных камней письмена.

Вспомнились и давние незабудки, не увядшие на клумбе воспоминаний:

Не грели душу сны живые,
Лишь доцветали на окне
Две незабудки голубые,
Весною брошенные мне...

И в те ли дни встретился он впервые с любовью, которой сказал:

С тоской в груди и гневом смутным,
С волненьем, вспыхнувшим в крови,
Не повторяй друзьям минутным
Печаль осмеянной любви.

Им все равно: они от счастья
Не отрекутся своего,
Их равнодушное участье
Больней несчастья самого.

Не любил поэт города:

Столица бредила в чаду своей тоски,
Гонясь за куплей и продажей.
Общественных карет болтливые звонки
Мешались с лязгом экипажей...

И он шел рассеянно, город его не волновал, мечты мчались туда, где

...серебро сверкающих озер,
Сережки вербы опушенной
И серых деревень заплаканный простор,
И в бледной дали лес зеленый...
И веяло в лицо мне запахом полей,
Смущало сердце вдохновенье,
И ангел родины незлобивой моей
Мне в душу слал благословенье.

И не за эту ли свою любовь к природе поэт всегда

Был встречаем природой знакомой,
Как нежною сестрою потерянный брат?..

Не одну существующую земную природу знал он, ему была хорошо знакома иная природа — природа фантастическая:

Я грезою в Эдем перенесен:
Меж мшистых скал легко гарцуют лани,
Цветет сирень, синеет небосклон,
И колибри трепещет на банане...

Это в эпоху-то Надсона!

Вы все-таки еще не согласны, господа, что красота выше пользы?..

1924
Озеро Uljaste

«ЦВЕТЫ РОЗОВОЙ ОКРАСКИ...»
(О лирике Фофанова)

Перелистывая первую книгу Фофанова, вышедшую в свет в 1887 году, я нахожу,— среди массы раздражающих своим убогим шаблоном и ходячим клише стихов, мало говорящих об истинной индивидуальности автора и могущих быть приписанными любому выдающемуся стихотворцу той эпохи, если исключить их замечательную плавность, ему присущую, и редкую вдохновенность, постоянно его выручавшую в «несчастных случаях»,— много изумительных строк, строф, а иногда — но это значительно реже — и стихотворений целиком.

Фофанову хорошо удавалась форма отрицания общепринятого. Так например, когда большинство — и большинство громадное — поэтов, описывая свидания влюбленных, привыкли говорить, что эти свидания происходят обыкновенно в «поэтической» обстановке: при «расцветающих розах», «поющих соловьях», «светящей луне» и иных, на их взгляд, неизбежных атрибутах любовных встреч, Фофанов позволял себе и встречаться с любимой, и эти встречи описывать несколько иначе, что, на мой взгляд, отнюдь не вредило ни этим свиданиям, ни этим стихам:

Не правда ль, всё дышало прозой,
Когда сходились мы с тобой?
Нам соловьи, пленившись розой,
Не пели гимны в тьме ночной.

И друг влюбленных — месяц ясный —
Нам не светил в вечерний час,
И ночь дремотой сладострастной
Не убаюкивала нас.

Как хотите, а я чувствую в приведенных двух лирических строфах несомненную иронию. Благодаря ей такие стереотипы, как «соловьи, плененные розой», «тьма ночная», «месяц ясный» и «сладости дремоты» здесь не только не шокируют слух, а положительно уместны и даже нужны. Но, несмотря на такую «несладострастную», безлунную, безрозную, бессоловейную обстановку, поэт все же торжествует:

А посмотри — в какие речи,
В какие краски я облек
И наши будничные встречи,
И наш укромный уголок!..

В них белопенные каскады
Шумят, свергаяся с холма;
В них гроты, полные прохлады,
И золотые терема.

В них ты — блистательная фея;
В них я — восторженный боец —
Тебя спасаю от злодея
И торжествую наконец.

Как уместен здесь, например, иронический стих «Тебя спасаю от злодея»! Все вместе взятое дает мне право назвать процитированное стихотворение удачным.

Бродя по городу, поэт умел видеть, как

Газовых рожков блестящие сердца
В зеркальных окнах трепетали...

В дубовой роще он примечал, как «выгнутые корни деревьев извивались серыми ужами».

Смотря на тюльпан, нарисованный на оконном стекле художником Морозом, он мог думать о тюльпане живом такими стихами:

Даль окуталась туманом,
Молчаливо сад заснул,
И глазетовым тюльпаном
На стекле мороз блеснул.

Но душа не унывает,—
Знаю я, что в свой черед
На окне тюльпан растает,
А на клумбе зацветет.

Своеобразно смотрел он на мир:

Покуда я живу, вселенная сияет.
Умру — со мной умрет бестрепетно она...
Мой дух ее живит, живит и согревает,
И без него она ничтожна и темна.

Оригинально по мысли, хотя далеко не безупречно по форме, следующее стихотворение:

Чужой толпе, чужой природе,
Он жаждал бурь и шумных битв,
Не видел Бога в небосводе
И на земле не знал молитв.

Любви не ведая прекрасной,
Он людям зло свое принес.
И умер он... И труп безгласный
Зарыли ближние без слез.

Но над его могильным ложем,
В тени разросшихся кустов,
Весной душистою прохожим
Запели птицы про любовь.

Если бы в этом стихотворении не было «шумных битв», «прекрасных любовей», «безгласных трупов» и «душистых весен», оно несомненно много выиграло бы.

Выписываю еще одно стихотворение, очаровывающее против воли: в нем так много непосредственности, что невольно прощаешь и его, по выражению обывателя, «задушевность» и его несколько мещанскую тональность. Называется оно «Май»:

Бледный вечер весны и задумчив и тих,
Зарумянен вечерней зарею,
Грустно в окна глядит; и слагается стих,
И теснится мечта за мечтою.

Что-то грустно душе, что-то сердцу больней,
Иль взгрустнулося мне о бывалом?
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом.

Там, за душной чертою столичных громад,
На степях светозарной природы,
Звонко птицы поют, и плывет аромат,
И журчат сладкоструйные воды.

И дрожит под росою душистых полей
Бледный ландыш склоненным бокалом,—
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом.

Дорогая моя! Если б встретиться нам
В звучном празднике юного мая —
И сиренью дышать, и внимать соловьям,
Мир любви и страстей обнимая!

О, как счастлив бы стал я любовью твоей,
Сколько грез в моем сердце усталом
Этот май-баловник, этот май-чародей
Разбудил бы своим опахалом!..

«Бледный вечер», «бледный ландыш», «душная черта», наконец, даже «светозарная природа» — вот что хочется похвалить в этих стихах. Но сколько в них «грустно глядящих в окна вечерних зорь», «усталых

сердец», «звонко поющих птиц» и других банальностей!..

А как вам понравится такая вещица:

Ты пришла ко мне, малютка,
Ранним утром,
В час, когда душистей незабудка,
И блистают тучи перламутром.
Ты пришла и рассмеялась
Слишком звонко.
В этом смехе много мне сказалось:
В нем звучала хитрость не ребенка...
Понял я — вчера недаром
Ночью лунной
Ты, краснея и пылая жаром,
Вышла в сад походкою бесшумной!..

Мне она нравится определенно, несмотря на «тучки, блистающие перламутром» (у кого только их нет!), на «бесшумные походки», «пыланье жаром»... В этой вещице есть что-то, что я могу обозначить поэзией.

Закончу я свой обзор приведением «Элегии» из цикла «Траурные песни»:

Мои надгробные цветы
Должны быть розовой окраски:
Не все я выплакал мечты,
Не все поведал миру сказки.

Не допил я любовных снов
Благоуханную отраву,
И не допел своих стихов,
И не донес к railroad сединам славу.

А как был ясен мой рассвет!
Как много чувств в душе таилось!
Но я страдал, я был поэт,
Во мне живое сердце билось.

И пал я жертвой суеты,
С безумной жаждой снов и ласки!
Мои надгробные цветы
Должны быть розовой окраски!

Произведение это я нахожу пророческим: создано оно 29 августа 1886 года, т. е., когда автору было всего двадцать четыре года.

И что же? Все вышло так, как он говорит в нем: жажда любви и ласки, ожесточенный жизненными неудачами, подверженный страшному «виноградному пороку», пал он «жертвою тщеты», не доживя до середи-

ны славы, хотя расцвет его и был ясным, и обещал ему так много...

И вот, в результате настала для него ранняя осень, когда

...Коронками к земле склонились георгины,
Туманным саваном окутывалась даль,
И нити пыльные воздушной паутины
Белели меж ветвей алеющей рябины,
Как хмурой осени истлевшая вуаль...

1924
Озеро Uljaste

ВСТРЕЧИ С БРЮСОВЫМ

1

Осенью 1911 года — это было в Петербурге — совершенно неожиданно, ибо я даже знаком с Брюсовым не был, я получил от него, жившего постоянно в Москве, чрезвычайно знаменательное письмо и целую кипу книг: три тома «Путей и перепутий», повесть «Огненный ангел» и переводы из Верлэна. На первом томе стихов была надпись: «Игорю Северянину в знак любви к его поэзии. Валерий Брюсов».

«Не знаю, любите ли вы мои стихи,— писал он,— но ваши мне положительно нравятся. Все мы подражаем друг другу: молодые старикам и старики молодежи, и это вполне естественно». В заключение он просил меня выслать ему все брошюры с моими стихами, т. к. он нигде не мог их приобрести. И не удивительно: брошюры мои, начиная с 1904 г. по 1912 г. включительно, выходили всего в ста экземплярах, и только две из тридцати пяти вышли: в двухстах — одна и в трехстах экземпл<ярах> другая. В письме ко мне Брюсова и в присылке им своих книг таилось для меня нечто чудесное, сказочному сну подобное: юному, начинающему, почти никому не известному поэту пишет совершенно исключительное по любезности письмо и шлет свои книги поэт, достигший вершины славы, светило модернизма, общепризнанный мэтр, как сказал о нем как-то в одном из своих стихотворений Сергей Соловьев,— «великолепный Брюсов»! Очень обрадованный и гордый его обращением ко мне, я послал нашедшиеся у меня брошюрки и написал в ответ, что человек, создавший в поэзии эру, не может быть бездарным, что стихи его мне, в свою очередь, тоже не могут не нравиться, что ассонансы его волнующи и остры, и прочее. Вскоре я получил от него первое послание в стихах, начинавшееся так: «Строя струны лиры клирной, братьев ты собрал на брань». В этих стихах он намекал на провозглашенный мною в ту пору Эго-футуризм. Я ответил ему стихами, начинавшимися: «Король на плахе. Королевство — уже республика». Под королем я подразумевал только что скончавшегося — 17 мая 1911 г.— К. М. Фофанова. На одной из брошюрок я сделал такую надпись: «Господину Президенту республи-

ки „Поэзия“ изнеможенный наследник сожженного короля».

С этих пор у нас с Брюсовым завязалась переписка, продолжавшаяся до первых месяцев 1914 года, когда появилась его заметка в «Русской мысли» о моей второй книге стихов — «Златолире». Но об этом в свое время. Как-то издатель «Петербургского глашатая» И. В. Игнатьев, приступая к набору альманаха «Орлы над пропастью», попросил меня написать Брюсову и предложить ему сотрудничество. Я исполнил просьбу Игнатьева, незамедлительно получив «Сонет-акростих Игорю Северянину»: «И ты стремишься в высь, где солнце вечно». Оба стихотворения Брюсова, ко мне обращенные, вошли впоследствии в его сборник «Семь цветов радуги».

2

Однажды зимой я только что зажег лампу, как кто-то позвонил к нам. «Брюсов»,— доложила прислуга. Взволнованный до глубины души этим новым проявлением с его стороны ко мне исключительного опять-таки внимания, я поспешил встретить его. Быстро скинув меховую шубу и сбросив калоши, он вошел в мою комнату, служившую мне в то время одновременно и спальной, и кабинетом. Разговор наш длился около часа. Он настойчиво советовал мне подготовить к печати первый большой сборник стихов, повыбрав их из моих бесчисленных брошюр.

— Это совершенно необходимо,— говорил он.— На что можно рассчитывать при тираже в сто экземпляров, при объеме в 12—20 страниц? Да вдобавок, как вы сообщаете, брошюры ваши почти целиком расходятся по редакциям «для отзыва», и в продажу поступает, быть может, одна четверть издания.

Кстати будет заметить, что как раз в описываемое мною время ко мне стали являться артельщики то от Вольфа, то от Карбасникова, прося продать им на наличные безо всякой комиссии то ту, то другую брошюру. «Публика требует»,— поясняли они. Они охотно платили мне обозначенную печатно на обложке цену: по рублю за... четыре страницы брошюры «Эпилог Эгофутуризма»! Уже прощаясь, Брюсов предложил мне выступить со стихами в Московском литературно-худо-

жественном кружке, где он состоял директором. Кроме того, он просил меня прочесть там же доклад об Эгофут<уризме>. От последнего я мягко уклонился, стихи же обещал прочесть. Мы условились, что он напишет мне, когда я должен буду приехать в Москву.

3

Получив от Брюсова письменное приглашение и деньги на дорогу, я поехал в Москву. Переодевшись в гостинице, я, как было условлено, отправился к нему на Первую Мещанскую ул. 32. У него я застал профессора С. А. Венгерова, ныне уже тоже умершего. Валерий Яковлевич познакомил меня с Иоанной Матвеевной, своей женой, и мы прошли сначала в кабинет, очень просторный, все стены которого были обставлены книжными полками. Бросалась в глаза пустынность и предельная простота обстановки. На стене висел портрет хозяина изумительной работы Врубеля. Сначала разговор шел о литературе вообще, затем он перешел на предстоящее мое московское выступление. «Я очень заинтересован вашим дебютом,— улыбнулся В. Я.,— и хочу, чтобы он прошел блестяще. Не забудьте, что Москва капризна: часто то, что нравится и признано в Петербурге, здесь не имеет никакого успеха. В особенности это касается театра. Впрочем, это старая история, и вы, думается, неоднократно сами слышали об этом антагонизме. Главное, на что я считаю необходимым обратить ваше внимание, это чисто русское произношение слов иностранных: везде *э* оборотное читается как *е* простое. Например, *сонэт* произносите как *сонет*. Не улыбайтесь, не улыбайтесь,— поспешно заметил он, улыбкой отвечая на мою улыбку.— Здесь это очень много значит, уверяю вас».

Мне не хотелось обидеть его, я ему был признателен за дружеское предостережение, но все же совет его я отклонил довольно решительно. И мне не пришлось пожалеть об этом...

— Читали ли вы когда-нибудь стихи Ал. Добролюбова? — спросил меня В. Я.— Ведь это был истый поэт. К сожалению, его мало знают.— И взяв с полки небольшую, скромно изданную книжку, он прочел нам с Венгеровым два-три любимых своих стиха. «Ну, как вам нравится?» — настойчиво спрашивал он. «Я не причис-

ляю себя к поклонникам его творчества,— сдержанно возразил я,— я нахожу судьбу автора гораздо интереснее и значительнее его произведений». Разговаривая, мы перешли в столовую, где Иоанна Матвеевна разливала чай. Брюсов предложил нам джинджера, и мы пили его, закусывая бисквитом. Приветливое лицо некрасивой и молчаливой жены Брюсова дышало уютом и радушьем. Я встретил ее всего дважды: в этот вечер и спустя года два на своем вечере в Политехническом музее, когда она зашла ко мне в лекторскую передать привет от В. Я. и приглашение заехать к ним. К сожалению, этому мне что-то помешало.

4

Мой дебют в «Эстетике» при лит<ературно>-худ<ожественном> кружке, состоявшийся на другой день после описанного мною визита к Брюсову, собрал много избранной публики, среди которой вспоминаю художников Гончарову и Ларионова, проф. Венгерова и др. Я прочел около тридцати стихотворений и был хорошо принят. После меня выступил Брюсов, прочитав свои стихи, мне посвященные. Читал он резким, неприятным и высоким голосом, как-то выкрикивая окончанья строк. Но это было своеобразно, очень просто, и, конечно, исполненье его мне понравилось больше, чем замысловатое и пафосное чтение многих весьма именитых актрис и актеров, которого, откровенно говоря, я не выношу. После стихов дирекция кружка пригласила нас к ужину, во время которого мне пришлось быть объектом речей и тостов.

Моей дамой оказалась Софья Исааковна, первая жена Алексея Толстого, упорно уверявшая меня, постоянного петербуржца, что она чуть ли не ежедневно встречает меня в московских трамваях. Возможно, к концу ужина она и уверила меня в этом — теперь уже не помню. Во всяком случае, в Москве я не был перед этим лет девять, в трамваях же и петербургских ездить тщательно избегал.

Во время ужина В. Я., сидевший напротив меня, встал из-за стола и, подойдя ко мне и нагнувшись к уху, сказал, что две дамы просят разрешения меня поцеловать. Выслушав мое согласие, он провел меня в смежную гостиную, где познакомил меня с Н. Львовой, мо-

лодой поэтессой, подававшей большие надежды, вскоре покончившей жизнь самоубийством. Мы обменялись поцелуем с ней и ее спутницей, фамилии которой я не запомнил. Между нами не было сказано ни слова. Это была наша единственная встреча. Я теперь уже не помню лица ее, но у меня осталось впечатление, что Львова не была красивой.

Помню еще в этот вечер разговор Брюсова с Венгеровым по поводу Надсона, двадцатипятилетие со дня смерти которого исполнялось вскоре. В. Я. нападал на Надсона, обвиняя его в том, что его бездарность и безвкусье развратили целое поколение молодых стихотворцев. «Это не заслуга перед родной литературой, а преступление»,— горячо доказывал он Венгерову, яростно защищавшему Надсона. Я был согласен с Брюсовым: мой выпад в ямбах против Надсона был только что прочитан в «Эстетике». «Понимаете ли вы,— говорил Венгеров,— что, читая Надсона, чувствуешь не только тоску, но и ужас...»

Тогда Б. саркастически ответил:

— Если в темноте меня схватят за горло, я тоже почувствую ужас. Следует ли, однако, что этот ужас художественного происхождения?..

Брюсов неоднократно давал в «Русской мысли» заметки о моих стихах. Общий тон этих рецензий был более чем благожелательный, и потому, когда появилась его заметка о моей «Златолире», явно, на мой взгляд, несправедливая и недобрая, я, откровенно говоря, очень обиделся и написал ему — нашумевшую в свое время — отповедь в стихах, так больно задевшую его, как это видно из его примечания к большой статье о моем творчестве, написанной специально для сборника Пашуканиса «Критика о творчестве Игоря Северянина».

Конечно, теперь, спустя чуть ли не тринадцать лет, когда охладился пыл момента, я вижу, что я несколько погорячился, но в ту пору я не мог поступить иначе, больше всего опасаясь, что мое молчание могло бы быть истолковано как боязнь перед «авторитетом», что для меня, дерзкого в то время «новатора», как называла меня тогда некоторая часть отечественной критики, было бы чрезвычайно неудобно...

Несомненно, некоторую долю в возникновении моего «бунтарского» стихотворения еще сыграла одна довольно известная,— увы, только в те годы — актриса,

хорошо знавшая Брюсова и предупредившая меня не доверять всем его восторгам и комплиментам. «Берегитесь этого человека,— говорила она,— он жесток, бессердечен, завистлив и никогда ничего не делает без причины, без предвзятости, и, если он теперь хвалит вас и всячески обхаживает вокруг, это значит, ему так почему-то нужно и выгодно. Когда же для него в вас минет надобность, он начнет со спокойной совестью всячески вредить вам и никогда не простит вам вашего таланта. Он бросит вас, как надоевшую женщину».

И так как я совершенно не знал Брюсова как человека и вдобавок был целиком под чарами говорившей, я и припомнил ее слова, сказанные мне приблизительно за год до моего с Брюсовым конфликта. В результате — стихи, в которых я открыто обвинял В. Я. в зависти. Статья, написанная Брюсовым для сборника Пашуканиса, несмотря на все ее кажущееся беспристрастие и из ряда вон выходящие похвалы,— что же, тем тоньше она,— носит в себе следы глубочайшей, неумело скрытой обиды, и вся она создана под знаком ее.

В 1917 году, в феврале, за две недели до революции, заставшей меня в Харькове, я давал вечер стихов в Баку, возвращаясь из Кутаиса. По городу были расклеены афиши — Брюсов читал ряд лекций. Мне очень хотелось бы его повидать и примириться с ним, но я не знал, как бы сделать это лучше. Мне было известно, как мало в большой России истинных поэтов, поэтому я привык в душе свято чтить их — нас? — с детства. Что земные нелады перед небесным ладом душ наших?

Мы сидели в отдельном кабинете какого-то отеля (вероятно, это был «Бристоль» или «Астория», ибо в каком же уважающем пошлость, другими словами — себя, городе нет гостиницы с такими наименованиями?), мы сидели втроем: один именитый армянин города, Балкис Савская и я, когда вдруг неожиданно распахнулась дверь и без доклада, даже без стука, быстро вошел улыбающийся Брюсов. До сих пор не знаю, как это произошло и был ли он осведомлен о моем в кабинете присутствии или же он вошел, предполагая найти в комнате, может быть, знакомого ему армянина, но только я поднялся с места, сделал невольно встречный к нему шаг. Этого было достаточно, чтобы мы заключили друг друга в объятия и за рюмкой токайского вина повели вновь оживленную — в этот раз как-то особенно — беседу.

Чудесно начатое знакомство закончилось не менее чудесно, и я все-таки склонен больше верить оставшимся на всю жизнь в моих глазах благожелательным и восторженным последним глазам Брюсова, сердечным интонациям его последнего голоса, головокружительности его последних похвал по моему адресу там, в Баку, чем злостным предостережениям давно переставшей меня чаровать чаровницы, в сущности далекой искусству и его жрецам.

1927
Тойла

БЕСПЕЧНО ПУТЬ СВЕРШАЯ...

Первый поэт, приветствовавший мое появление в литературе, был К. М. Фофанов (1907 г.). Вторым был В. Я. Брюсов (1911 г.). В этом году я получил от него письмо, книги и первое стихотворение, себе посвященное:

Строя струны лиры клирной,
Братьев ты собрал на брань!
Плащ алмазный, плащ сапфирный
Сбрось! отбрось свой посох мирный!
В блеске светлого доспеха, в бледно-
медном шлеме встань!

Юных лириков учитель,
Вождь отважно-жадных душ,
Старых граней разрушитель,
Встань пред ратью, предводитель,
Разрушай преграды, грезы, стены тесных
склепов рушь!

Не пэан взывает пьяный:
Чу! гудит автомобиль.
Мчат, треща, аэропланы
Храбрых в сказочные страны...
В шуме жизни, в вихре века рать
веди, взметая пыль!

Это стихотворение было написано Брюсовым по поводу провозглашенного мною в России, по примеру Маринетти в Италии, футуризма. В отличие от школы Маринетти я прибавил к этому слову приставку «эго» и в скобках: «вселенский». Спустя несколько месяцев в Москве народился «кубофутур<изм>» (Влад. Маяковский, братья Бурлюки, Велимир Хлебников, А. Крученых и другие). Эти два течения иногда враждовали между собою, иногда объединялись. В одну из таких полос — полос дружбы — я даже совершил турне по Крыму (Симферополь, Севастополь, Керчь) с Вл. Маяковским и Д. Бурлюком.

Лозунгами моего эгофутуризма были: 1. Душа — единственная истина. 2. Самоутверждение личности. 3. *Поиски нового без отверганья старого.* 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы. 6. Борьба со «стереотипами» и «заставками». 7. Разнообразие метров.

Что же касается московского «кубо», москвичи, как и итальянцы, прежде всего требовали уничтоженья всего старого искусства и сбрасыванья с «парохода современности» (их выражение) Пушкина и других. Затем в своем словотворчестве они достигали зачастую полнейшей нелепости и безвкусицы, в борьбе с канонами эстетики употребляли отвратные и просто неприличные выражения. Кроме того, они и внешним видом отличались от «эгистов»: ходили в желтых кофтах, красных муаровых фраках и разрисовали свои физиономии кубическими изображениями балерин, птиц и прочих. А. Крученых выступал с морковкой в петлице... Я люблю протест, но эта форма протеста мне всегда была чуждой, и на этой почве у нас возникли разногласия. Из эгофутур<истов>только один — И. В. Игнатьев — ходил иногда в золотой парчовой блузе с черным бархатным воротником и такими же нарукавниками, но так как это было даже почти красиво и так как лица своего он не раскрашивал, я мог с этим кое-как мириться. «Кубисты» же в своих эксцессах дошли однажды до того, что, давая в Одессе вечер, позолотили кассирше нос, хорошо уплатив ей за это. Надо ли пояснять, что сбор был полный?!. Из этого видно, что «кубисты» были отличными психологами... Однако эти причуды не мешали им быть превосходными, симпатичными людьми и хорошими надежными друзьями. Враждуя в искусстве, мы оставались в жизни в наилучших отношениях, посещая вечера противоположных лагерей и нередко в них участвуя. О Маяковском, Вас. Каменском и Д. Бурлюке у меня остались светлые воспоминания, и когда в прошлом году в Берлине, на Unter den Linden, меня остановил возглас Маяковского:

— Или ты, Игорь Васильевич, не узнаешь меня! — я от всего сердца рад был этой встрече: мне нет дела, к какой политической партии принадлежит он теперь, ибо я вижу в нем только поэта, моего некогда враждовавшего со мною друга, дружественного мне врага. Мы зашли в ресторан и просидели около часа, беседуя об искусстве и предаваясь волнующим нас воспоминаниям. Был в тот день с ним и Б. Пастернак. Спустя несколько дней Маяковский посетил меня вместе с А. Кусиковым, и мы продолжали неоконченный разговор о стихах и чтение стихов. Заходил я к нему в гостиницу, и он угощал меня там «настоящей» русской паюсной икрой и моими же стихами в своем исполнении, что он

любит, вообще, делать уже с давних пор. Однако возвращаюсь к Брюсову. Привожу второе его посвящение мне:

И ты стремишься ввысь, где солнце вечно,
Где неизменен гордый сон снегов,
Откуда в дол спадают бесконечно
Ручьи алмазов, струи жемчугов.
Юдоль земная пройдена. Беспечно
Свершай свой путь средь молний и громов.
Ездок отважный! Слушай вихрей рев,
Внимай с улыбкой гневам бури встречной!
Еще грозят зазубрины высот,
Расщелины, где тучи спят. Но вот
Яснеет глубь в уступах синих бора.
Назад не обращай тревожно взора
И с жадной жаждой новой высоты
Неутомимо правь конем,— и скоро
У ног своих весь мир увидишь ты!

Обращаю внимание читателя, что этот сонет с кодою является акростихом.

Наконец, в 1912 г. я познакомился с Федором Кузьмичем Сологубом, представившим меня петербургскому литературному миру на специальном вечере в своем салоне на Разъезжей. Он написал мне восторженный триолет («Восходит новая звезда...») и не менее восторженное предисловие к моей первой книге — «Громокипящий кубок».

Таким образом, привеченный тремя большими поэтами, возник четвертый, который пишет теперь эту статью, «беспечно путь свершая», и подписывается под нею своим именем.

1924
Озеро Uljaste

САЛОН СОЛОГУБА

1

Когда я познакомился в октябре 1912 года с Сологубом,— об этом достаточно подробно рассказано в моем романе «Колокола собора чувств»,— он жил на Разъезжей улице в бельэтаже, где изредка давал многолюдные вечера, на которых можно было встретить многих видных представителей литературно-театрального Петербурга. Собирались обыкновенно поздно: часам к десяти-одиннадцати и засиживались до четырех-пяти утра. Люди же более близкие, случалось, встречали в столовой, за утренним чаем, и запоздалый зимний рассвет.

Съезжавшиеся гости, раздевшись в просторной передней, входили во вместительный белый зал, несколько церемонно рассаживаясь на его белых же стульях вдоль стен. В одном из углов зала, ближе к столовой, стоял мягкий шелковый диван и такие же кресла вокруг круглого столика. У двери, ведущей в кабинет хозяина, помещался рояль и близ него кожаная кушетка. Одну из стен золотила своим солнечным дождем «Даная» Калмакова, и громадное панно по эскизу Судейкина звучало своим тоном.

Собиравшиеся вполголоса беседовали по группам, хозяин обходил то одну, то другую группу, иногда на мгновение присаживаясь и вставляя, как всегда, значительно несколько незначительных фраз. Затем все както само собой стихало, и поэты и актеры по предложению Сологуба читали стихи. Аплодисменты не были приняты, и поэтому после каждой пиесы возникала подчас несколько томительная пауза. Большей частью читал сам Сологуб и я, иногда — Ахматова, Тэффи, Глебова-Судейкина (стихи Сологуба), Вл. Бестужев-Гиппиус и К. Эрберг. Однажды приехала Т. Л. Щепкина-Куперник, но на просьбу Сологуба и его гостей прочесть что-нибудь, искренне смущенная, отказалась: «Уж какой я поэт, а тем более чтец,— отнекивалась она,— и без меня найдутся здесь, кому читать более к лицу».

Я подошел к ней, разговорился, и мы весь вечер провели вдвоем в кабинете Чеботаревской, поочередно читая друг другу, очень смущенные и разоткровенничав-

шиеся. У меня осталось об этом вечере прелестное впечатление: сколько уюта и пленительной ласковой интимности было в этой маленькой, глубоко симпатичной и скромной женщине в темном. Она приглашала меня к себе, обещала познакомить с мужем, о котором отзывалась положительно с благоговением. Мне так и не удалось, к сожалению, побывать у нее. Впрочем, одно время мы с нею даже переписывались во время пребывания ее в Италии.

2

Сологуб читал очень просто, четко и всегда, даже в минуты бодрости, казалось, устало. Я очень любил его колдовской, усмешливый и строгий голос. Но монотонность его интонаций, в особенности под утомительное утро, действовало усыпительно: был случай, когда я однажды уснул под его чтение. Пробудился я от звонко расслышанного под виноградным утомлением шума внезапно наставшей тишины: Федор Кузмич и два-три засидевшихся более иных близких его дому человека легчайшими улыбками ободряли мое пробуждение.

Около часа ночи подавался ужин, на много кувертов сервированный, всегда очень нарядный и тонкий. Случалось, прислуживали лакеи из модного ресторана. Пили много вина, воцарялось оживление. Сологуб собственноручно подливал в заостренном разговоре быстро пустующие бокалы.

Он любил во время ужина произносить спитчи. Блистательными, большей частью ироническими афоризмами изобиловали они. В сером своем, излюбленного мышиного цвета, костюмчике он вставал с места терпеливо и чуть усмешливо выжидая момента, когда стол, разгоряченный темами вина и вином тем, стихнет. Все взоры обращались на поэта. Гости заранее предвкушали жгучее наслаждение. С бокалом в руке он начинал спитч, и вскоре весь стол прыскал от неудержимого смеха или конфузливо опускал глаза. Но спитч Федора Кузмича под новый — 1914-й год — был несколько иного порядка.

Во время ужина писатель ушел к себе в кабинет. Исчезновению Сологуба никто не придал значения: он нередко в разгаре вечера любил уединяться у себя в кабинете. Выходил он оттуда всегда отдохнувшим, на-

бравшимся свежих сил. В рассказываемую ночь он принес только что воспринятое в кабинете стихотворение и, вместо обычного спитча, прочел его за столом. Кончалось оно так:

...И ныне, в этой зале шумной,
Во власти смеха и вина,
К Тебе, Отец, в мольбе бездумной
Моя душа обращена.

Упоминание о Боге во время пира показалось всем несколько странным, необычным. Веселие смолкло. В наступившем году началась мировая война, и я думаю, многие из встречавших зарождение того проклятого года в столовой Сологуба с жутью вспоминали его предостерегавшие стихи.

3

Вспоминается мне и тост, провозглашенный однажды Сологубом по поводу романтической истории общественной деятельницы Z. Дело в том, что госпожа Z находилась в связи с одним лицом, и это лицо однажды, неожиданно приехав к ней, застал у нее лицо друга, тоже мужское. Приехавшее лицо произвело в сидевшее летящий выстрел и ранило руку сидевшего лица. Возник процесс. Слух о происшествии облетел весь город. Затрезвонили колокола и колокольчики газет. По злой иронии судьбы оба лица носили «городские» фамилии: одно — города отечественного, скажем — Грубешева, другое немецкого — назовем его хотя бы Кенигсбергом. Вскоре после этого, выражаясь названием рассказа Вяч. Шишкова, «рокового выстрела» в салоне у Сологуба состоялся очередной вечер. Под конец ужина, на котором присутствовала и госпожа Z, Федор Кузмич и произнес свой изумительный по остроумию спитч, укоряя в нем госпожу Z в отсутствии... патриотизма.

«Не стыдно ли было,— безустанно вопрошал он,— во время войны ездить уважаемой гражданке из русского города Грубешева в неприятельский Кенигсберг?» Эффект превзошел все ожидания: в гомерическом хохоте корчилась не только вся столовая, но и сама пострадавшая, кстати сказать, женщина весьма остроумная и ядовитая, не находя от неожиданного убийственного выпада слов для парирования удара,

смеялась, малиново переконфуженная, до слез. Смелость подобного тоста граничила с дерзостью, и только одному неподражаемому Сологубу возможно было его простить.

4

В один из званых вечеров я уединился в турецкой комнате с артисткой N. Мы долго с ней оживленно разговаривали и договорились в конце концов до бессловесных поцелуев. В разгаре их распахнулась дверь, и муж артистки, человек с большим в искусстве именем, предстал перед нами. Я приподнялся ему навстречу. Взволнованная актриса незаметно потянула меня сзади за фалды сюртука. «Александра (допустим, что ее так звали), пора домой»,— произнес он в дверях, мастерски владея собой, и, не дожидаясь жены, быстро вышел из комнаты. Я, мужа, конечно не задерживая, пробовал удержать его жену. «Из этого может получиться слишком громыхательная история,— испуганно прошептала она, силясь пошутить и торопливо целуя меня на прощание.— Не провожайте меня, заклинаю Вас». Но все же, пока они одевались, я вместе с хозяевами стоял в дверях передней.

5

Кстати, по поводу «громыхательных» историй. Не все избегали их. Были даже и любительницы таковых. Одна актриса, изредка встречаемая мною в доме Сологуба, совершенно серьезно просила меня в одну из «лирических» минут выстрелить в нее из револьвера, но, разумеется, не попасть в цель. «Это было бы отлично для рекламы»,— заискивающе откровенно пояснила она.

Чеботаревская терпеть не могла, между прочим, этой американизированной нашей соотечественницы, принимая ее только из «дипломатических» соображений, и, когда я как-то вместе с нею приехал к ним, Анастасия Николаевна была более чем холодна с нею, а на другой день формально отказала ей письменно от дома. Оскорбленная и растерявшаяся жрица искусства спешно вызвала меня к себе через рассыльного и по-

требовала, чтобы я отправился к Чеботаревской объясняться. «Я в грош не ставлю ее,— плакала прелестница,— но мне для карьеры во что бы то ни стало нужно сохранить салон Сологуба».

Требование ее было попросту диким, но, каюсь, я был не совсем к ней, мягко поясняя, равнодушен и только поэтому, скрепя сердце, решил исполнить ее истерическое желание. «Я оберегаю Вас, молодого человека, от разлагающего влияния этой интриганки,— возмущалась Чеботаревская.— Мы с Федором Кузмичом любим Вас и заботимся. Да и вообще, на каком основании Вы взяли на себя роль парламентария?» Однако я категорически просил ее аннулировать утреннее письмо, на что негодующая Анастасия Николаевна долго упрямо не соглашалась. Целый вечер проговорили мы с ней, и лишь после того как я заявил, что от ее извинения перед госпожой Икс будет зависеть мое дальнейшее с четою Сологубов знакомство, вынуждена была нехотя согласиться. На другое же утро почтальон принес обиженной примирительное (внешне) письмо, в котором Анастасия Николаевна просила извинить ее за горячность.

6

Вообще, Чеботаревская делила людей на две определенные категории: приемлемых и отторгнутых. В своих симпатиях и антипатиях она оставалась всегда себе верной. Периодическое издание, на страницах коего кто-либо осмеливался когда-нибудь хотя бы чуть неодобрительно отозваться о Сологубе, никогда уже не могло рассчитывать, при наличии данного редактора, на сотрудничество Сологуба. Она за этим следила зорко. Были люди — одни фамилии и имена — которые приводили Анастасию Николаевну в неистовство. Временами, правда, стали намечаться какие-либо точки соприкосновения, Чеботаревская с лихорадочной поспешностью стремилась использовать намечавшиеся возможности, но, едва возникали новые расхождения, она с новым пылом и подчас беспощадной, какою-то клинической резкостью, порывала всякие отношения. В своем боготворении Сологуба, сделав его волшбящее имя для себя культом, со всею прямотою и честностью своей натуры она оберегала и дорогого ей человека и несравнимое имя его.

Всю жизнь, несмотря на врожденную свою кокетливость, склонность к легкому флирту и болезненную эксцессность, она оставалась безукоризненно верной ему, и в наших духовно обнаженных длительных беседах неоднократно утверждала эта некрасивая, пожалуй даже неприятная, но все же обаятельная женщина: «Поверьте, я никогда и ни при каких обстоятельствах не могла бы изменить Федору Кузмичу». И я, не очень-то вообще доверявший женщинам, ей верил безусловно: воистину сама истина чувствовалась в ее словах. Сологуб платил ей тою же монетой и, если на некоторых своих, в кругу ближайших людей, вакхических вечерах и истомлял себя какою-нибудь «утонченкой», дальше неги, каждому видной, дело не шло, в такой же «неге» нет измены, как понимают это слово углубленные.

7

На интимных вечерах, когда после ужина гости переходили в зал и рассаживались кто на стульях, кто на диване, кто просто на диванных подушках на полу и пили коньяк и всех цветов радуги ликеры, как-то само собою гасло электричество, и зал погружался в темноту, нервно посмеивающуюся, упоенно перешептывающуюся, истомно вздрагивающую, мягко поцелуйную. Сологуб, любивший неслышную обувь, внезапно повертывал выключатель, и вспыхнувший свет заставал каждого в позах, могших возникнуть только без света...

Я должен констатировать, однако, что эти «томные» позы, порою очень непринужденные, нежащиеся и нежные, не выходили все же за грани дозволенного. Я имею в виду, конечно, дозволенного в мире людей искусства, так сказать, в богеме par excellance, ибо богема, например, «Бродячей собаки» уже несколько иной тональности: у Сологуба именитым мужьям не пришло бы в голову таскать за волосы своих не менее именитых жен, что могло произойти (однажды и произошло!) в знаменитом петербургском литературно-художественном подвале.

8

Общую «рокфорность» интимных сологубовских вечеринок мне хочется заключить и эпизодом о рокфоре. Дарья Михайловна Озаровская и я с ужасом смотрели на этот сыр, готовый, казалось, уползти с тарелки. Ни она, ни я никогда раньше не решались его попробовать, хотя бри или камамбер я всегда очень любил. Федор Кузмич, посмеиваясь, сделал саморучно для нас два бутерброда, и мы... решились. Одновременно мы откусили по маленькому кусочку булки с «живым» этим сыром, с испугом и отвращением взглянули друг на друга и одновременно же бросились из столовой под веселый смех хозяев. Вернувшись, мы долго еще не могли в себя придти от «опыта», стараясь сардинками от Кано заглушить вкус проглоченного деликатеса.

А Сологуб в это время, блаженно щурясь и выпятив, по своей привычке, нижнюю губу, пил из узкой длинноногой рюмочки «ликерный ерш», разноцветными пластами в нее мастерски влитый. И смакуя его, предлагал испробовать и нам. Но проба рокфора была еще так свежа в памяти нашего вкуса, что мы предпочли ограничиться, выражаясь стихом Брюсова, выпустившего книжку «северянизированных» стихов под псевдонимом моей героини Нелли, «маленькою рюмкой triple sec Couantreau...»

9

Кто же бывал у Сологуба на его «открытых» больших вечерах? К. И. Арабажин, Е. И. Аничков, Ю. Н. Верховский, П. Е. Щеголев, присяжный повереный Н. Переверзев, С. Ю. Судейкин, Д. В. Философов, Вс. Мейерхольд, кн. Шервашидзе, Калмаков, И. Рукавишников, П. П. Потемкин, Е. А. Хованская, Тимме, Тхоржевская, Каратыгин, С. А. Кречетов, Н. А. Тэффи, Э. Озаровский, Тиняков (Одинокий) и многие другие, фамилии которых я умышленно опускаю, и это уж из области вечеров интимных.

Бывали (и помимо приемов) З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский. Посещали его (но это очень редко) Леонид Андреев, Бальмонт, Блок, Брюсов, Гумилев, но с ними мне там встречаться не приходилось, хотя я и бывал письменно приглашаем каждоразно: то

мешала какая-нибудь очередная инфлуэнца, то очередное увлечение, то меня не бывало в столице.

Стоило мне упомянуть о Тимме и Тхоржевской, как возникла перед глазами премьера «Заложников жизни» в Александринском театре. Сологуб пригласил меня на нее в авторскую ложу. Была приглашена и Тэффи. Первая из актрис играла Катю, вторая — Лилит. Пьеса имела у александринской публики успех средний. Презрительное бесстрастие Сологуба было обычным.

1927

СОЛОГУБ В ЭСТЛЯНДИИ

1

— Буря на море звучит сегодня, как из Римского-Корсакова,— говорит Тию, когда мы проходим с нею вечереющим парком. Колонны его сосен на головокружительном обрыве. Внизу грохочет темная вода.

Я думаю вслух:

— Велик композитор, с музыкой которого можно сравнивать настроение природы. Что же, значит, Садко гостит сегодня у царя нашего моря, влюбленный в какую-нибудь новую — в этот раз финскую или эстийскую — Волхову: бессмертные не постоянны...

— А Сологуб? — грустнеет вдруг от моих слов Тию.— Разве он не бессмертен, и вместе с тем разве не остался он верен всю жизнь одной Анастасии Николаевне?

Я невольно конфужусь от этого напоминания: да, таков Сологуб. Но ведь это такое исключение среди наших бессмертных...

И мы говорим о Сологубе, 1913—1914-е лета проведшем у нас в Тойле на крайней большой даче у кладбища, которую он собирался даже приобрести в собственность. Как сейчас помню, толстяк Мэгар, хозяин дачи, спрашивал с него восемь тысяч, Сологуб же давал только пять. Разошлись из-за трех тысяч. Все же несколько яблонек поэт успел посадить перед окном своей рабочей комнаты, специально выписав их из города. Развертывание перед нами в природе подводного царства из «Садко» наталкивает мои мысли на оперу вообще, и я вспоминаю, что Сологуб откровенно признавался мне, что недолюбливает и не понимает музыки, хотя в других ценил и уважал эту любовь и понимание. Так, однажды в Екатеринодаре, зимой 1913 г., давали «Миньону» с какой-то (фамилии не помню) испанкой в заглавной роли. Время приближалось к восьми. Анаст<асия> Никол<аевна> что-то очень долго в этот вечер одевалась, и я начал уже нервничать.

— Так мы и к увертюре опоздаем,— говорил я. И вот Сологуб, не любивший музыку, поддерживал меня.

Кстати, интересный штрих: мы все же в тот вечер поспели к началу, когда оркестр только еще рассажи-

вался, но увертюры не услышали: она была выпущена целиком!..

— Так вот и кажется,— мечтает вслух Тию,— что из-за поворота вот той аллеи мелькнет белое платье и яркий пестрый шарф Чеботаревской. Она любила именно этот путь к морю.

— Да,— соглашаюсь я,— это было так. А еще нравилась ей та полевая тропинка, которая идет параллельно морю. Ты помнишь?

— Никогда, никогда не увидим мы ее здесь,— шепчет моя подруга,— и вообще нигде.

2

...Белая майская ночь. Четырнадцать лет назад. Ляля М., Дора Н. и я возвращаемся с кладбища, куда мы ходили читать изысканные стихи примитивным мертвецам. Весь вечер мы провели в парке — в этом же и точь-в-точь таком же, как и теперь,— лежали на камнях у моря, смеялись, фантазировали, флиртовали, потом, к полночи, забрались на кладбище. Теперь мы идем по деревне, я провожаю своих спутниц по их дачам.

Светло как днем. За полем совершенно сиреневое море, все сады в распустившейся сирени. Пахнет сиренью, восторгом молодых девичьих лиц, их взволнованной веселой грустью.

— Навстречу Сологубы,— говорит Ляля,— они сегодня приехали из Испании.

Я вздрагиваю и бледнею, как майская ночь: я так виноват перед ними, я так накапризничал за этот сезон. Судите сами: неожиданно расхотел в Кутаисе продолжать с ними турнэ, хотя оставался только один Батум, и, несмотря на все уговоры и ласковые просьбы, умчался в Петербург. Мало этого: спустя несколько месяцев после первой поездки, когда уже афиши с моим именем висели в Двинске и Либаве, я снова что-то разнервничался и не выехал из Петербурга вовсе. Сологуб до самого Двинска был уверен, что я еду в другом вагоне: он сообщил мне заранее о часе отхода поезда и назначил в нем свидание. Из Двинска я получил от него телеграмму-ультиматум: «Если не приедете, больше не знакомы». И оттого, что это был «ультиматум», я и не поехал окончательно...

И вот — навстречу Сологубы!

Как хорошо было бы примириться с ними: ведь я так люблю их. Сердиться на ультиматум, спустя столько времени, да еще в такую сиреневую ночь, да еще в обществе таких растревоженных белизной ночи и упоеньем сирени девушек — дико. Не Сологубы виноваты передо мною — я перед ними. Только и всецело я.

— Здравствуйте, Анастасия Николаевна! Здравствуйте, Федор Кузмич! — вдохновенно говорю я, сближаясь с ними.

— Здравствуйте, Игорь Васильевич! — отвечают Сологубы вместе.

Мы останавливаемся. Пока Ляля и Дора разговаривают с Чеботаревской, знакомые с нею давно, Сологуб нежно и иронически смотрит долго в мои глаза.

— Хо́дите на кладбище, не зная, что там делать,— не отрывая от меня взгляда, говорит он четко-устало,— вот пойду я завтра туда сам, отыщу покойника посвежее, да и высосу его, как и полагается мне, Сологубу...

Я хмурю брови:

— Кому говорите вы это, Федор Кузмич?

Но он уже скомкал маску своего лика, вобрал в себя иронию и только нежно-нежно, на какую нежность способен только он, мой единственный, вновь неотрывно смотрит в мои глаза.

— Приходите завтра к завтраку,— мягко жмет он мне руку.

3

...Леля приревновала меня к Ляле и хочет топиться:

— Если эта противная Лялька еще раз осмелится войти в наш сад, я брошусь вместе с ребенком с обрыва.

В это время скрипит калитка: Дора Н. с мужем и «эта противная (не для меня!) Лялька» входят в сад. Самоубийца ищет ребенка, хватает его на руки... и взбирается на чердак! В испуге я спешу за ней.

— Я передумала: я повешусь на чердаке...

— Ради Бога...

— Это решено...

Я соображаю, что, пока она будет прилаживать веревку, я успею спуститься вниз и как-нибудь объяснить гостям свое отсутствие.

— Куда ты?

— Я сейчас вернусь...

— Помни, я вешаюсь...

— Ради Бога, не надо,— молю я, спускаясь быстро вниз.

Гости сидят в саду на скамейке, не подозревая, что один из них — причина подготовляющегося самоубийства.

— Где же Е. Я.? — спрашивают они.

— Она кончает с собою посредством удушения,— бесстрастно объясняю я.

...Вечером, когда выясняется, что самоубийство отложено, я иду к Сологубу.

— Спасите меня, Ф. К., от ее ревности,— обращаюсь я к его опыту. Рассказываю все подробно.

— Пусть топится или вешается,— успокаивает он меня,— не препятствуйте. Это, очевидно, ее предназначение. Вы не вправе помешать человеку умереть.

В глазах лукавая усмешка.

4

Профессор Р., запыхавшись, вытирая со лба платком пот, входит ко мне на веранду, висящую над морем. Он только что поднялся по почти отвесной тропинке. Я наливаю ему его любимого светлого пива иевеского завода, он берет большой ломоть ветчины и, жуя, с губами, покрытыми пивной пеной, начинает импровизировать какую-то песенку:

— Под обрывом... у моря... бродят девушки стройные...

Я срываюсь с места:

— Посидите, голубчик, я сейчас вернусь.

— Куда вы?

— Сологуб едет сегодня на два дня в Петербург, я должен передать ему стихи в «Заветы».

Выбегаю через калитку на улицу. Леля, разговаривающая с профессором, провожает меня недоуменными, подозревающими глазами. Вбегаю в чужой — через два от нашего — сад, подбегаю к обрыву и уж действительно почти бросаюсь с него.

Смеющаяся Ляля хлопает в ладоши, не видная сверху, благодаря разросшемуся орешнику...

5

Балкон Сологуба. Завтрак вчетвером: А. Н., Ф. К., барышня-переписчица и я. Стол очень прост: яичница-глазунья, рисовая каша. Для меня водка и кильки. Старый Перник привозит из Иеве почту на велосипеде. Велосипед перевязан весь веревками и скрипит, как немазанная телега. Он выглядит старше своего хозяина. Сологуб приглашает почтальона к столу отдохнуть и закусить. С низкими поклонами бритый старик с голосом менялы садится почтительно на кончик стула.

— Вы, кажется, говорите в таких случаях: *присту́лил*,— замечает, обращаясь ко мне, Ф. К.

Красивая брюнетка-горничная в белом чепце подает чай.

Анастасия Николаевна проэктирует пикник.

— Жаль, что нет маленькой,— говорит она об Ольге Афан<асьевне> Судейкиной, которую очень любит. Впрочем, ее любит и Сологуб, и я. Мне кажется, ее любят все, кто ее знает: это совершенно исключительная по духовной и наружной интересности женщина.

— Надо написать ей,— продолжает А. Н.,— она с С<ергеем> Ю<рьевичем> теперь должна быть еще в Удреасе. Отсюда не более двадцати пяти верст.

Мы с Ф. К. поддерживаем ее. На балкон входит проф. Щеголев, известный пушкиновед.

— А мы собираемся ловить раков. Пав<ел> Елис<еевич>,— обращается к нему А. Н.— Вы с нами?

Добродушнейший Щеголев — человек компанейский и готов всюду и везде. После завтрака Ф. К. с переписчицей уходят в верхнюю рабочую комнату, где продолжают выполнять ежедневную программу: новые стихи, кусочек романа, кусочек рассказа, четверть действия пьесы, немного перевода с немецкого. Вплоть до обеда. Вид из верхней комнаты на бескрайние поля и леса, в далях синеющие.

Щеголев уходит через дорогу к себе на дачу, мы с А. Н. проходим в ее кабинет. Мне что-то нездоровится. Она пробует мою голову, заставляет лечь на кушетку, заботливо прикрывает меня плэдом, велит Елене подать мартэлль и горячего чая и садится около меня. Начинается бесконечная наша постоянная литературная беседа. У А. Н. чудная память. Она так и сыплет цитаты из Мэтерлинка, Уайльда и Шнитцлера. Посте-

пенно мы переходим на наших милых современников, и прямолинейная язвительность моей собеседницы доставляет мне не одну минуту истинного — пусть жестокого — наслаждения.

6

Дорога на станцию Иеве.

Расстояние от Тойлы восемь верст. Мы едем вдвоем с Сологубом: он — в Петербург, я — в Веймарн (под Ямбургом). Сплошной лес. Сумерки. Крутой поворот.

— А вот там, у канавки, иногда старушка сидит,— показывает он мне канаву влево,— сидит, серенькая такая, горбатенькая, беззубая. Сидит и похохатывает, знай себе, в сморщенный кулачок: хи-хи да хи-хи. И пальчиком к себе приманивает. Лукавая, знаете, такая старушка. Вы разве не встречали ее? — внезапно оборачивает он ко мне всё лицо. Поблескивают стекла золотых очков жуткой иронией.

— А Передонова вы тоже встречали? — с коварной остринкой вставляю я вопрос в его вопрос.

— Передонов из трех лиц создан,— отчеканивает Сологуб,— один из Вытегры, второй из Вышнего Волочка, третий из Великих Лук. Все они жили-были. И все пакостили по своим силам и способностям.

— Значит, такой мерзавец мыслим,— задумчиво произношу я.

— Не только такой, а и похуже и погуще мыслимы в земной мерзости мерзавцы,— воспламенившись внезапным каким-то негодованьем, выпаливает Сологуб.

— Поднимите воротник: туман не щадит талантов,— мягко, но все еще, видимо, не успокоясь, а потому сердито, добавляет он.

7

Вечерний дождь. На море буря.

— Как из Римского-Корсакова,— сказала бы Тию, если бы четырнадцать лет назад — одиннадцатилетняя — она сидела бы со мною у Сологуба в гостиной. А. Н. весь вечер играет на рояле из палисандрового дерева, на котором, как говорят местные интеллигентные крестьяне, играл в бытность свою в Риге Рихард Ваг-

нер. Наконец, Лист и Брамс утомляют ее, она сидит минут десять в позе физически и морально уставшего человека и вдруг весело кричит:

— Елена, Катя! Идите, если хотите, танцевать.

Дрессированные прислуги не заставляют повторять приглашения. Без излишнего жеманства, но и без фамильярности они вскоре появляются в дверях гостиной и тотчас же начинают кружиться в вальсе, играемом им А. Н.— Малим, как называет ее муж.

Мы с Ф. К., сидя в удобных мягких креслах, мягко хлопаем в ладоши в такт их pas. На лице Сологуба выражение чисто детской доброты и благожелательства к людям.

1927
Двинск

ЭСТЛЯНДСКИЕ ТРИОЛЕТЫ СОЛОГУБА

1

Федор Сологуб — самый изысканный из русских поэтов. В своем «Соловье» я сказал о нем в 1918 году:

Такой поэт, каких нет больше:
Утонченней, чем тонкий Фет...

Он очень труден в своей внешней прозрачной легкости. Воистину, поэт для немногих. Для профана он попросту скучен. Поймет его ясные стихи всякий — не всякий почувствует их чары, их аллитерационное мастерство. Как раз это отмечает и Брюсов в превосходной статье о Сологубе, помещенной в книге «Далекие и близкие».

«Русский Бодлэр», называет его Ю. Айхенвальд, и, действительно, свойственная им обоим «ядность» роднит их. Трудно представить себе, как из такого типичного пролетария, каким был по рождению Сологуб, мог развиться тончайший эстет, истинный гурман в творчестве и жизни. Даже в лице его вы не нашли бы следов его плебейского происхождения. Стоит хотя бы вспомнить редкий по сходству портрет поэта работы Симонова: английский дэнди смотрит на вас с этого портрета. Я мечтаю когда-нибудь написать специальное исследование о его творчестве. В настоящее время у меня нет большинства из его книг. И достать их затруднительно: «культурный» век дает себя чувствовать — ведь это не ноты песенок Вертинского...

Сегодня же я перечту вслух из его «Очарований земли» исключительно стихи, написанные им в моей Тойле в 1913 году, когда он жил здесь первое лето на даче. Просто стихов мало — все больше триолеты. Перед тем как остановить свой выбор на местечке, где я имею искреннее удовольствие и радость теперь — вот уже вскоре шестнадцать лет — жить, Федор Кузмич с Анастасией Николаевной Чеботаревской, своей женой, думали обосноваться в «Ливонской Швейцарии» (в нынешней Латвии) — Вендене или Зегевольде.

Они ездили туда весною, осмотрели места, похвалили их, но все же выбрали эстляндскую Тойлу. Леонид Андреев в своих путевых заметках о «Ливонской Швей-

царии», воздавая должное красоте природы, говорит, что остзейские немцы испакостили ее... чистотою. Я вполне понимаю, что он хотел этим сказать. Вот и чета Сологубов была неприятно задета этой самой чистотой.

В Тойле имеются все необходимые удобства: безукоризненная почта, аптека, два, еженедельно по разу, в определенные дни приезжающих приличных доктора, струнный и духовой оркестры, два театра, шесть лавок, а за последние годы во многих домах — радио и телефоны. Но здесь вы не найдете ни удручающей прилизанности и вылощенности, ни «досчечек» (как писал это слово Сологуб) с «Ver-Boten», ни подстриженных газонов — одним словом, всего того, что, вместе взятое, обозначается именно «немецкой чистотой». Здесь нет «русской» грязи, но нет и «немецкой» чистоты.

Тойла — и внешне, и нравственно — просто чистая, очень удобная и очень красивая приморская эстонская деревня, до войны даже нечто вроде курорта, так как тогда были в ней и теплые соленые морские ванны, и лаун-теннисные площадки, и пансионы, два из которых, впрочем, функционируют и до сих пор. На дачи ездили сюда исключительно интеллигентные люди, не толпу, а природу любящие, и не только из Петербурга, а зачастую и из Москвы, и даже с Кавказа. Да и за последние годы многие видные представители эстонского искусства и общественности постоянно летуют здесь. Приезжают семьи и из Риги, и из Берлина. А недавно из Японии и Китая приезжали в гости к знакомым.

Узнав Тойлу, Сологубы поселились в ней и полюбили ее. Я же познакомился с нею еще за год до них — в 1912 году, когда и написал два стихотворения, приехав только на два дня. Однажды мы даже выступали с Ф. К. на литературно-музыкальном вечере в Тойле. До сих пор сохранились об этом афиши.

2

Уже в те «предвоенные» годы сказывалось в Сологубе утомление:

О, безмерная усталость!
Пой на камнях, на дороге
О любви, о светлом Боге,

И зови, моя усталость,
На людей Господню жалость.

Еще бы было не жалеть их, если они не постигали слов поэта:

С вами я, и это — праздник, потому что я — поэт.
Жизнь поэта — людям праздник, несказанно-сладкий дар.
Смерть поэта — людям горе, разрушительный пожар.
...Или ваша дань поэту — только скучный гонорар?

Но и гонорар-то платили далеко не по заслугам, ибо —

Моей свинцовой нищеты
Не устыжуся я нимало,
Хотя бы глупым называла
За неотвязность нищеты
Меня гораздо чаще ты.

Кто эта «ты» — подруга или родина? Первая едва ли бросила бы подобный упрек любимому; она была для этого слишком умной и деликатной женщиной, да и вообще, нищета — понятие относительное. По тогдашним условиям, Сологуба можно было счесть, пожалуй, богатым человеком. Вот родина скорее могла бы его укорить, сама давая крохи, что он не имеет роскошных вилл в духе — некоторым образом близкого ему — Габриэле Д'Аннунцио...

Недаром поэт горько сетует в своем триолете:

В иных веках, в иной отчизне,
О, если б столько людям я
Дал чародейного питья!
В иных веках, в иной отчизне
Моей трудолюбивой жизни
Дивился б строгий судия.
В иных веках, в иной отчизне
Как нежно славим был бы я!

Но не только в России, где продажная критико-кретинская бездарь,— классическая свинья в апельсинах,— всячески поносила могущественного своего же русского поэта, и вместо того, чтобы гордиться им, глумилась по своему хамскому обыкновению.

И поэт презрительно-спокойно заявлял:

Звенела кованая медь,
Мой щит, холодное презренье,
И на щите девиз: Терпенье.

...И зазвенит она и впредь
В ответ на всякое гоненье.

И добавлял, обращаясь к печали:

Так пой же, пой, моя печаль,
Как жизнь меня тоскою нежит.
Моя душа тверда, как сталь,
Она звенит, блестит и режет.

И, чувствуя, что в сердце своем носит солнце, страстно вопрошал:

Солнце, которому больно!
Что за нелепая ложь!
Где ты на небе найдешь
Солнце, которому больно?

И глаголил насмешливо-примирительно:

Благослови свиные хари,
Шипенье змей, укусы блох,—
Добру и Злу создатель — Бог.

...Прости устройство всякой твари.

И — подвижнически:

В безумно-осмеянной жизни
Власти не дай укоризне
Страдающий лик отемнить.

И — в мудрой гордости:

Да будут вместо жизни книги
Наградою железных дней.

...Покорен я в железном иге.

Не самоубийством же было, в самом деле, кончать из-за «свиных харь» критических тварей:

Ты гори, моя свеча,
Вся сгорай ты без остатка,—
Я тебя гасить не стану...

Пленительная лесистая дорога из Тойлы в Иеве влекла его к себе, и часто, в полном одиночестве, он бродил по ней:

Что может быть лучше дороги лесной
В полуденной, нежно-спасающей мгле!
Свой дух притаился здесь в каждом стволе.

И, созерцая природу, мыслил:

Здесь учиться людям надо, как любить и петь.

Петь, как птичка, потому что —

Сила звонкой песни сотрясает тело птички,
Потому что песня — чарованье переклички,
В трепетаньи звуков воплощенная мечта.

Тем людям учиться надо у птички, у одного из которых спросил:

Чем же ты живешь?

Возвращался он с прогулки поздно, когда уж

Огонек в лесной избушке
За деревьями мелькнул.

И —

Долина пьет полночный холод
Тоской синеющих высот.

Иногда он взывал к полю и небу:

Земли смарагдовые блюда
И неба голубые чаши,
Раскройте обаянья ваши.

Он умел ценить жизнь:

Тревожный праздник новоселья
Пусть нам дарует каждый день.

И укорял, жизнью не умевших пользоваться:

Рая не знаем, сгорая:
Радость не наша игра...

А радость всегда вокруг нас. Разве же, например, не радость, когда —

Луна взошла, и дол вздохнул,
Молитвой рос в шатре тяжелом...

В этот час —

...Сад расцвел
Дыханьем сладким матиол.

Но больше всего радовала и утешала утомленного, пло-

хо оцененного сородичами Федора Кузмича его, Данту подобная, великая любовь к Анастасии Николаевне:

В моем бессилии люби меня.
Один нам путь, и жизнь одна и та же.
Мое безумство манны райской слаже.
Отвергнут я, но ты люби меня.

И —

Здесь верный наш союз несокрушимо вечен.
Он выше суетных, земных, всегдашних дел.
Ты только для меня. Торжественно намечен
В веках наш яркий путь, и светел наш удел.

Так коротал в Тойле поэт свои дни:

Коротаю дни я как-нибудь...

И не клял скромной жизни, малым довольный:

Жизнь влача печальную,
Вовсе не тужу.
У окошка вечером
Тихо посижу,
Проходящим девушкам
Сказку расскажу.

Сказку своей счастливой в любви, но не в славе жизни... Бедные девушки рыбачьей деревушки, все поголовно владеющие русским языком! Вы и не знали, в чудесной застенчивости своей, какой радости и чести вы лишились — послушать сказку из безгрешных, даже во всех человеческих грехах своих, уст поэта!

3

Я задумываюсь. Мне глубоко грустно. Перечитанные стихи говорят о жизни, к которой сам я был близко причастен. Она не вернется, милая. Анастасия Николаевна и Федор Кузмич умерли. Они уже умерли. Их нет на земле. Но дача, где они жили, стоит на том же месте, но вместо поэта живет в ней... урядник. Такова ирония жизни. Почти ежедневно по вечерам, проходя мимо, всегда вспоминаю незаменимых людей. Так вот и кажется, что с балкона послышится е е голос:

— Не мешало бы чего-нибудь п о д к у ш а т ь, Малим, как вы думаете?

И его ответ:

— Пожалуй, Малим,— я слегка проголодался.

— Ну вот и отлично. Елена, давайте ужинать. Страшно шикарно, страшно шикарно,— слышится мне ее смех...

1927
Тойла

УМЕР В ДЕКАБРЕ

(Памяти Ф. Сологуба)

Во вчерашних газетах («Сегодня» от 5 декабря) было помещено срочное сообщение из Петербурга о серьезной болезни Федора Сологуба.

Я сказал жене:

— Декабрьская его болезнь опаснее весенней. Она может оказаться смертельной. Ты помнишь его триолет, написанный 4 ноября 1913 г. в Петербурге? — И достав с книжной полки «Очарования земли», я прочел:

Каждый год я болен в декабре.
Не умею я без солнца жить.
Я устал бессонно ворожить.
И склоняюсь к смерти в декабре,—
Зрелый колос, в демонской игре
Дерзко брошенный среди межи.
Тьма меня погубит в декабре.
В декабре я перестану жить.

В сегодняшних газетах (от 6 декабря) уже значится: Сологуб умер 5 декабря.

И он, и я — мы были оба правы... И не первый раз за эти четырнадцать лет я вспомнил эти стихи: каждый раз, когда я перечитывал — а это случалось часто — «Очарования земли», меня жутко тревожило его пророчество.

*

Итак, Сологуба, самого близкого мне после Фофанова из своих современников, я больше никогда не увижу. По крайней мере — «здесь, у вас на земле...» То, чего я так боялся и вседневно ожидал, свершилось. Недаром еще в 1919 г. я спрашивал себя в своем «Менестреле»:

...Ужель я больше не увижу
Родного Федор Кузмича?
Лицо порывно не приближу
К его лицу, любовь шепча?
Тогда к чему ж моя надежда
На встречу после тяжких лет?
Истлей, последняя одежда!
Ты, ветер, замети мой след!
В России тысячи знакомых,

Но мало близких. Тем больней,
Когда они погибли в громах
И молниях проклятых дней...

Никогда не увижу,— ничего не узнаю. И мог бы однажды узнать кое-что, да, видимо, не в судьбе моей было узнать.

Дело в том, что осенью 1921 г. эстонский поэт Генрик Виснапу вез мне из Петербурга письмо от Сологуба, но на границе письмо это конфисковали,— и что было в нем? Звал ли Федор Кузмич меня в Россию, мечтал ли сам из нее выбраться — вечный мрак, и жуть в этом мраке. И уж это до последнего часа моего. А письмо его было ответом на мое, через того же Виснапу переданное, в котором я звал его к себе, предлагая хлопотать о визе. Я знал, как он любит меня: «Милому Игорю Васильевичу Северянину неизменно всем сердцем любящий Его в прошлом, настоящем и будущем Федор Сологуб. 27 июня 1913 г.» — гласит автограф на «Жемчужных светилах». Я знал, как он любит Тойлу, где провел два лета перед самой войной и где даже домик приобрести намеревался. Я знал, какого высокого мнения был он вообще об эстонцах — мирных, трудолюбивых, врожденно-интеллигентных. Я знал, сколько очаровательных стихов воспринял он в Тойле. И, наконец, знал я, что лучше всего, всего вернее может отдохнуть он, усталый, именно в нашей приморской прекрасной деревушке, где он был так полно, так насыщенно счастлив когда-то с Анаст<асией> Никол<аевной>, своею Малим, второю и последнею возлюбленною своей! Да, здесь, на чужбине, ибо там, на родине,

Мои томительные дни
Россия омрачила бранью.
Моих сограждан щедрой данью,

как писал он в Тойле в 1913 году. И здесь же тогда же:

Милая прохлада — мгла среди полей.
За оградой сада сладостный покой,
Что ж еще нам надо в тишине такой?

И восклицал восторженно:

В очарованьи здешних мест
Какой же день не встанет ясен?

7 декабря 1927
Toila

ОСИЯННЫЙ

(О творчестве Алексея Масаинова)

Вошел он в мою рабочую комнату (впрочем, комната это теперь, тогда был кабинет) и представился: «Алексей Масаинов». Лицо было открытое, светлое, улыбалось весело и лучисто, голос ясно звенел — как солнце, этот человек взошел, как шампанское, взыграл! И сразу я почувствовал к нему живейшее влечение, к нему, такому симпатичному, смелому, восторженному.

Не обмануло меня первое впечатление: таким он и оказался впоследствии, когда стал у меня «своим человеком», постоянно выступал на моих вечерах с лекциями об искусстве и со своими искристыми стихами, когда ездил со мною на концерты в Саратов, Москву, Псков. Его лекции — в особенности одна из них на тему «Поэты и толпа» — производили фурор, и в одном Петербурге он прочел упомянутую лекцию три раза подряд на моих концертах в зале Городской думы. И надо было видеть, как обыватель, называемый им «Иваном Ивановичем», неистово рукоплескал ему, боясь, очевидно, быть похожим на... обывателя, которого Масаинов разносил с эстрады за тупоумие, равнодушие и отсталость!.. Это было так весело наблюдать.

В те времена я вообще любил перед своими стихами просить выступать лекторов, читавших рефераты о моем творчестве, о творчестве русских и иностранных писателей и о задачах искусства. Назову фамилии докладчиков: Н. И. Кульбин, Андрей Виноградов, А. Закржевский, Виктор Ховин, Дм. Крючков, Владислав Ходасевич, Семен Рубанович, Вл. Королевич, Георгий Шенгели и др. Но более других мне по душе был все же Масаинов, хотя я и воздаю должное каждому из референтов.

О, это был блестящий лектор! Сын богатого ярославского купца, не стесняясь в средствах, он много и часто путешествовал, и путешествия были его призванием, возможно, мешавшим ему целиком отдаться творчеству. Я выпустил совместно с ним два альманаха («Мимозы льна» и «Острова очарований»), где, кроме нас двоих, никого не было. Кроме того, он при-

нимал участие в альманахе «Винтик», в котором сотрудничали ныне покойный А. Виноградов, А. Толмачев и я. В журналах он почти не печатался, отдельной книги, к сожалению, так и не удосужился издать, поэтому я лишен удовольствия говорить о его творчестве подробно, имея его перед собою только в нескольких образцах.

Живя долгое время в Японии, нежно им любимой, он неоднократно пел о ней, и как хороши его стихи о стране Восходящего солнца! Привожу его «Японию», мне посвященную:

Душистым вечером гремит так звончато
Концерт фонариков в стране Ниппон.
Ликуй, Япония! Где жизнь утончена,
Где гейши веселы, там весел звон.

Вся в озарении, цветеньи сливовом
Ты дышишь влагою, Восходный Свет.
Деревья белые! Привет счастливые!
Деревья алые! И вам привет.

Как ты изысканна, благоуханная,
Как ты пленительна, сердца пленив,
Клонитесь грезово головки пьяные
Цветов камелии и ветви слив!

Деревья белые, деревья алые,
Озвоньте шелестно сады утех.
Здесь губы женские всегда коралловы,
Здесь гейши веселы и весел грех.

Греши, Япония! Весной, как зарево,
Растут слепительно твой смех, твой звон.
О, как блистателен концерт фонариков
На шумных улицах в стране Ниппон!

Есть стихи, которые меня каждый раз воспламеняют и захватывают. И эти — именно такие. Предвижу, что вы будете утверждать о моем влиянии на автора, о его подражании мне. Возможно, но что же из этого: разве я сам в свое время не попадал под влияния? Это — в порядке вещей. Но я хочу подчеркнуть, что не всякое влияние удачно. У Масаинова же его «подвлиянная» поэза вышла безукоризненной: сколько в ней вдохновения, блеска, колорита, колдовства! О подражании же здесь не может быть и речи: просто он создал нужные ему неологизмы, как, например, «озвонить», другие же, мои, вроде «грезово» и «звончато» употребил как удачные — ах, не все ли равно чьи? — достиже-

ния. А вот и другое его «японское» стихотворение — «Ойя-Сан»:

Пойте, нежные гейши, смейтесь
Над пришельцем далеких стран.
Ах, игрой на длинной флейте,
Голубая Ойя-Сан!

Чайный домик светел и легок,
Пахнет сливой, и чай согрет.
Не гляди ж, не гляди так строго,
Ойя-Сан, вишневый цвет!

Косоглазый и странный ребенок
В пышном платье, в прическе крутой,
Голосок твой нежен и звонок,—
Не стыдись же, присядь и спой.

И задумчивыми глазами
Мимолетно взглянув вперед,
Про богиню О-Омиками
Ойя-Сан поет, поет...

Про твои голубые заливы
О, Ниппон, звезда островов,
Про пушистую ветку сливы
И про вишню, красу садов.

Цвет камелий — твой маленький ротик,
Ойя-Сан, Ойя-Сан, стрекоза!
Ах, на самой высокой ноте
Опускаешь ты скромно глаза...

Много стран есть в морях безвестных,
Где немолчен птичий звон,
Но чудесней всех стран чудесных
Светло-радостный остров Ниппон.

Много дев в городские ворота
Входят тихо в вечерний туман,
Но чудесней всех город Киото
И чудесней всех дев — Ойя-Сан!

Я нахожу это воистину осиянное произведение восхитительным. Какая ясная легкость, какая прозрачность! И ни с чем не сравнимая тональность, присущая одному Масаинову. Не могу не привести и третьего его шедевра, его любимой мною «Франчески»:

Покинутая смуглянка,
Благословенно имя твое!
Она была итальянка,
И звали Франческой ее.

Проносились года как птицы,
И пели колокола.
На тихом канале Альбрицци
Она жила и цвела.

Ты, солнце, в славе и блеске
Украситель, зиждитель дней,
Сравнишься ль с глазами Франчески,
Смелой Франчески моей?

Как радовался я, влюбленный,
Как глаза ее целовал!
Помню нежно-зеленый
Полусонный канал...

Помню, как гордо-покорно,
С розой в смуглой руке,
Приезжала в гондоле черной
Франческа в черном платке.

Франческа, пусть знают люди!
Франческа — чудесный цветок!
Не твои ли нежные груди
Целовал я, сбросив платок?

И не твой ли отец затаенно
Смотрел на наше окно
На Calle della Madonna,
Где нам было так пряно-грешно?

О, бросившая смело и дерзко
В сердце храбрых свое копье,
Одалиска, безумка, Франческа,—
Благословенно имя твое!

Залы гремели восторгом, когда Масаинов читал — и как вдохновенно и блистательно читал! — вышеприведенные поэзы. Просматривая его стихи, вижу, как в них «бормочут сосны», «стучат насмешливые двери», «бело пустынное всполье», «звезды глядят васильково на землю», «радостно-серебряные перья бросают вниз, в Индийский океан, веселые дожди», «зеленый кузнечик с легким стрекотом звонким закачелил былинку», «пробегают, журчат, лучатся, мчатся звонкие... обручатели душ, смех земли, молодые лесные ручьи», и как, наконец, нераскрытая телеграмма лежала на бархате стола:

— Приезжай. В 6 вечера мама умерла.
Как просто! как пусто! как больно,
Ты, Боже, караешь тоской!
Закрываю невольно,
Гладя дрожащей рукой...

В мировую войну Масаинов был военным корреспондентом «Биржевых ведомостей» и «Русского слова». В 1914 году из Вильно он прислал мне «Терцины»:

В злой час, когда от пороха туманом
Безумный мир, приют безумных слов,
Я шлю привет Вам, Игорь-Северянин!

Наполеон рифмованных полков,
Победоносец, правящий всесильно,
Вам мой напев, властителю веков!

Слуга войны, в глухом и грустном Вильно,
Я позабыл, давно сомкнув уста,
Свои стихи, кипевшие обильно.

И лишь для Вас, чье имя — Красота,
Душа звенит забытыми стихами
Под светлым знаком Красного Креста.

Да будет мир и вдохновенье с Вами!
Да не устанет сладостно звучать
Ваш смелый Дух, бушующее пламя!

И если смерти черная печать
Мне суждена на черном поле битвы,
Я не хочу, я не могу молчать —

Вам мой восторг и Вам мои молитвы.
И Вам любовь и память в смертный час,
Ловец сердец, искусный для ловитвы.

О, песнопевец, радужный алмаз,—
Чей гордый блеск так пышно-многогранен,—
О, ювелир цветодарящих фраз,

Поэт поэтов, Игорь-Северянин!

Заканчиваю работу и, отправляясь перед обедом на лыжную прогулку по озеру, от всей души грущу, что за последние годы потерял из вида симпатичнейшего человека и выдающегося своего современника.

1924. III
Озеро Uljaste.

УСПЕХИ ЖОРЖА

(«Сады» Георгия Иванова)

В мае 1911 года пришел ко мне познакомиться юный кадетик — начинающий поэт. Фамилия его была самая заурядная — Иванов, имя тоже обыденное — Георгий. Был он тоненький, щупленький. Держался скромно и почтительно, выражал свой восторг перед моим творчеством, спрашивал, читая свои стихи, как они мне нравятся.

Надо заметить, что месяца за три до его прихода ко мне, стали в некоторых петербургских журналах появляться стихи за его подписью, и так как было в этих стихах кое-что свое, свежее и приятное, фамилия, хотя и распространенная слишком, все же запомнилась, тем более, что мы в то время имели уже лучшего версификатора эпохи, человека с тою же фамилией, успевшей превратиться в большое, но скучное имя. Я говорю конечно о Вячеславе Иванове.

Принял молодого человека я по своему обыкновению радушно, и он стал частенько у меня бывать. При ближайшем тщательном ознакомлении с его поэтическими опытами я пришел к заключению, что кадетик, как я и думал, далеко не бездарен, а наоборот, обладатель интересного таланта.

В то время стали впервые появляться стихи Анны Ахматовой, которая получила на конкурсе, устроенном журналом «Gaudeamus», первую премию за какого-то, если не ошибаюсь, «фавна». Я сразу заметил, что в стихах юного Жоржа или, как его называли друзья, «Баронессы», много общего,— правда, трудно уловимого,— со стихами новоявленной поэтессы. Впоследствии это блестяще объяснилось, когда Иванов вступил в «Цех поэтов», основанный покойным высокоталантливым Н. Гумилевым и ныне здравствующим, в той же степени бездарным, Сергеем Городецким: нарождалась новая манера «акмеизма».

На лето «баронесса» уехал к себе в Гедройцы, а осенью того же года, когда я решил основать в России «Академию Эго-футуризма», и мой милый мальчуган принял в ней живейшее участие, вступив в ее ректорат. Всего в нем было четверо: я, Иванов, Арельский и

Олимпов, сын уже покойного в то время Фофанова. Что касается Арельского, это был тоже юный поэт и тоже талантливый. Учился он тогда в Петербургском университете, нигде не печатался.

Мы издали «манифест», разослали его по редакциям почти всей России, записались в «Бюро газетных вырезок» и стали ждать откликов прессы. Эти отклики не заставили себя долго ждать, и вскоре мы были буквально завалены вырезками с отборной руганью по нашему адресу. А в сущности и браниться-то было не за что, так как ничего чудовищного в нашем манифесте не было. Просто мы пытались в нем доказать,— насколько удачно, я уж теперь судить не берусь, не имея под рукою этого документа,— я говорю доказать, что в мире есть только одна бесспорная истина — душа человеческая как составная часть Божества. Поэтому брань критики была, как, впрочем, это случается часто, совсем не по существу: критика ничего не опровергала, да и не могла опровергнуть, ибо наши доводы были, кажется, неопровержимы. Получали мы и сочувственные письма и отзывы, но справедливость требует сказать, что их было очень и очень немного. Зато тем ценнее они были для нас.

Вскоре после основания Эго-футуризма Иванов познакомился с Гумилевым, только что приступившим к устройству «Цеха поэтов», занятым идеей «акмеизма». Познакомил Жорж с Гумилевым и Арельского. Гумилев стал звать их к себе в «Цех», соблазняя тем, что будет помещать стихи «цехистов» в журнале «Аполлон», считавшемся тогда одним из лучших русских строго художественных журналов. Звал неоднократно Гумилев и меня через них, но я упорствовал и не сдавался. Тогда он пришел ко мне как-то вечером сам. Пришел вместе с Ивановым. Познакомились, побеседовали. Он повторил свое приглашение, говорил мне всяческие комплименты. Я «поблагодарил за честь» и категорически отказался.

Вскоре Иванов и Арельский мне изменили окончательно, заделавшись настоящими «цехистами» и отрекшись печатно по настоянию «старших» от футуризма. В это время Олимпов внезапно сошел с ума. Остался я один со своим детищем, но так как фактически весь эго-футуризм, мною выдуманный, был только во мне самом, то ничего не изменилось после того, как трое из четверых выбыли. Я дал знать через печать о проис-

шедшем и заявил попутно, что весь эго-футуризм, видимо, только мое творчество, я же желаю быть впредь поэтом безо всяких этикеток и ярлычков. Тем вся эта шумиха и закончилась. «Изменники» же продолжали бывать у меня почти ежедневно, и оставались мы попрежнему в хороших отношениях еще около года. А потом их вдруг смыло...

С тех пор миновало двенадцать лет. Теперь у меня в руках четвертая книга стихов известного поэта Георгия Иванова — «Сады». Я сравниваю ее с первою книжкою того же автора «Отплытие на остров Циреру», изданною в 1911 году нашим кружком «Ego»,— и какая разница! Жорж превратился в Георгия, фамилия — в имя, ребенок — в мудреца:

...Теплый ветер вздохнет: я травою и облаком был,
Человеческим сердцем я тоже когда-нибудь буду...
. . . .
Ты влюблен, ты грустишь, ты томишься в прохладе ночной,
Ты подругу зовешь и Марией ее называешь,
Но настанет пора, и над нашей кудрявой землей
Пролетишь и не вздрогнешь, и этих полей не узнаешь...
. . . .
А любовь — семицветною радугой станет она,
Кукованьем кукушки или камнем, иль веткою дуба,
И другие влюбленные будут стоять у окна,
И другие в мучительной нежности сблизятся губы...

О, милый Жорж, как я рад вашим успехам! Как доволен, что не обманулся в вас, что это вы, мой тоненький кадетик, пишете теперь такие утонченные стихи:

В меланхолические вечера,
Когда прозрачны краски увяданья,
Как разрисованные веера,
Вы раскрываете воспоминанья.

Деревья жалобно шумят, луна
Напоминает бледный диск камеи,
И эхо повторяет имена
Елизаветы или Саломеи.

И снова землю я люблю за то,
Что так торжественны лучи заката.
Что легкой кистью Антуан Ватто
Коснулся сердца моего когда-то.

Скажите, разве эти стихи не очаровательны, не прелестны? И много таких же прелестных вещиц в «Садах» Иванова, и мне доставляет истинное наслаждение

бродить по их узорчатым аллеям, вдыхая тончайшие ароматы изысканных цветов, среди которых на озерах умирают последние лебеди романтизма... И восклицать вместе с автором «Садов»:

Малиновка моя, не улетай!
Зачем тебе Алжир, зачем Китай?

И вместе с ним на террасе пить чай из «неуклюжих стаканов», из тех, где «струю крутого кипятка последний луч позолотил слегка»... И — «проплывающие облака воображать большими парусами»... И —

С чуть заметным головокруженьем
Проходить по желтому ковру,
Зажигать рассчитанным движеньем
Папиросу на ветру.

И грустить вместе с ним, что «прекрасное тело смешается с горстью песка, и слезы в родной океан возвратятся назад...»

В его садах, «садах неведомого халифата», где

Очарованная одалиска
Играет жемчугом издалека,
И в башню к узнику скользит записка
Из клюва розового голубка.

В садах, очертания которых «как будто страусово перо», где «слушают музыку, не понимая, как ветер слушают или волну», в таких садах очаровательного таланта хорошо побродить длительно, погрезить упоительно и сказать приветливо хозяину садов на прощанье те слова, которые я прочел ему более десяти лет назад в своем ответном сонете:

Я помню вас. Вы нежный и простой...

1924
Озеро Uljaste

ШЕПЕЛЯВАЯ ТЕНЬ

Поэт Георгий Иванов как-то в «Звене», в своих «Китайских тенях», посвятил мне целый фельетон. Любезность в наши дни исключительная, конечно, и мне только остается быть весьма польщенным, тем более, что он находит имя мое «недолговечным, увы», а ему, бессмертному, обладателю воистину в е ч н о г о, увы, имени, это виднее...

К сожалению «вечный Иванов» — да и то второй! — в своих «теневых мемуарах» (или таково уж свойство китайских теней?) неоднократно, но досадно «описывается», и я беру на себя роль корректора, долженствующего исправить его «опечатки». Не моя вина, если этим деянием своим я, по свойственной мне неуклюжести, «припечатаю» его на обе лопатки. Повинен в этом будет он сам, ибо на его несчастье, хотя включенный им в тени, да еще китайские, я все же еще,— с его разрешения,— не умер, значит в тень не превратился и, следовательно, обладаю достаточною силою для того, чтобы побороть некоторых стихотворцев и посильнее, чем злополучный Иванов, да еще второй...

Итак по пунктам:

1) «...до сих пор (1911 год) имя Игоря Северянина было лишь уделом почтовых ящиков: „к сожалению, не подошло“» (?). Не все стихи мои, как, впрочем, и других весьма именитых поэтов, помещались беспрекословно,— не спорю,— но н и к о г д а ни в о д н о м почтовом ящике ни о д н о г о периодического издания имени моего ни в положительном, ни в отрицательном случае упомянуто н е б ы л о, что я и удостоверяю.

2) «...домовая администрация, по понятным (?) соображениям, занумеровала номером тринадцатым самую маленькую, самую сырую, самую грязную квартиру во всем доме. Ход был со двора, кошки летали (?) по обмызганной лестнице». До 1907 года дом № 5 на Средней Подьяческой улице в Петербурге принадлежал моей сестре. После ее смерти наследники, продавая дом, оговорили у нового владельца условие безвозмездного пожизненного предоставления одной из квартир в пользование моей матери. Ей, с ее согласия, была дана квартира в две комнаты с кухней, в бель-этаже, на солнечной стороне двора.

В 1909 году дом был заново отремонтирован, поэтому и двор, и лестницы, и в с е квартиры сияли чистотой и опрятностью. Квартира наша была светлая и сухая. Что касается кошек, действительно, это довольно распространенное домашнее животное водилось и в нашем доме, но по ч и с т ы м лестницам дома оно не летало, только ходило и бегало, как и сам г. Иванов 2-ой...

Г. Иванов принадлежит, если я не ошибаюсь, к группе русских поэтов-эстетов, и ему как таковому следовало бы, на мой взгляд, быть построже в выборе выражений.

3) «...старушка ушла за занавеску и стала шептаться. Я огляделся. Это была не передняя, а кухня. На плите кипело и чадило. Стол был завален немытой посудой. Что-то на меня капнуло: я стал под веревкой с развешанным для просушки бельем...» Никакой нигде занавески не было вовсе. Все остальное допускаю, однако упрек, обращенный ко мне, отвожу: мать моя в силу своей привязанности и доброты держала старую прислугу, которая прожила в нашем доме более пятидесяти лет. Правда, она была полна недостатков и всяческих странностей, но ей много прощалось, ибо она была почти членом семьи. Возможно, впрочем, что это не принято в кругу «эстетов». Но мать моя, рожденная Шеншина, это хорошо постигала.

4) «...Принц фиалок и сирени встретил меня, прикрывая ладонью шею: он был без воротничка. В маленькой комнате, с жалкой мебелью, какой-то декадентской картиной на стене, был образцовый порядок. Хозяин был смущен, кажется, не менее меня. Привычки принимать посетителей у него не было». Титул «принца сирени» принадлежал не мне, милый Жорж! Вы опять путаете. Отнесите его по принадлежности — Борису Башкирову. Меня же в ту пору молодежь, подобная вам, величала «королем».

Не было мне смысла прикрывать ладонью шею, помилуйте: язв на шее отродясь не было, водопровод действовал в довоенные годы исправно, а воротнички, если желаете знать, всегда меня, дикаря, терзали и мучили, и всегда я их терпеть не мог. Вот и сейчас, пиша эти строки, сижу у стола в темно-зеленой косоворотке, и, если бы, паче чаяния, целый взвод эстетов посетил меня в моей глуши, так вот и принял бы их в этом варварском — на просвещенный, эстетический взгляд — одеянии, удобство которого способствует написанию

таких стихов, вдохновенных и простых, какие многим эстетам могут тайком только грезиться.

А что касается «декадентской картинки», то выходит как будто и совсем конфуз, ибо «картинка» эта была не более, не менее, как репродукция «Музы»... Врубеля! Прихо́дится, видимо, мне повторить — который раз?! — мои строки из «Громокипящего кубка»: «...декадентом назван Врубель за то, что гений не в былом!» Так «описываются» э с т е т ы!

«Привычки принимать посетителей у него еще не было...» Напрягаю память, не был ли г. Иванов 2-ой п е р в ы м моим посетителем? Но нет: до него (и задолго!) бывали у нас в доме и в имении,— если только мне память не изменяет,— и «другие некоторые»: офицеры, профессора, прокуроры, адвокаты, писатели, художники, сановники... Только вот эстетов, кажется, действительно не бывало. Мудрено ли поэтому, что, увидев впервые эстета, сробел, и хвать рукой за шею!..

5) «...Красный бант на шею я завел по внушению Игоря, и, не смея, конечно, надевать его дома, перевязывал на Подьяческой...» Эстет г. Иванов 2-ой, на этот раз память мне окончательно не изменяет,— действительно носил часто м а л и н о в ы й галстух. Но смею уверить его, что в то время у меня еще не было причин над ним глумиться, а потому внушать ему обзавестись красным бантом я не стал бы. Теперь другое дело: за все его грешки против истины, пожалуй, и посоветовал бы.

6) В меню ужина, объявленного редакцией «Петербургского глашатая», «филе из молодых соловьев» не входило: фантазия мемуариста.

7) Ликер Crème de Violette, продававшийся у Елисеева (кстати, сейчас из моего окна видна его вилла), принадлежал фирме не Cusimier, а Cusinier. Соблюдайте точность в своих воспоминаниях.

8) Поэту-народнику Петру Ларионову в 1911 году шел не сорок пятый год, а лишь двадцать третий. Он был заведующим не Царскосельским птичником, а Гатчинским. Никакого отношения к футуризму вообще не имел.

9) «...Я перешел в „Цех поэтов", завязал связи более „подходящие" и потому бесконечно более „прочные". Но лично с Северяниным мне было жалко расставаться. Я даже пытался сблизить его с Гумилевым и ввести в Цех, что, конечно, было невозможно». Г. Иванов 2-ой — как и Арельский, постыдно бежали от эго-футу-

ризма в Цех. Как теперь он сам сознается, там ждали его «связи более подходящие и потому бесконечно более прочные». На мой взгляд, это звучит попросту цинично и достаточно ярко обрисовывает личность г. Иванова 2-го. Вводить же меня, самостоятельного и независимого, властного и непреклонного, в Цех, где коверкались жалкие посредственности, согласен, было действительно нелепостью, и приглашение меня в Цех Гумилевым положительно оскорбило меня. Гумилев был большим поэтом, но ничто не давало ему права брать меня к себе в ученики.

Исправив все неточности и описки, допущенные мемуаристом в своих «тенях» и бросающие иногда нежелательные тени на некоторые имена, позволю заметить ему, что у меня память более точная и надежная, но я постараюсь не пользоваться ею, если мне когда-нибудь в воспоминаниях придется касаться некоторых похождений самого Иванова 2-го.

Toila. Апрель 1927 г.

«НОВАЯ ПРОСТОТА...»

У меня никогда не было унизительной привычки отвечать печатно прозой на бесчисленные выпады гг. критиков — и просто критикующих! — по поводу моего творчества, и, если бы в свое время я стал заниматься писанием этих ответов, я не мог бы, вероятно, уже делать ничего иного: попросту не хватило бы ни на что иное времени, ибо критика всегда дарила меня своим сугубым вниманием, и мне как постоянному абоненту «Бюро газетных вырезок», присылавшего мне все, что обо мне писалось в России, хорошо известно совершенно невообразимое количество статей и заметок, касающихся моих стихов.

Но статья Георгия Иванова в «Звене» меня особо возмутила своей лживой тенденциозностью освещения моей частной жизни, и это тем более, что он был принят у меня как свой человек, бывавший у меня в доме в течение свыше двух лет, часто ежедневно, всегда пользовавшийся посильным гостеприимством, и только поэтому на этот раз я решил отступить от своего правила, дабы дать ему исчерпывающий ответ.

Я думал так: «Если о живом человеке осмеливаются писать таким гнусным тоном небывалые гнусности, забывая об ответственности, что же способны написать о мертвом, не могущем оправдаться?» Мои предположения оправдались: пока моя статья «Шепелявая тень» писалась и печаталась в «За свободу!», Г. Иванов успел в том же «Звене» выступить вторично со своими беспамятными «Воспоминаниями», в которых вновь и вновь, с удвоенной энергией продолжает всячески глумиться как лично надо мною, так и над людьми, в 1911—1914 гг. соприкасавшимися близко со мною, причем двое из них ныне уже мертвые, и моя прямая обязанность вступиться за их память.

Оставляя на совести, как сказал бы покойный профессор Р. Брандт, «мемуарника» его рассказ о покойном И. В. Игнатьеве, на мой взгляд, однако, сильно преувеличенный и извращенный, так как я о многих «деталях» слышу впервые, между тем, как казалось бы, не мог не слышать ранее, постоянно бывая у И. В., принимая его у себя и отлично зная всех окружающих его, я скажу о другом персонаже воспоминаний Г. Иванова —

о девушке, известной в нашем кружке под дружеским наименованием «Кармен». Да будет известно г. Иванову, что эта «женщина лет сорока со смуглым лицом, странным и не без прелести, гуляющая по вечерам между Коломенской и Пушкинской», была в 1912 году восемнадцатилетней в высокой мере нравственной и порядочной девушкой, скончавшейся в 1914 году. Фраза же: «гуляющая по вечерам между Коломенской и Пушкинской» может быть понята мною как петербуржцем, только и исключительно в одном-единственном смысле.

На подобные же фразы я привык отвечать мужчинам лично, что конечно и сделаю при первой же — возможно скорой — встрече с Г. Ивановым. В заключение не могу не изумиться Антону Крайнему, взявшему под свою авторитетную защиту людей, подобных упомянутому Иванову и находящему их «Воспоминания» «беспретенциозными и очень скромными».

Если назвать беспретенциозным глумление над поэтом, несколько иного с Г. Ивановым одарения и содержания, и скромностью — опорочивание памяти девушки, тогда действительно дальше идти уже некуда, и мы, увы, впредь будем в совершенстве осведомлены, какова «новая, послевоенная, простота и скромность — главная черта современных поэтов настоящих...»

И хотя Антон Крайний, восхваляя стихи и мемуары Г. Иванова (в первом случае я даже согласен с уважаемым критиком), и говорит,— между строк,— что я поэт не из настоящих, я позволю себе, опираясь в свою очередь, по примеру А. Крайнего, на долгий мой опыт литературного созерцателя, остаться при особом мнении...

1927
Toila.

ГАЗЕТА РЕБЕНКА

(И. В. Игнатьев и его «Петербургский глашатай»)

На одной из Рождественских улиц Песков, вблизи Греческого проспекта, в небольшом собственном деревянном домике проживала в 1912 году добрая старушка — бабушка с внучком. Этот внучек звался Иваном Васильевичем Игнатьевым, и любил литературу в такой степени, что стал издавать маленькую газету в новом жанре, где на первом плане были стихи и критика о них и о театре, который внучек любил не в меньшей степени. В те дни ему исполнилось всего восемнадцать лет, мальчуган он был поведения примерного: не пил, не курил, женщин не знавал,— чего еще большего желать от «бабушкиного внучка»?..

Пробовал он и сам, как говорят обыватели,— «пописывать» и в стихах, и в прозе, да только ничего путного из этих писаний не получалось, но рецензии его о книгах и о новых пьесах не были лишены остроты и оригинальности, и сделался он вследствие этого критиком. Повторилась обыкновенная история: забракованный художник — новорожденный критик. Я не говорю конечно о критиках выдающихся, и оставим пожалуйста Брандесов в стороне.

Надо было так случиться, что одну из моих многочисленных брошюрок,— я печатался тогда в нескольких журналах и выпускал периодически маленькие книжечки своих стихов,— прочитал этот «бабушкин внучек», редактор «Петербургского глашатая», прочитал, восхитился и написал восторженную рецензию в газете «Нижегородец». Что поделаешь, был в России,— а может быть, и теперь еще есть, кто его знает? Ярославль, например, кажется, куда-то исчез,— был, говорю, город Нижний Новгород, где еще знаменитые ярмарки устраивались, а раз был город, почему бы в нем не издаваться и газете, и, конечно, «Нижегородец», ибо это название, согласитесь, более подходит для Нижнего Новгорода, чем, скажем, хотя бы «Парижанин».

Люди жили в этом городе, видимо, положительные, осмысленные и поэтому названия предметов давали

такие же. Так вот, написал «внучек» рецензию на модернистскую книжку и послал ее редактору газетки с осмысленным названием. Не забыл упомянуть, что гонорара не требует, благо бабушка как купчиха деньгу имеет и в пятачках для любимого внука вовсе даже не нуждается.

Редактор вскрыл конверт, повертел в руках рукопись, прочел ее, если был грамотен, а потом в ближайшую лавочку сбегал,— прежде всего усвоил, что она бесплатная, во-вторых, увидел штемпель столичный, и, хотя, может быть, и ничего не понял из ее содержания, поместить решил незамедлительно, так как столичные жители — люди образованные и, по всей вероятности, «глупостей» не пишут, да и что там ни говори, лестно иметь сотрудника, проживающего в самом Санкт-Петербурге.

Таким образом была помещена рецензия, а когда она была помещена, Иван Васильевич прислал мне номер газеты прямо на мою квартиру, и я, скомкав бандероль, сразу, в один и тот же день узнал о существовании «Нижегородца», а заодно с ним и Игнатьева, скрывшегося под псевдонимом «Ивей». Так как рецензия, повторяю, была восторженная и стиль ее был не лишен вкуса, я запомнил и название газеты и псевдоним рецензента. Тем более мне легко было запомнить эту хвалебную заметку, что в эту пору неуважаемая и до настоящего дня мною критика усиленно меня побранивала, но я только улыбался и посмеивался, душевно радый тому обстоятельству, что могу быть полезным бедным людям, часто обремененным неисчислимыми семьями: «газетчики» на мне недурно зарабатывали, помогай им Бог!..

А дня через четыре после присылки номера Игнатьев и сам явился ко мне «для представления». Я поблагодарил его за производство меня в гении, похвалил за стилистику, побудил к дальнейшей работе в том же духе и просил иногда «захаживать», что он охотно впоследствии и делал. Он, в свою очередь, пригласил меня к себе на квартиру, где помещалась и его редакция, как он называл ее на парижский лад,— «дирекция». Впоследствии, сотрудничая в его газете и альманахе, мы часто бывали там, и нам, молодым поэтам, бывать там доставляло удовольствие: в уютном кирпичном кабинете обаятельного «бабушкина внучка» как вдохновенно читались стихи, как высоко возносились грезы!

Моими постоянными спутниками при посещении «дирекции» были Георгий Иванов, Арельский, Олимпов, Иван Лукаш, Дорин, Петр Ларионов, прозванный Фофановым за свою «динамичность» Перунчиком. Гостеприимный хозяин угощал нас на славу, специально приготовляя мне мои излюбленные «Crème de Violettes» и красное вино «Изабеллу». Умел делать он и поразительную водку, которую мы называли «Махоркой» за странное свойство благоухания именно этим сортом табака. Но этот напиток поглощал в невероятном количестве преимущественно Перунчик, приходивший под утро от него в своеобразный транс, когда он, косноязычный от рождения, не выговаривавший большинства букв алфавита, приобретал вдруг способность потрясающе и захватывающе читать стихи Фофанова. Вдохновенность его делала чудеса, и тогда недостатки речи вовсе не замечались. Он сам рыдал, читая, и часто заставлял плакать слушателей. Я пробовал выпускать его на своих вечерах в Петербурге, Москве и Ярославле, но там, к сожалению, у него ничего не выходило: очевидно на эстраде он не мог совершенно отрешиться от земли, что называется, настолько забыться, что косноязычие его становилось несущественным, ибо искренность и непосредственность исполнения заглушали все остальное.

У Игнатьева были странности: он мне, например, рассказывал, что, каждый раз, отлучаясь из дома, в особенности по вечерам, когда он бывал в театрах, он нигде не находит себе места, боясь, что его обожаемая им бабушка умрет внезапно в его отсутствие. Нередко, не дожидаясь окончания спектакля, он бросался, мучимый предчувствиями, домой и торопил извозчика, поощряя его «чаевыми». Эта смутная тревога за любимого человека оказалась не напрасной: однажды, гонимый ею, он мчался к дому, обыкновенно мирно спавшему в поздний час театральных разъездов и погруженному в полнейшую тьму. Как боялся он увидеть свет в окнах, который обозначал бы, вероятно, что-нибудь неожиданное и еще вероятнее, ужасное: не то ли, чего он так боялся всегда и болезненно ожидал?..

И что же: все окна были ярко освещены. Предчувствие не обмануло его: бабушка скоропостижно скончалась и скончалась именно без него. Поздно ночью я получил от него телеграмму, извещавшую меня о смерти старушки и заклинавшую не оставлять его одного

в тяжелые для него минуты. Немедленно я поехал на Пески и до глубокого утра просидел с милым юношей, ободряя его, совершенно измученного потерей.

После кончины бабушки он загрустил, осунулся, и нередко в «Вене» можно было встретить его за бутылкою Мартеля, чего раньше за ним не водилось вовсе. Чета Сологубов, симпатизировавшая юноше, не могла не заметить происшедшей с ним перемены, и Анастасия Николаевна не раз обращала на это мое внимание. Мне вздумалось его немного рассеять, и, уезжая в Крым давать вечера, я, пригласив с собою Маяковского и Давида Бурлюка, не позабыл и про Игнатьева, предложив ему написать небольшой доклад о футуризме и выступить с ним на наших вечерах. Он охотно согласился и обещал приехать через неделю. Однако обещания своего не сдержал и в Симферополь не приехал. Вместо этого он, бывший всегда принципиальным противником брака и женоненавистником, неудачно женился на состоятельной девушке, с которою только что перед этим познакомился, а на другой день после свадьбы перерезал себе горло в припадке умоисступления на глазах у жены.

1924
Озеро Uljaste

ОБРАЗЦОВЫЕ ОСНОВЫ

1

Мне не было еще девяти лет, когда, живя в Петербурге, я стал писать стихи. Отлично помню первое свое стихотворение, включенное мною как курьез в приготовленный для полного собрания сочинений — восьмой — том детских и юношеских моих произведений — «Ручьи в лилиях»:

ЗВЕЗДА И ДЕВА

Вот и звезда золотая
Вышла на небо сиять.
Звездочка верно не знает,
Что ей недолго блистать.
Так же и девица красна:
Выйдет на волю гулять.
Вдруг молодец подъезжает —
И воли ее не видать.

Стихотворение хотя и бездарное на мой взгляд,— я подчеркиваю *на мой*, так как *на иной* оно может и теперь показаться далеко не таковым: увы, я слишком хорошо изучил вкусы и компетенцию в искусстве рядового читателя,— однако написано с соблюдением всех «лучших» традиций поэтического произведения: здесь вы найдете и высокопоэтические слова, как напр<имер>, «звезда» и «дева», да еще «красна», и размер «общепринятый и гармоничный»... для слуха обывателя, и такие «гладкие»,— не пропустите, пожалуйста, уважаемый корректор, буквы «л»,— рифмы, как «сиять» — «блистать» — «гулять» — «видать» и,— что самое главное,— конечно, в этом «образцовом» произведении имеется столь излюбленное классическими поэтами *сопоставление*, в данном случае в виде «звезды» и «девы», т. е. дева поступает, как звезда... Все вышеперечисленные «достоинства» разобранного стихотворения дают право критику, выражающему вкусы обывателя, причислить его,— стихотворение, а не обывателя, а, если угодно, и обывателя,— к разряду классических... произведений, на мой же взгляд — идиотств...

Подобные этим стихи я писал, к сожалению, достаточно долго, восхваляя в них «солнце золотое», «синие

моря» и «чарующие грезы», и происходило это главным образом оттого, что я зачитывался образцовыми поэтами, не умея их читать...

Значительно ранее этого времени меня стали усиленно водить в образцовую Мариинскую оперу, где Шаляпин был тогда просто басом казенной сцены, выступал в «Рогнеде» и «Игоре», и об его участии еще никого не оповещали жирным шрифтом. Из других артистов выступали тогда Стравинский, Славина, Долина, Куза, чета Фигнеров, Карякин, Бзуль, Фриде, Яковлев, Чернов и др.

Благодаря чтению и слушанию всего этого образцового, в особенности же благодаря оперной музыке, произведшей на меня сразу же громадное впечатление и зачаровавшей ребенка, мое творчество стало развиваться на двух основных принципах: классическая банальность и мелодическая музыкальность... От первого я стал излечиваться в 1909-10 гг., от второго же не могу, кажется, избавиться и теперь: слишком до сей поры, несмотря на всю ее сценическую «вампучность», люблю я оперу, будь то старая итальянская Доницетти или Беллини, или же последние завоевания Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева, моих громоимянных соотечественников...

Да, я люблю композиторов самых различных: и неврастеническую музыку Чайковского, и изысканнейшую эпичность Римского-Корсакова, и божественную торжественность Вагнера, и поэтическую грацию Амбруаза Тома, и волнистость Леонкавалло, и нервное кружево Массна, и жуткий фатализм Пуччини, и бриллиантовую веселость Россини, и глубокую сложность Мейербера, и — сколько могло бы быть этих «и»!

Бывая постоянно в Мариинском театре, в Большом зале консерватории у Церетелли и Дракулли, в Малом (Суворинском) театре у Гвиди, в Народном доме и в Музыкальной драме, слушая каждую оперу по несколько раз, я в конце концов достиг такого совершенства, что, не раскрывая программы, легко узнавал исполнителей по голосам. В особенности часто, почти ежедневно, посещал я оперу в сезоны 1905—07 гг. При мне делали себе имена такие величины, как Л. Я. Липковская и М. Н. Кузнецова-Массна (тогда еще Бенуа), явила свой изумительный промельк Монска, выступали Джемма Беллинчиони, Ливия Берленди, Мария Гай, Мария Гальвани, Олимпия Боронат,

Зигрид Арнольдсон, Баттистини, Руффо, Ансельми, Наварини, допевали Зембрих и Кавальери. Одного Собинова слышал я не менее сорока раз. Удивительно ли, что стихи мои стали музыкальными, и сам я читаю речитативом, тем более, что с детских лет я читал уже нараспев, и стихи мои всегда были склонны к мелодии?

2

С 1896 г. до весны 1903 г. я провел преимущественно в Новгородской губ<ернии>, живя в усадьбе Сойвола, расположенной в 30 верстах от г. Череповца, затем уехал с отцом в Порт-Дальний на Квантуне, вернулся с востока 31 дек<абря> 1903 г. в Петербург и начал посылать по различным редакциям свои опыты, откуда они, в большинстве случаев, возвращались мне регулярно. Отказы свои редакторы мотивировали то «недостатком места», то советовали обратиться в другой журнал, находя их «для себя неподходящими», чаще же всего возвращали вовсе без объяснения причины. Вл. Г. Короленко нашел «Завет» «изысканным и вычурным», Светлов («Нива») возвратил «Весенний день...» Продолжалось это приблизительно до 1910 г., когда я прекратил свои рассылы окончательно, убедившись в невозможности попасть без протекции кудалибо в серьезный журнал, доведенный до бешенства существовавшими обычаями, редакционной «кружковщиной» и «кумовством». За эти годы мне «посчастливилось» напечататься только в немногих изданиях. Одна «добрая знакомая» моей «доброй знакомой», бывшая «доброй знакомой» редактора солдатского журнала «Досуг и дело», передала ему (ген<ералу> Зыкову) мое стихотворение «Гибель „Рюрика“», которое и было помещено 1 февраля 1905 г. во втором номере (февральском) этого журнала под моей фамилией Игорь Лотарев. Однако, гонорара мне не дали и даже не прислали книжки с моим стихотворением. В те годы печатался я еще в «Колокольчиках» (псевдонимы: Игла, Граф Евграф, Д'Аксанграф), «Газетчике», «За жизнь — жизнь» (г. Бобров, Воронежской губ<ернии>), «Сибирских отголосках» (Томск) и др. и — везде бесплатно. В то же время я стал издавать свои стихи отдельными брошюрами, рассылая их по редакциям — «для отзыва». Но отзывов не было... Одна из этих книжонок по-

палась как-то на глаза Н. Лухмановой, бывшей в то время на театре военных действий с Японией. 200 экз. «Подвига „Новика“» я послал для чтения раненным солдатам. Лухманова поблагодарила юного автора посредством «Петербургской газеты», чем доставила ему большое удовлетворение... В 1908 г. промелькнули первые заметки о брошюрках. Было их немного, и критика в них стала меня слегка поругивать. Но когда в 1909 г. Ив. Наживин свез мою брошюрку «Интуитивные краски» в Ясную Поляну и прочитал ее Льву Толстому, разразившемуся потоком возмущения по поводу явно иронической «Хабанеры II», об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики во главе с С. Яблоновским, после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну!.. С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них,— в вечерах, а, может быть, и в благотворителях,— участие...

Я поместил свои стихи более чем в сорока журналах и газетах и приблизительно столько же раз выступал в Университете, в женском Медиц<инском> институте, на Высших женских курсах у бестужевок, в Психоневрол<огическом> инсти<туте>, в Лесной гимназии, в театре «Комедия», в залах: Городской думы, Тенишевском, Екатерининском, фон-Дервиза, Петровского уч<илища>, Благородного собрания, Заславского, общества «Труд и культура», в «Кружке друзей театра», в зале лечебницы доктора Камераза, в Соляном городке, в «Бродячей собаке», в конференц-зале Академии художеств, в «Алатаре» (Москва) и др. и др.

В 1913 г. вышел в свет первый том моих стихов «Громокипящий кубок», снабженный предисловием Сологуба, в московском издательстве «Гриф», и в этом же году я стал делать собственные *поэзоконцерты*. В том же году я совершил совместно с Сологубом и Чеботаревской первое турнэ по России, начатое в Минске и законченное в Кутаиси.

1924
Озеро Uljaste

ТРАГИЧЕСКИЙ СОЛОВЕЙ

1

Когда я думаю о Мравиной, мне невольно вспоминаются слова, сказанные мне о ней св<етлейшей> кн<ягиней> Ольгой Федоровной Имеретинской, вдовой варшавского ген<ерал>-губерн<атора> кн<язя> Александра Константиновича, на балконе ее дачи в Гатчине, где мы с мамой проводили лето 1907 года.

— Трагический соловей,— сказала о ней княгиня. И хотя самое трагическое — последние годы ее в болезни и полном одиночестве — было тогда еще впереди, действительно трудно было себе представить более блестящую, но вместе с тем и более трагическую судьбу, чем там, которая выпала на долю Евгении Константиновны Мравинской, по сцене — Мравиной. Бесспорная красавица, выдающаяся певица, женщина из очень хорошей семьи, счастливая жена видного офицера, в обществе несколько замкнутая, на сцене несколько холодноватая, обращавшая на себя общее внимание своей внешностью, своим голосом, она, сначала такая счастливая, окончила дни очень несчастно, в чем, за несколько месяцев до ее смерти, я имел тяжелую возможность лично убедиться. Но об этом в свое время. Дебютировала она в «Риголетто» на императ<орской> Мариинской сцене, будучи совсем юной девушкой, почти девочкой. На ее дебюте присутствовал весь beau-monde[*], ее Джильда сразу всех покорила, ее карьера была обеспечена. В нашей семье рассказывали, что Николай II, в то время наследник, совершенно очарованный «нашей Женей», пригласив к себе в ложу ее отца, генерала Мравинского, игравшего некоторую роль во время польского восстания и бывшего, правда, недолго за это чуть ли не в опале, выразил желание поговорить с ней наедине. Генерал якобы ответил ему следующим образом:

— К сожалению, ваше высочество, я туговат на ухо, и некоторые фразы, даже при усилении голоса собеседника, мною все же не усваиваются...

---

[*] Высший свет (франц.).— *Ред.*

2

Я помню Мравину с детства. Мы жили тогда в своем доме на Гороховой ул., 66, и сестры Мравинские — Адель и Женя — и их сестра от второго брака их матери, Александры Александровны, Шура Домонтович, часто бывали у нас. Дело в том, что старшая сестра Аделаида первый раз вышла замуж за сенатора Конст<антина> Ив<ановича> Домонтовича, брата первого мужа моей матери, рожденной Шеншиной, военного инженера, ген<ерал>-лейт<енанта> Георгия Ив<ановича>, строителя С<анкт>-Петербургского Адмиралтейства и Дворцового моста. От этого брака мама имела дочь Зою, следовательно, Адель была женою ее дяди. Когда мать моя, овдовев, вышла вторично за моего отца, штабс-кап<итана> 1-го железнодорожного батальона, впоследствии полка, Адель над нею слегка подтрунивала, говоря, что она сама себя разжаловала. Однако, овдовев в свою очередь, поступила сама не лучше: после сенатора вышла за офицера лейб-гвардии конного полка, флигель-адъютанта Ник<олая> Мих<айловича> Каменева, человека, обладавшего большой фигурой и такою же добротой. Дети Аделаиды от первого брака — студент Миша и курсистка Саша — пошли, видимо, в свою тетушку, «тетю Шуру», Александру Мих<айловну> Коллонтай, теперешнего полпреда: были они с юности большими мечтателями, скитались по Европе, принимали живейшее участие в сходках и неоднократно, как тогда говорилось, «страдали за убежденья».

Своими поступками они весьма шокировали высокопоставленных родственников и немало огорченья доставляли своей красивой, хрупкой, вечно моложавой матери, в которую, будучи пяти-шестилетним ребенком, я был «страстно» влюблен — надо ли пояснять? — первый раз. Правда, она была несколько старше меня... лет на тридцать, но это не мешало будущему поэту (хотя поэтами родятся, а не делаются) быть от нее «без ума». Подозревала ли Адель, щедро расточая мне родственные ласки, какое блаженство дарила она мне своими поцелуями? Сильно сомневаюсь в этом...

3

Я не помню теперь уже в точности причин, побудивших Мравину расстаться с Корибут-Дашкевичем, во всяком случае, для нашей семьи их разлука явилась полной неожиданностью, тем более, что они так всегда любили друг друга и считались образцовыми супругами. Кажется, ее развод совпал с уходом из Мариинского театра, где она пробыла уж несомненно гораздо меньше, чем имела бы основания, благодаря своему одаренью, пробыть. Медея Фигнер постоянными интригами и происками много способствовала ее уходу. Кн<язь> Сергей Волконский в своих «Оперных воспоминаниях» обронил характерную фразу о муже Медеи, известном теноре, солисте его величества: «Он работал для себя, не для искусства». Очевидно, и Медея Ивановна «работала» для себя... Лидия Яковл<евна> Липковская в мою последнюю встречу с ней в 1925 г. в Берлине рассказывала, что, поступив на Мариинскую сцену, она трепетала, не зная, как отнесется к ней, новичку, хор, положительно боготворивший Мравину и плакавший на ее прощальном спектакле. А хорошие отношения с хором, по словам Липковской, значат для солистов очень многое. Уйдя со сцены, Мравина предприняла поездку по России и в одном из городов заболела оспой. Мы были искренне огорчены дошедшим до нас известием: ведь оспа могла ее совсем изуродовать. К счастью, опасенья наши не оправдались: болезнь оставила лишь незначительные следы на ее действительно божественном лице.

4

Зимой 1906 г., в Петербурге, уже с зачатками ужасной болезни — туберкулеза желудка,— сведшей впоследствии ее в могилу, после длительного отсутствия в столице Мравина дала в зале Дворянского собрания свой прощальный концерт, навсегда распростившись со своею деятельностью. Это было тогда, когда в Петербурге сверкали такие колоратурные светила, как Олимпия Боронат, Марчелла Зембрих, Мария Гальвани, Н. Т. Ван-Брандт, и др. Мы с Зоей, конечно, не пропустили этого концерта. Зал был переполнен, что называется, до отказа, пела она все еще изумительно, при-

нимали ее как-то благоговейно-восторженно. Но скорбь витала в зале. Чувствовалось, что публика прощается не только с артисткой, но и с человеком, дни которого сочтены. Все еще красивая, в прелестном черном туалете, стояла она на эстраде, и было во всей ее фигуре что-то невыразимо щемящее, обреченное, одинокое. Казалось, певучий дух вылетел всенародно из изнуряемого страданьями тела. Мне вспомнился ее портрет в роли Людмилы, снятый в расцвете славы. Какая жуткая, какая жестокая разница! Перед нами была только тень былой красавицы, и как тень она была своеобразно красива. И эта красивая тень пела лебединую песню своей красоте, своей песне, всей своей так рано, так незаслуженно рано кончающейся жизни.

В антракте мы встретились в фойе с моим крестным отцом, мужем сестры моей матери, председателем совета инженеров путей сообщения, Вас<илием> Вас<ильевичем> Саловым.

— Зоечка, что же это?! — воскликнул глубоко взволнованный старый сановник.— Что сталось с ней, с «нашей Женей»?..

5

Был март 1913 г. Мы с Анаст<асией> Ник<олаевной> Чеботаревской-Сологуб, пользуясь первой неделей великого поста, во время которого зрелища и концерты в России в те времена не разрешались, поехали отдохнуть в Ялту, прервав в Одессе свое турнэ. Сологуб уехал читать лекцию в Полтаву, и через неделю мы условились встретиться с ним в Симферополе, чтобы продолжать оттуда наши совместные выступления в Крыму и на Кавказе. Остановились мы в гост<инице> «Россия». На доске в вестибюле я прочитал: «Мравина». Я совсем позабыл, что она живет в Ялте. Приведя себя в порядок после пыльного автомобильного пробега из Севастополя, я постучал в дверь ее номера. «Войдите!» — послышался знакомый голос. Еле владея собою от нахлынувших на меня воспоминаний, чувствующий всегда неизъяснимую нежность при звуке ее любимого с детства голоса, я вошел в комнату, сплошь залитую солнцем. Навстречу мне поднялась с кресла совершенно согбенная старуха и, опираясь на

палку, сделала несколько шагов. Какая-то выблекшая улыбка грустно тронула уголки ее увядших, когда-то таких очаровательных губ. Но это подобие улыбки было бессильно согнать муку, уже годы медленно овладевающую ее неукоснительно разрушающимся лицом. «Ничего от Мравиной — тень тени»,— мелькнуло невольно у меня в голове. Да, если на своем прощальном концерте она была только своей тенью, теперь передо мною колебалась уже тень тени... Меня кольнула мысль, что больная заметила, хотя я и постарался тщательно это замаскировать, впечатление, на меня ею произведенное. Она обрадовалась, угощала чаем, много расспрашивала о моих успехах, вспоминала мою умершую от менингита через год после ее петербургского концерта сестру Зою, вспоминала ее нежно и сердечно, всплакнула о ней и, может быть... о себе. Окно комнаты было распахнуто на море. Стоял дивный вечерний крымский день. Я задумчиво смотрел на бескрайние морские южные дали, вполголоса читал стихи, с еле сдерживаемыми слезами вглядывался в изуродованное болезнью, но все еще обворожительно привлекательное лицо «нашей Жени» и знал, наверняка знал, что никогда уже, никогда-никогда я не буду с нею разговаривать ни по-русски, ни на одном из человеческих — здешних, земных, даже в самой радости опечаленных — языков...

Вскоре ее не стало.

1930

ОПЕРНЫЕ ЗАМЕТКИ

Первая опера, какую я услышал приблизительно в 1895—96 гг. была «Рогнеда» А. Н. Серова. Мой возраст колебался между 8—9 годами. С тех пор мне не приходилось никогда ее больше слышать, но и сегодня она свежа и ярка в моей памяти: таково было впечатление на душу ребенка! Отлично запечатлелись декорации, костюмы, облики исполнителей. Рогнеду пела Каменская, Солнце Красное — Шаляпин, тогда еще просто Шаляпин, только что поступивший на Мариинскую сцену молодой бас, «подававший надежды». Отчетливо, например, помню его музыкальную фразу: «В твоей руке сверкает нож, Рогнеда!» Так сказал человек, что тридцать пять лет забыть не могу!

Затем я слышал «Князя Игоря» Бородина, и снова пел Шаляпин — Владимира Галицкого. Даже походку его помню — вразвалку. Идеальный был задира и кутила. Незабвеннейший образ! Ярославну пела Бзуль, Игоря — Яковлев, Владимира Игоревича — Чупринников, Кончака — знаменитый Стравинский. Типичны были и Скула с Ерошкой. Вижу мимику их лиц, все ухватки. Но фамилий не помню.

Обе эти оперы — русские оперы! — очаровали меня, потрясли, пробудили во мне мечту — запела душа моя. Как все было пленительно, как небывало красочно: мягкий свет люстр, бесшумные половики, голубой бархат театра, сказочная сцена с витязями, лошадьми, кремлем путивльским, киевскими лесами дремучими, пещерой Скульды — и такая большая, широкая, высокая, глубокая! Вокруг в партере нарядно, бархатно, шелково, душисто, сверкально, притушенно тонко. Во рту вкусная конфекта от Иванова или Berrin, перед глазами — сон старины русской, в ушах — душу чарующие голоса, зажигающие мелодии, душу потрясающий оркестр.

Рядом сестра Зоя, красивая, юная, экзальтированная и своя, близкая, чуткая, родная. Робко сжимаю ее руку в полусознании, в испуге от блаженства. Сладко кружится голова. Как не пробудиться тут поэту, поэтом рожденному?.. Лучшей постановки и не выдумаешь. И «Рогнеда», «Игорь» очаровали меня, потрясли. На другой день с утра я уже напевал многие арии, давал

с товарищами эти оперы в детской, совсем с ума спятил от восторга. Взрослые улыбались и поощряли, удивляясь моему слуху.

Таким образом я сделался заправским меломаном и без оперы «не мыслил дня прожить». Эта любовь осталась у меня на всю жизнь. Музыка и Поэзия — это такие две возлюбленные, которым я никогда не могу изменить. А с 1905 года я уже стал постоянным завсегдатаем оперы Мариинской, Церетели, Дракулли, итальянской Гвиди, Народного дома. Расскажу же о том, что вспомнится.

Мне очень нравилась меццо-сопрано А. Макарова. Сидя постоянно на своем излюбленном месте — на правом балконе у самой сцены — я гипнотизировал столь удачно, что актриса, с которой я никогда даже не был знаком, невольно между двумя музыкальными фразами вскидывала голову, и часто, очень часто наши глаза встречались. Ну и выразительнейшие же были у нее глаза: по крайней мере я научился очень хорошо читать по ним о чувствах, возникавших в ее груди. Эти взгляды были настолько томны и длительны, что у меня неоднократно возникала мысль, что и мои ближайшие соседи могут заметить их слишком явное значение... Выглядела она всегда очень интересной, пела ли она Кармен, Амнерис или Лауру («Джоконда»). Этот, надо признаться, весьма оригинальный роман длился все в одной и той же фазе ровно два сезона, и я даже не видел ни разу объекта своих вожделений вне сцены.

А какие бывали составы! Идет, например, «Севильский цирюльник». Розину поет Боронат, Альмавиву — Ансельми, Фигаро — Баттистини, Дон Базилио — Наварини. Или «Миньон». Миньон — Арнольдсон, Филина — Боронат, Вильгельм — Собинов, Лотарио — Сибиряков. Лучшей Миньон, чем Арнольдсон, я не слышал и не видел. Это было само воплощение героини Гете. И даже перед самой войной 1914 года, когда ей было чуть ли не пятьдесят пять лет, Арнольдсон все же была в этой роли изумительной во всех отношениях, хотя дыхание и заметно уже сдало.

———

Великолепны были Баттистини и Титто Руффо. Баритон первого — сплошной бархат, второго — драгоценный металл. И тот и другой имели толпы поклонниц, страстно враждовавших между собою.

Это напоминало мне другую концертную пару: Собинов и Смирнов. Все же должен сознаться, что тенора лучше Собинова слышать мне не пришлось. Чудесен был Ансельми, очень хороши Клементьев и Матвеев, много и других теноров слышал я, но все же Собинов был вне сравнений. Смирнов моложе, и в этом, пожалуй, его преимущество. Обаяние Собинова неизменно, и не далее как в конце 1929 года я прослушал по радио весь его концерт в Петербурге. Пел он мало старого, все какие-то невообразимые бездарные песенки и романсы новейшей формации, голоса почти не осталось, срывы были многочисленны и жутки, но тембр, тембр Собинова никакие годы изменить не осмелились, и отдельные фразы звучали по-прежнему *по-собиновски*: тот же вкус, то же мастерство, та же филигранность отделки. Публика неистовствовала. Никогда не прощу Е. И. Арцыбашевой, из-за политических соображений не давшей мне возможности послушать в ноябре 1930 года в Варшаве любимого певца.

Вспоминается мне еще сенсационный состав «Евгения Онегина». Ленского пел баритон Образцов, Онегина — тенор Большаков, Трике... Фигнер! Уж не помню теперь, как справились со своими диковинными «разноголосыми» партиями первые двое, но своеобразный по тембру и по игре Фигнер, премьер, солист Его Величества, в выходной и все же знаменитой арии гувернера был очень трогателен и номер свой исполнил блистательно. Между прочим, один лишь Лабинский отдаленно напоминал по своему тембру Фигнера. Повторяю, у Фигнера был совершенно своеобразный тембр: пожалуй даже несколько гнусавый, но в то же время пленительный, свойственный лишь ему одному, т. е. редкостно индивидуальный. Подача его была, во всяком случае, чрезвычайно эффектной, исполнение элегантное. Что-то французское чувствовалось во всем его облике.

———

Однажды я был свидетелем инцидента с Олимпией Боронат. Шли «Гугеноты». Певица превосходно по обыкновению «брала» арию королевы. Оставалось несколько трудных колоратурных ступенек. Вдруг пылинка попадает в горло. Боронат пускает «петуха», закрывает лицо руками и убегает за кулисы. Зал делится на два неравных лагеря: меньшая шикает и свистит, большая — бешено аплодирует. Проходит порядочно времени. Расстроенную артистку уговаривают выйти продолжать спектакль. Она не решается. Наконец выходит, встреченная аплодисментами и шиканьем. Повторяет арию целиком, и на этот раз исполнение безукоризненное. Весь зал устраивает ей овацию.

Кстати о Боронат. Она имела целую армию приверженцев и приверженок, не пропускавших ни одного ее выступления. Лично я был знаком с группой человек в тридцать ее восторженных поклонников. Они всегда сидели в правом углу балкона, около самой сцены, над оркестром, где любил сидеть я. Являлись они с целым ворохом маленьких букетиков, которыми осыпали ее, неистово вопя: «Боронат!» при каждом ее появлении на сцене. Среди этих «боронатисток» особенно ярко помню двух барышень, дочерей севастопольского (не в смысле войны) адмирала Ф. и их постоянного спутника, тогда только начинавшего художника Ш. Впоследствии он женился на старшей, Валентине, и сделал себе европейское имя.

Сорвалась однажды и Акцери, исполняя в «Миньон» полонез Титании. Да, многие артистки избегают труднейшую партию Филины. Вспоминаю, как лет пять назад в Ревеле я зашел в «артистическую» зала перед концертом Липковской. Лидия Яковлевна любезно предложила спеть что-нибудь по моему желанию. Я попросил ее исполнить любимый мною полонез Титании. «Филины я никогда не пою,— рассмеялась Липковская,— выбирайте что-нибудь другое». Тогда я попросил вальс из «Семирамиды» Россини. Оказалось, что и эта партия не входит в ее репертуар. В конце концов поладили на вальсе Джульетты. Лучшими исполнительницами Филины я считаю Ван-Брандт и Боронат.

К сожалению, фигура последней плохо гармонировала с хрупким обликом возлюбленной Лаэрта и царицей ночи. Маленькая, изящная Ван-Брандт и сценически была очаровательна в этой партии, как и в Лейле и в Лакмэ.

Большое впечатление произвела на меня премьера в Петербурге «Золотого петушка» — одной из лучших опер Римского-Корсакова. Шемаханскую царицу, великолепно справляясь с большими трудностями тесситуры, исполняла Андреева. Появление в прологе Звездочета сразу наэлектризовало зал. Этот пролог произвел впечатление какого-то музыкального бича. Редко выразительный номер оперной сатиры.

Был еще в труппе Церетели артист Клементьев. У него был громадного диапазона, несколько вульгарный тенор. Нерона он и пел и исполнял превосходно. Стансы и строфы ему всегда приходилось бисировать. Многократно слышал его в этой партии, и каждый раз он очаровывал все больше. В особенности бесподобно звучала в его устах музыкальная фраза: «Преступника ведут, кто этот осужденный...»

Кто же дирижировал у Церетели? Главным дирижером был Вячеслав Сук. Кроме него помню Голичиани, Эспозито (автора «Каморры») и Цанибони. Последний был первой скрипкой, но иногда дирижировал утренниками. Никогда не забуду бешеного темпа увертюры в «Миньон». Этот совсем молодой человек провел ее вихреобразно, скомкав всю грацию этого классического opus'a.

Репертуар в те годы был весьма разнообразным. Кроме трафаретных общепринятых опер, давались никогда или довольно редко исполнявшиеся: «Адриена Лекуврер» Чилеа, «Германия» Франкетти, «Царь-плотник» Лорцинга, «Дон Пасквале» Доницетти, «Пуритане» Беллини, «Эрнани» и «Отелло» Верди, «Елена» Сен-Санса, «Кащей» Римского-Корсакова, «Каморра» Эспозито, «Сорочинская ярмарка» Мусоргского, «Лючия» Доницетти, «Джоконда» Понкиели, «Моряк-скиталец» Вагнера, «Заза» Леонкавалло, «Гам-

лет» Тома, «Гибель Фауста» Берлиоза, «Фиделио» Бетховена, «Электра» Штрауса, «Год в монастыре» Данилевской, «Миранда» Казаили, «Мадмуазель Фифи» Кюи и др.

В «Олимпии» на Бассейной удалось прослушать «Черевички» Чайковского с Кузнецовой-Бенуа в роли Оксаны и Бокачича в роли кузнеца Вакулы. Опера «очень милая», но мне конечно больше хотелось бы прослушать на этот сюжет «Ночь под Рождество» Римского-Корсакова. Думается, у Римского-Корсакова этот сюжет должен быть разработан более колоритно, чем у Чайковского, памятуя хотя бы «Майскую ночь».

ДВА ВЗГЛЯДА

В ноябре 1916 года в Гатчине, где я проводил зиму, за три месяца до революции, я получил из Москвы от одной из своих поклонниц Аси К. довольно упадочное письмо, произведшее на меня сильное впечатление. Знал я эту барышню очень мало, приходила она ко мне всегда в антрактах на моих вечерах в Москве, приносила цветы и забавные игрушки. Говорили мы с ней только о веселых пустяках, да и то мимоходом. Но глаза у нее были внимательные, серьезные, что как-то не гармонировало с беззаботностью и шутливостью.

«Я люблю вас,— писала она,— и мне хотелось бы оберечь вас от надвигающейся опасности. Я знаю, вы хрупкий и совершенно неприспособленный к жизни. Уехали бы вы лучше куда-нибудь из России, право. Назревают события. Люди измучены, люди недовольны. Народ вскоре возьмет власть в свои руки. Будет пролито много крови, будет много жертв. Не до стихов в это время нашей Родине. Думается, вам все это как-то чуждо. Вы не борец, вы только лирик, вам будет невыносимо. Не осуждаю — предупреждаю только. Уезжайте из России и чем скорее, тем лучше. Послушайтесь меня, поверьте мне. Войдет жизнь в свои берега — понадобится и лирика, может быть, несколько иная, но понадобится, ибо без лирики нет жизни, и тогда вы вернетесь домой на возрожденную, очищенную, счастливую Родину».

Вот что писала мне девушка. Я все хотел ответить ей, спросить кое о чем, но она не дала своего адреса, а я так и не удосужился его узнать. До революции я дал еще несколько вечеров в Москве, но девушка на них уже не появлялась... И еще раньше, в мае 1915 года, в Петербурге, в мое отсутствие пришел какой-то посетитель в косоворотке, был принят близким мне человеком и сказал приблизительно следующее: «Мы ждем от поэта шага в нашу сторону. Довольно пробавляться буржуазными пустяками. Его талант обязывает: он нужен народу. Передайте мои слова, пусть серьезно подумает над ними». «Но кто же вы?» — спросила озадаченная женщина. «Фамилия моя вам пока ничего не скажет, но я член той власти, с которой вскоре Россия и вы в том числе близко познакомитесь...»

1930

ЗАГАДОЧНЫЙ КУЧЕР

Когда в июле этого года я гостил две недели на даче у эстонского поэта Генрика Виснапу в двадцати верстах от Юрьева, на берегах Эмбаха, пианист Всеволод Гамалея, встретясь со мною на улицах города, предложил устроить совместно с ним вечер стихов и музыки в Печерах, хорошо знакомых ему по прошлому лету, когда он с семьей жил там на даче.

«Ничего не имею против,— заметил я.— Мне самому давно хотелось побывать в этом древнем городе. Что же касается вечера, не скрою от вас, меня очень удивляет одно обстоятельство: вот уже вскоре исполняется двенадцать лет моего пребывания в Эстонии, и, однако, печеряне до сих пор ни разу не удосужились пригласить меня почитать им свои стихи. Не знаю, чему бы это приписать, тем более, что край издревле русский, преимущественно заселенный русскими и кому бы, казалось, как не русским, следовало дорожить и интересоваться своим поэтом. Кроме того, в Печерах, как я наслышан, бывают периодически съезды учителей окрестных школ, следовательно и интеллигенция имеется налицо. Во всяком случае, я проедусь туда с удовольствием»,— прибавил я своему собеседнику.

Вскоре после этого разговора я уехал к себе в Тойлу и совсем позабыл и о Печерах, и о нашем проекте. В конце августа Гамалея известил меня, что он списался с Культурно-просветительским обществом, и оно готово устроить наш вечер. Он предложил мне два числа и просил выбрать любое. Я выбрал 8 сентября. Итак, мы отправились. На вокзале в Печерах мы были встречены каким-то молодым человеком в картузе. Он очень любезно раскланялся с моим спутником. «Это, очевидно, делегат от Общества?» — спросил я Гамалею. «О нет, это кучер доктора, высланный за нами»,— был несколько поспешный ответ.

Упитанная лошадка быстро доставила нас по холмистой живописной дороге в больницу и квартиру врача, где мы были встречены на крыльце любезными хозяевами. Женщина-врач Елена Семеновна Матвеева, ее мать и тетя принимали нас во все время пребывания нашего в Печерах более чем радушно и хлебосольно. К обеду приехали из своего имения в тридцати семи

верстах от города их добрые друзья — супруги Айвазовы, которые, узнав, что я даю на другой день вечер, оставив свою лошадь у Матвеевых, в холод, бурю и дождь, в полнейшей темноте отправились в свое Шилово на автомобиле за цветами для поэта.

И жена, и муж — страстные любители цветов, и им непременно хотелось одарить поэта цветами, любовно ими самими выращенными. Любезность совершенно исключительная в наши дни! Они вернулись на следующий день к обеду, привезя с собою целые вороха флокусов, гортензий, астр и красных лилий. Вечером я был положительно засыпан цветами.

Оба дня шел беспрерывный дождь, и поэтому города и монастыря мы почти не видели, я успел побывать только у всенощной, которую одухотворенно служил епископ Иоанн вкупе с другим духовенством. Днем в день концерта приходил представитель Общества к соседу доктора и вызвал к себе Гамалею, на вопрос которого, не находит ли он нужным хотя бы познакомиться с Северяниным, ответил, что может быть и находит, но к сожалению очень спешит и постарается сделать это вечером.

Но вот прошел — и очень успешно в художественном отношении прошел — и наш вечер, и наступило утро отъезда, и снова никто из членов Культурно-просветительского общества так и не явился проводить нас на вокзал. Я долго не мог прийти в себя от изумления, и мне все казалось, что Гамалея надо мной подшутил, и больничный кучер, встречавший и провожавший нас, на самом деле не кто иной, как переодетый представитель Общества, в силу врожденной болезненной застенчивости свято оберегавший свое инкогнито. По этой причине я и на чай ему не дал...

1929

ПО ЛЕСАМ И ОЗЕРАМ

1

Тойла расположена на высоком берегу моря, вся в соснах и золотистых полях, а моря нельзя не любить, потому что оно — море. Из окон наших — его бесконечная синева, сизость, синеватость, лимонность, и все эти цвета ежедневно чередуются, меняются, чаруют. Взглянешь влево — острова Гогланд и Тютар вырисовываются скалистые, верст на 50—60; переводишь глаза вправо — маяк в Гунгербурге белеет, а до него не менее 40. А там, за ним, Петербург угадывается, и говорят, что в очень хорошую погоду очень хорошие глаза купола Исаакия видят. Из Гунгербурга. Видят потому, что хотят видеть, желание же победительно, верю.

Моря нельзя не любить, как нельзя не любить ле́са, озер, рек — природы Божьей. Природы и искусства. Во всех проявлениях. Да и что же любить остается здесь, на земле? Привыкшему к природе трудно жить в городе, может быть, и нельзя уже жить. Безлюдье обворожительно, в наши дни — в особенности. Природа прекрасна. Без людей — вдвое. Нет красоты, которой бы не испортил человек. Я говорю о людях вообще. Но среди людей есть такие влекущие, необходимые люди. Они — исключенье, а без него нет правила. Как гадки люди в целом! Как привлекательны в частности...

Море на север, на восток Россия, Европа на запад. Остается юг. Что же на нем? Что к ближнему югу нашему? Чудское озеро, Пейпус. «Прекрасно озеро Чудское»,— сказал Языков, учившийся, кстати, в юрьевском университете. Теперешний Тарту в теперешней Эстонии. От нас до Пейпуса 60 верст. До железной дороги — восемь. Между полотном и Пейпусом необъятные сосновые леса. В лесах озера. Их семьдесят шесть. Они прекрасны. Я люблю ходить на них. И делю свою любовь между морем и озерами. Но я рыболов, удильщик. В море мне делать нечего. На озерах некогда отдохнуть.

Мы выходим в путь на восходе. Нас трое. Проходим просыпающейся деревней, растянувшейся на версту. Сплошная сиреневая аллея. В зарослях сирени — домики. Чистенькие, всегда подновленные. Улица делает зигзаги. Она узкая, очень сухая. Утренний холодок.

Утренний влажный запах сирени. Лавочки еще заперты. Только что проснувшийся аптекарь распахивает окно, поеживаясь и зевая. Рыбаки несут сети. С крутого берега Пюхайыги мы спускаемся в долину, переходим каменный мост, поднимаемся на противоположный, еще более высокий, берег. Долина с отвесными берегами и вьющейся между них речкой живописна. Есть что-то от Урала.

Мы делаем обход старого надречного кладбища, запрятанного в зелень над оврагом, на дне которого сочится ручей, идем полевой дорогой к югу. По обе стороны от нас хутора, рощи. Лютеранская кирка слепит нас своей позлащенной солнцем белизной. Православная церковь в полуверсте влево от нее напоминает о близости имения Елисеева. Там, за нею, трехэтажная вилла на фоне елей и сосен. И уже что-то от Крыма.

Пройдя четыре версты, мы выходим на шоссе Нарва — Ревель, поворачиваем вправо, покрываем легко еще две версты, сворачиваем влево и вступаем в озерный лес. Вот полотно железной дороги. Пересекаем его и видим прямую, текущую с юга речку. Она не широка, сажени две. Нам предстоит пройти вдоль нее до первого озера — Пиен — три версты, обогнуть его и идти дальше. Куда?

Куда захотим. Здесь столько соблазнов, сколько озер, и каждое своеобразно очаровательно. Не будем останавливаться у Пиен, пойдем на Изана, до него всего около двух верст. Речка Вазавере бежит все время нам навстречу, протекая в своем стремлении через два озера. Ее истоки верст за двадцать, около Пюхтицкого монастыря. Тропка вьется среди медуницы и валерьяны. Речка поблескивает при солнце. Столетний лес. Вдали голубеет озеро Изана.

Лодка ждет нас. Мы сталкиваем ее в воду, удобно рассаживаемся в ней, составляем складные удочки и принимаемся за уженье. Двенадцать верст пройдены, теперь хорошо отдохнуть. При удачном клеве, а он зависит от ветра, лунь и других условий, здесь можно поймать много рыбы. Правда, окуни, плотва и красноперка попадаются в этом озере преимущественно мелкие и редко достигают фунта, но количественно мы чувствуем себя удовлетворенными: на долю каждого все же приходится от 15 до 40 штук. Иногда попадается и лещ от фунта до трех. Большие (фунтов на пять-восемь) часто обрывают лески.

Так проходит день, и не успеваем обернуться, солнце садится. Клев кончается. Теперь на ночлег к леснику, живущему еще далее к югу за полторы версты. Хотя мы и подкрепились захваченной с собой скромной «охотничьей» пищей, к вечеру чувствуем сильный аппетит и с удовольствием мечтаем о стакане горячего чая.

У лесника большой вместительный дом. Несмотря на свои семьдесят два года, старик жизнерадостен и бодр. Он хороший стрелок, и в его доме всегда найдется какой-нибудь вальдшнеп или рябчик. Он с женой радушно встречает нас и проводит в высокую светлую «нашу» комнату. Хозяйка, женщина лет сорока, накрывает на стол, жарит наш улов, и вскоре мы сидим у кипящего самовара, ведя немудрую, а может быть воистину мудрую — в силу своей немудренности — беседу с милыми, гостеприимными и добрыми «лесными» людьми.

2

Лесник будит нас в два часа утра, и мы, наспех выпив молока с кусочком хлеба, спешим на утренний клев. Несколько слов по этому поводу. Опытные удильщики уверяют, что рыба клюет лучше всего перед восходом солнца. Для них это уже давно стало аксиомой. Об этом же говорит и Аксаков, являющийся для большинства каким-то рыболовным евангелием. Я сам очень люблю книгу Аксакова, но опыт показал мне шаткость этого утверждения: ранний час клева всецело зависит от местности, места и погоды. Я знаю озера, где рыба, не трогая червя на восходе, если ветер с востока или холодный дождь, начинает охотно ловиться среди белого дня в случае резкого улучшения погоды. Я знаю реки и озера, когда рыба лучше всего попадается поздним вечером, когда едва различим поплавок, и даже ночью. При северном и восточном ветрах вообще лучше не пробовать.

Сегодня мы идем на третье озеро — Рэк. Оно еще дальше к югу, и до него от лесника около двух верст. Мы переходим по мостику через чащу, неизменно до сих пор сопутствующую нам, речурку, пересекаем сенокос, идем вдоль нее около четверти версты, затем круто сворачиваем влево, входим в небольшую рощицу,

минуем еще один сенокос, и перед нами гора с сосновым бором. Идем узкой извилистой — совершенно парковой — сухой, осыпанной остинками дорогой, от которой в обе стороны разбегаются замысловатые тропинки, и вот наконец перед нами, внизу, под горой, окруженное сплошным лесом, возникает сонное и нежное озеро Рэк.

Оно красиво и грустно. Но красота его коварна: его сухие, вереском и мхом поросшие берега изобилуют медянками. От их укусов в здешних краях люди умирали. Вот и сейчас в шагах семи от нас лежит недавно кем-то убитая змея. Здесь также много клещей, и, возвращаясь с Рэк, мы всегда находим на себе нескольких.

Поплавок «дяди Саши» молниеносно тонет. На лице удильщика изумление: он вытаскивает леску без крючка. «Противная щука перекусила поводок»,— говорит он и вынимает из кармана коробочку с запасными жилками и крючками. «Не трудитесь привязывать новый крючок,— хладнокровно замечает наша спутница Ирис,— пожалуйста, получите ваш обратно». И она передает оторопевшему удильщику... только что откусанный крючок с кусочком жилки.

— ?!

«Ничего особенного,— улыбается Ирис,— вслед за вами эта рыба тотчас же клюнула у меня, как видите, более счастливо. Откусанный у вас крючок с кусочком жилки, на подобье уса, я нашла в углу ее рта». И она показывает свою добычу. К крайнему нашему изумлению, это не щука, а двухфунтовый бронзовый лещ. Лещ очень осторожная рыба, и этот случай из ряда вон. Мы долго не можем придти в себя с «дядей Сашей», и только всегда невозмутимая Ирис, слегка посмеиваясь, продолжает внимательно и серьезно ловить рыбу. У нее уже более десятка ершей и окуньков. У нас тоже. «Нет, сегодня здесь клюет только мелочь,— говорю я,— не стоит задерживаться, идем дальше».

Спутники соглашаются, и мы, забрав свои снасти, простясь с Вазавере, в нескольких саженях от нас опять протекающей вблизи коварного озера, обходим его наполовину, поднимаемся по одной из бесчисленных тропок в гору и углубляемся снова в лес, ведущий нас к озеру Пан. Озеро Лийв, продолговатое и глубокое, тоже окаймленное гористым бором, озеро, с берегов которого, крутых и скользких, открывается такой чудный вид на Пюхтицкий монастырь, отстоящий от

озера верст на 10 по прямой линии, остается в полуверсте влево от Рэк. Мы не заходим на него: в нем только окуни и щуки, причем первые клюют очень плохо и редко, и нам приходилось целые дни проводить на нем безрезультатно. Щуки же для удильщика интереса представляют мало: даже мелкие зачастую перегрызают лески, заводить же для них специальные металлические поводки мы не находим нужным, не любя этот сорт рыбы.

Верста пройдена. Мы на берегах светлого и небольшого, круглого и бестравного озера Пан. Здесь, как и на Рэк, у берегов раскрыли свои чаши белые лилии. На горе, в отдалении, виднеется дом пильщика, куда иногда мы заходим запастись хлебом, яйцами и молоком. Старик с внешностью царя Салтана пасет свое стадо овец на берегу. Он издали приветствует нас. Мы становимся на подветренный берег, откуда так затруднительно забрасывать лески, но куда скопляется в это время рыба.

«Озеро Пан и в этот раз оправдало свою репутацию»,— замечает Ирис, с энтузиазмом холодным, но пламенным вытаскивая из него за лещом леща. Вскоре их уже четыре, все они не менее двух фунтов каждый. «Как на заказ,— смеется „дядя Саша“,— вероятно, у вас имеется какой-нибудь талисман?» — «Власть желания»,— закорачивает его Ирис презрительными глазами, не меняя позы. Золотая красноперка мелькает в воздухе и падает к ногам удильщика, у которого лещ, оторвав крючок, передал его повелительнице рыб и поэтов...

3

В трех четвертях версты от озера Пан за лесным перевалом, поросшим вереском, где то и дело торчат гигантские зонты червивых большей частью, красных грибов, как раз Пюхтицкой, ранее названной мною парковой дорогой, узкое и длинное зеркало, отражающее стволы сосен, озера Кульп. По берегам янтарь морошки и фиолетовость гоноболя. И той и другой ягоды здесь изобилие, и, сидя на берегу с удочкой, стоит лишь протянуть руку, чтобы срывать по желанию любую из ягод горстями. На зеркале озера круглые плавучие острова с ягодами, кустарниками и порыжевшим мхом.

При ветре они передвигаются тихо и тяжко с места на место. Мы наблюдаем, как щуки, выпрыгивая из воды, гоняются за окунями. Другой рыбы здесь нет, но окуни клюют дружно. Однако и здесь крупных мы не вылавливаем.

Какой-то совсем особой благостью и сказочным очарованием веет от озера Кульп, и нам нравится всегда заходить на него мимоходом. Берега твердые, гористые, не то что берега Рэк и Изана, куда буквально не подступиться — сплошная трясина, и где без лодки нечего делать. Отдохнув, мы взбираемся на крутую гору, по самому краю которой вьется пюхтицкая дорога, и идем по направлению монастыря. До него еще не близко — верст 11. Вскоре влево от нас, тоже внизу под горою, появляется озеро Мэттас, тоже с плавучими островами, но еще более узкое, с берегами капризных очертаний. Оно безрыбно, и мы не останавливаемся около него. По-прежнему то вправо, то влево от нас стремятся бесчисленные тропинки, и по одной из них, круто свернув влево, мы направляемся к одному из самых рыбных озер края озеру Ноот, соединенному речкой с озером Аилик, прозрачным и небольшим.

Александр Мартынович, лесник, у которого мы вчера ночевали, сидит на маленьком плоту саженях в пяти от берега и ловит рыбу. «Как дела?» — спрашиваем у него. «Окуней семь по фунту — по полтора выудил, а два линя упустил»,— отзывается он и вдруг смолкает, готовясь сделать подсечку. Леска наструнивается, удилище сгибается, и линь фунтов семи отчаянно бьется и прыгает на плоту. Лесник хватает его, сжимая рыбу меж коленями. Она выскальзывает, заливает ему брюки молокой, обрывает леску и бултыхает в воду. «Ну что ты скажешь, ведь третий так уходит,— сокрушенно восклицает старик, качая головой,— а все оттого, что плот мал и скользок». Мы сочувственно смотрим на лесника, молча насаживая на свои крючки приманку. Но с берега здесь трудно поймать более или менее крупную рыбу, держащуюся в отдалении.

Отсутствие лодки дает себя чувствовать. Но Ноот не соединено с Вазавере, и на него в нашей лодке с Изана не попадешь. Держать же лодку на Ноот мы не решаемся: озеро слишком отдалено от человеческого жилья и следовательно прельстительно для всяческого жулья. Не было бы обидно, если бы браконьеры пользовались ею для рыбной ловли,— на здоровье. А то

ведь, как показывал неоднократно прежний опыт, изрубят топорами да и утопят.

Озера раскинуты на много верст, леснику не усмотреть за всеми. Человек, где только может, везде старается проявить свою животную сущность. Ему даже приятно бравировать ею. Напакостит и исчезнет без следа. Вот и люби людей после этого. Последнее, едва ли не единственное удовольствие отравят,— Бог им судья.

Начинает накрапывать дождь, рыба клюет вяло, и мы, простясь с лесником, складываем свои удочки и, выйдя на большую дорогу, быстро идем на ночлег в монастырь, где так привлекательно всегда и отрадно. Влево тропинка на большое озеро Акна, вправо — на еще большее озеро Куртна, вот озеро Ахвен, вот Сэрг, вот Нин. Озера мелькают за озерами. Около каждого свое настроение, свойственное ему только одному. Мы откликаемся на каждое настроение, мы ощущаем каждое своеобразие. Для одной уже этой смены, собственно, нам приятно бродить по лесам. Наконец лес кончается. Мы выходим на шоссе. Вдали, на горе, верстах в трех, купола собора. В монастырь приходим ко всенощной. Пюхтицкий монастырь основан бывшим ревельским (эстляндским) губернатором князем Шаховским.

4

У монастыря, около самой дороги, перед кладбищем, дуб в два обхвата. Отец Иоанн Кронштадтский, неоднократно бывавший в Пюхтицком монастыре, определял возраст дуба не менее, чем в две тысячи лет. Перед нами монастырская ограда, по углам башенки в древнем стиле. Через калитку запертых ворот мы попадаем во двор. Две церкви и собор, построенный лет пятнадцать тому назад на средства одного генерала из Москвы.

Собор — почти точная копия Успенского собора в Москве. Конечно, в миниатюре. В настоящее время в монастыре девяносто монахинь. Все свободное время они отдают огороду, вязанию теплых вещей, стаду, уборке поля. Пожертвования совершенно почти прекратились, поэтому своим трудом приходится им добывать себе скудное пропитание. Длительны и утомитель-

ны монастырские богослужения, между обедней и всенощной работают они на воздухе, вязать приходится по ночам.

Мы проходим мимо трапезной и по аллее направляемся к дому княгини Шаховской. Старая княгиня — ей восемьдесят четыре года — до сих пор проживает здесь. Старушка не утратила, несмотря на преклонный возраст, ни умственной, ни телесной бодрости, только зрение ее последние месяцы стало заметно слабеть. Муж ее, эстляндский губернатор, большой популярностью пользовался в губернии, и княгиня до сих пор часто видит к себе знаки внимания от местных крестьян. Ежегодно в день ее рождения местный оркестр, составленный из православных эстонцев, приходит будить ее по утрам.

Монастырю уже тридцать шесть лет. Первая из церквей выстроена лютеранином, которому явилась Пюхтицкая Божия Матерь на дуб, о котором я рассказал выше. От домика княгини, тоже расположенного на горе, открывается красивый вид на окрестные леса и поля. Вдали синеет самое большое озеро округа Вирумаа — озеро Конзо. Кончается всенощная, умолкает прекрасный хор монахинь, мы идем спать.

Рано утром, направляясь домой, мы навещаем озеро Конзо. На берегу живет местный лесник, у которого две лодки. Долго ездим мы по безмятежной влаге, то здесь, то там закидывая удочки. В клевные дни в этом озере можно поймать на раковую шейку окуней по два-три фунта. Идут они и на дорожку. Щуки достигают здесь очень крупных размеров. Другой рыбы нет. Вид с озера на монастырь еще красивее, чем от монастыря на озеро. Сосны и ели с трех сторон обрамляют воду. Вдали тают монастырские звоны.

На обратном пути, проходя мимо нашего озера Изана, мы заходим отдохнуть к Александру Мартыновичу, и он, как и всегда, вспоминает разные случаи из своей долголетней рыболовной практики. «С каждым годом все меньше и меньше рыбы в озерах становится,— говорит он, разливая чай по стаканам,— а было ведь время, когда озерные воды изобиловали ею. Однажды в Изана я поймал плотву в четыре фунта, в Пиен такого же окуня. А сколько щук переловил я!» Он показывает нам громадную щучью челюсть, достав ее со шкапа. «Эта щука весила более полпуда. И таких было много».

Мы рассказываем ему в свою очередь, как недавно один старый рыболов уверял нас, что лет семь назад поймал в озере Нымэ окуня в... двадцать фунтов. Старый лесник негодует: «Ведь как врет человек! И не совестно ему? Да таких окуней и не бывает вовсе. Я слышал, что более пяти фунтов они не достигают».

Мина Ивановна, его жена, наливает нам на прощанье по рюмке медовой наливки. Ирис иронически называет ее «медянкой». «Внутренний ужал»,— поясняет она, смеясь. Около часа ночи мы возвращаемся домой. Тойла встречает нас теплым, но таким живящим воздухом моря. После озерных туманов и пронизывающей сырости так отрадно вбирать в легкие морской воздух. Тяжелое утомление дает себя чувствовать. «Из-за такого улова не стоило ходить так далеко»,— высказываем мы вслух свои мысли. Но проходит дня три-четыре, мы основательно отдохнули и начинаем снова мечтать о следующем походе, ибо не рыба одна манит нас к себе,— влекут нас наши очаровательные леса и озера.

1927
Тойла

5

Пользуясь осенним разливом рек, мы хотим сегодня проехать в лодке по мелкой и узкой в летние месяцы Вазавере из озера Изана в озеро Куртна. Расстояние между ними верст 10, но путь сопряжен с большими затруднениями, так как через речку перекинуто много бревен и мостиков, под которыми в лодке не проедешь и через которые приходится ее перетаскивать, часто перепиливать бревна. Мы запаслись пилой-двухручкой и длинной веревкой. Удобно разместившись в лодке, мы въезжаем из озера в речку, но вскоре же наталкиваемся на первое препятствие: большой сосновый пень с массой корней лежит как раз посередине речки, бегущая встречно нам вода, задержанная в своем стремлении этой препоной, ударяется в него и разрезанная им надвое, переливается с шумом, вспененная, по его корням, и весь этот пень напоминает нам гигантского паука.

Волей-неволей мы выходим из лодки, я берусь за веревку, привязанную к средней скамье, и иду, волоком за собою таща лодку. Мне помогает Николай Николае-

вич, старый фабрикант, частый мой спутник. «Дядя Саша» направляет путь лодки веслом, идя за нами. Препятствие преодолено, мы можем вновь сесть в лодку и плыть до следующего, которое не заставляет себя долго ожидать: вскоре лодка начинает килем задевать за дно, и нам снова приходится с неохотой покинуть ее, изображая из себя волжских бурлаков. Саженей через двадцать мель кончается, и мы вновь плывем вверх по речке, упираясь в дно веслами, так как узость ее не позволяет грести. Таким образом, то вылезая, то вновь влезая бесчисленное множество раз, мы медленно продвигаемся вперед. По обе стороны от нас высится старый и густой елово-сосновый лес. Речка — водяная аллея. Теплый ноябрьский день. Пасмурный и <нрзб.>

Мы выехали в десять часов утра. Теперь уже более полдня, а мы за это время успели проехать не более двух верст от Изана. А вот вдали виднеется и мостик, ведущий к леснику. Добравшись до мостика, мы перетаскиваем общими усилиями через него лодку и идем обедать к лесным друзьям нашим. Рассказываем им о своем путешествии, и они удивляются нашей причуде — плыть в лодке по несудоходной реке. Для них это совершенно непонятное удовольствие, а главное, что в этом нет никакой пользы. «Блаженная затея»,— думают их глаза, благодушно посмеиваясь над нами.

Хороший деревенский обед быстро подкрепляет нас, мы наскоро выпиваем по стакану чая и спешим к мостику продолжать прерванный путь: уже второй час дня, и надо спешить до темноты попасть к цели путешествия. За мостом речка сразу же расширяется и углубляется, и теперь мы беремся за весла, поочередно гребя ими. Извилистые повороты таят красивейшие уголки. Подбадривает и очаровывает мысль, что никто никогда в глуши этой безлюдной, по реке этой зачарованной, не ездил в лодке, ни на плоту. «Мы первые»,— вторят мне мои спутники.

Внезапно перед нами за крутым поворотом реки возникает узкий продолговатый островок. Мы направляем наше суденышко в правый рукав и наталкиваемся на мель. Даем задний ход и пробуем проскочить левым проливом. Глубоко. Лодка идет легко и вдруг наскакивает на старую березу, переброшенную через пролив под самой поверхностью. Одновременно мы с «дядей Сашей» вылезаем с двух бортов в разные стороны и обосновываемся на еле покрытой водой березе.

«Идите, Николай Николаевич, на корму»,— командуем мы, берясь за борта и перетаскивая лодку через березу. Лодка до половины въезжает, вернее влезает на скользкое мокрое дерево. Николай Николаевич переходит на нос, нос садится под его тяжестью, и кораблик наш соскальзывает в речку. В это время береза, не выдержав нашей тяжести, переламывается под нами, и мы с «дядей Сашей» внезапно окунаемся в воду, инстинктивно и очень быстро, к счастью, схватясь за борта. Все это происходит так молниеносно, что мы не успеваем даже вымокнуть как следует (глупейшее выражение, ибо мокнуть вовсе не следует!). Со смехом мы вскакиваем одновременно с разных бортов в лодку, с удвоенной энергией и неослабеваемым интересом плывя все выше и выше туда, за бесчисленные живописные изгибы, за одним из которых где-нибудь скрывается же влекущее нас к себе озеро Куртна!

Влево, саженях в пяти от речки, поблескивает, как всегда, грустно и нежно хорошо нам знакомое озеро Рэк, куда из речки ведет проток, по которому можно проехать в лодке. Но мы не останавливаемся здесь и не въезжаем в озеро, хотя нам и очень хотелось бы сделать это. Надвигающаяся темень заставляет нас приналечь на весла. Лодка идет полным ходом. Река все шире и шире. Здесь уже почти нет преграждений в виде мостов и деревьев. Пусть свободен, заманчив и таинственен. Мы знаем, что речка изобилует рыбой, но темная вода ее осенью безмолвна и мертва. Ни одного всплеска не слышит настороженный слух. Куда делись вы, все щуки и окуни? Спите? Отдыхайте, друзья, и простите, что мы тревожим ваш сон, вы, никогда не слыхавшие шума весел.

Вечереет. Тьма все гуще и гуще. Вскоре плыть уже невозможно, тем более, что вновь начинают попадаться препятствия, борьба с которыми во тьме гораздо сложнее. Но что это? влево от нас серебреет какое-то озеро. Снова влево. Как и Рэк. Неужели это озеро Пан? Разве же мы его еще не миновали? Вот и проток в него. Я круто поворачиваю руль, мы вплываем в проток, и вскоре из-под нависших ветвей, затемняющих дорогу, попадаем на сталь водного простора. Здесь немного светлее.

«Да это только еще Пан»,— говорю я, направляя лодку к берегу. Мы поднимаемся на горку. Дом дровосека погружен во тьму. Ощупью пробираясь меж сосен, мы находим его и стучим. Пять часов вечера, но старик

уже спит. В одном белье он открывает нам дверь. На кухне нестерпимая жара и духота. Мы снимаем мокрые сапоги, носки и брюки, развешивая их у плиты. Через четверть часа все «высыхает до сухости». Пьем чай, закусываем. «Ночуйте у меня»,— говорит старик. Но на это мы не можем решиться: пугает удушающая жара.

Мы с улыбкой переглядываемся, поручаем дровосеку смотреть за лодкой и, надев на себя высушенное платье, идем лесными тропками, дорогами при свете карманных электрических фонариков ночевать в Пюхтицкий монастырь, туда на юг, за 15 верст. И, конечно, это приятнее и легче, чем спать в душной и низкой избе.

1927
Двинск

ДОМ НА ДИВАНЕ

На восточном берегу озера — гора в форме дивана, на «сиденье» — новый, крепко строенный деревянный дом. Налево — конюшня, коровник, кладовая. За ними, под «сиденьем», в отдалении — маленькая догнивающая деревушка. Избы накренились на все четыре стороны, некоторые без труб (через двери не только людям ходить — и дыму не возбраняется!), крышная солома повыдергана ветром. Направо — огород, кузница, баня, старый сад вокруг сгоревшего дома, гумно; далее, опять-таки под «сиденьем», вернее за ним,— аллея вдоль восточного побережья, длинная, тенистая, вся из сосен, елей и лиственниц; влево от нее — озеро, вправо — чаща непролазная леса, куда солнце никогда не заглядывает. На аллее — два дома, лесника и лесничего; второй даже основательней, с оленьими рогами над террасой.

За новым домом, с которого я повел рассказ,— гора вверх, перед ним — гора вниз, к озеру. Вот и получился «диван», как видите...

В этом «доме на диване» мы и проживаем. Хозяева бездетные: тишина обеспечена. Хозяин поле обрабатывает, плотничает, кузнечит, рыбачит. Ему сорок три года, и человек он почтительный и почитаемый: водки не пьет, курит по праздникам, сам все своими руками делает, работает с трех утра до заката, вечно хлопочет. Он и дом себе сам выстроил, и сирень с яблонями посадил, и все старается поудобнее в доме и хозяйстве устроить: приобрел усовершенствованный плуг, сепаратор и пр.

В доме — чистота и порядок.

Комната наша большая, светлая, высокая. Окна большие, стены бревенчатые, сосновые, гладко струганные. В комнате карилонсисы и олеандры цветут, половички и умывальнички в чистоте гуторят.

Хозяйка — женщина молодая, радушная, нравственная. Дела у нее еще больше, чем у мужа: ему во всем помогает да еще по хозяйству заботится.

По праздникам оба одеваются «по-городскому», да только бант на голове, эмблема замужества, хозяйку очень огорчает... Страстно хотелость бы ей шляпу завести, но, увы, нет на это мужниного разрешения, ибо

шляпа, очевидно, от лукавого, а с чертом наш хозяин не только не дружит, но и знакомиться не желает...

Под домом — озеро. Длина — верста с четвертью, ширина — две трети версты. Северный берег гористый, соснами покрыт. Западный и южный — болотистые, молодым сосняком и березками сильно тронуты. На гористом берегу белые и красные грибы растут в изобилии, на болотистых клюква, морошка и гоноболь разноцветными тонами своими красиво сочетаются. Глубина озера к четырем саженям приближается. Вода прозрачная, студеная. На дне — ил и песочек гофрированный.

В озере рыбка проживает — оттого-то и мы с женой проживаем на берегу...

И какая *«рыбка»*! Лещей менее четырех фунтов никто не видел, все более по семи-пятнадцати, окуни трех фунтов достигают, пудовые щуки бродят, угри вьются, судаки попадаются.

Есть у нашего хозяина морская шлюпка, старая, четверть века ей давно стукнуло, новую вскоре завести собирается. Так вот, отдал он нам ее в полное наше распоряжение — ею мы и пользуемся при ловле рыбы. А ловим мы ее разными способами.

Начну с *окуней*. Сядем в лодку, отправимся в одну из бухт — озеро ими изобилует,— встанем на якорь в саженях семи-десяти от берега и начинаем ловить окуней на удочки. Приманка обыкновенная — червяк, насаженный ленточкой. Окунь у нас рано клевать не любит, сибаритничает, спит долго, поэтому выезжаем мы часов в восемь-девять. Пробовали, внемля опытным рыболовам, и в два часа утра ездить, только ничего путного из этого не выходило, напрасно в тумане голоса свои теряли.

Еще ловим мы окуней таким способом: лодка идет средним ходом, одна удочка положена на корме, две — по бортам. Клюет окунь на ходу охотно.

Третий способ такой: ходим вдоль берега с удилищами и лесками аршинной величины. У северного берега мелко и рыба видна вся. Берег твердый и навис над водою. Закинем удочки у самого берега и ждем минутку. Если окунь «сидит» под берегом, мигом выскочит и клюнет. Нет его — идем дальше. Попадается, однако, на удочку мелочь: от одной восьмой до трех четвертей. А крупный окунь — от трех четвертей, до трех фунтов — идет хорошо на «дорожку». Только мы

заметили: чем быстрее лодка идет, тем лучше хватает окунь.

Попадаются и щуки, но более четырехфунтовой мы не ловили. Один раз большая щука кольцо разогнула и с тремя крючками ушла.

Ставим ежедневно переметы на червей. Червя съест окунишко в восьмую фунта, окунишку — окуни в один-два фунта, а то и щуренок около фунта его проглотит.

Сети ставить и острогой рыбу бить в нашем озере воспрещено, да мы этим и заниматься не любим, это — уже не спорт.

Угри и судаки редко показываются, а что касается маститых лещей, хотя мы их и частенько своими глазами видим, поймать их немыслимо. Уж чего-чего мы не пробовали для их уловления на удочку или перемет: и распаренный горох на крючки накалывали, и хлеб, и овес, и червей древесных — хоть бы клюнуло! А много лещей в озере — тысячи! И все крупные, жирные, серо-золотые!

— Не лещи, а поросята,— говорит наш хозяин,— а вот не клюют...

А не «клюют» от того, что сыты, вероятно: питаются водяными растениями и корнями.

В июне, когда они идут к берегам икру метать, плеск стоит на озере: то здесь, то там выскакивают из воды парами, весело играя, дразня рыболовов, бросающих свои занятия и созерцающих с замиранием сердца их весеннее празднество.

Знает наш хозяин, когда их ожидать к берегам следует,— за неделю ходит взволнованный и таинственный, все на озеро поглядывает, и, когда по озеру, гладкому и тихому, еле заметная зыбь пробежит, просияет весь и зарадуется: *лещи идут!*.. И точно.

Продолжается этот праздник обыкновенно около недели, затем они вглубь обратно уходят — и поди, поймай их, если умеешь. Редко-редко когда клюнет какой-нибудь безумец на червяка: один раз в три года, может быть. А и это случается. У одного мальчугана как-то клюнул, да толка мало: удилище сломал и сгинул в глубине...

Много лет старик-лесничий живет на озере, а поймал всего-навсего двух лещей...

Прелестны озерные бухточки, и всем им мы дали названия: «Бухта белой лилии», «Бухта вереска», «Янтарная бухта», «Бухта инцидента»...

Последнее название произошло оттого, что ловя как-то окуней, стал я вычерпывать воду из лодки; для этого взял ведро, совсем забыв, что все пойманные окуни в нем находятся. В результате весь четырехчасовой улов одним взмахом ведра очутился опять в озере... После долго смеялись мы над этим и успокоились только тогда, когда дали бухте, в которой произошел вышеописанный казус, подобающее наименование...

Летом я почти не работаю, книги же свои создаю исключительно зимами и ранней весной, когда лед мешает моему любимому спорту.

Но и зимой иногда удается нам вытащить через прорубь небольших окуньков (червями мы запасаемся с осени), и смею уверить вас, что эти окуньки в свежей деревенской сметане не так плохи...

1924
Озеро Uljaste

РУМЫНСКАЯ ГЕНЕРАЛЬША

1

Мы сидели в никелированно-бархатном холле одной из самых фешенебельных гостиниц в Бухаресте в ожидании редактора художественного журнала. Этот восторженный идеалист по обыкновению запаздывал, захваченный какой-нибудь очередной непредвиденной встречей на улице, так или иначе имевшей отношение к его любимому детищу, капризному и избалованному, требовавшему предельных жертв и приносившему неукоснительно лишь одни убытки. Я курил сигарету за сигаретой, лениво рассматривая какой-то итальянский журнал.

Сверху по широкой лестнице, устланной тонким баюкающим ноги ковром, спускалась маленькая полная шатенка в сером костюме, очень бледная, с капризно очерченным ртом и густыми бровями, в сопровождении тонкого и высокого офицера. Вдруг произошло нечто совершенно необыкновенное: завидев меня, незнакомка, сойдя с лестницы, опустилась на колени, подняла молитвенно руки и стала подвигаться — на коленях! — в мою сторону. Я, признаться, опешил и стал невольно озираться, предполагая, что она направляется к кому-нибудь другому. Но, увы, хотя в холле и было несколько человек, преимущественно иностранцев, вблизи нас решительно никого не было!..

Сомнений быть, следовательно, не могло: коленопреклоненная дама направлялась именно ко мне. Чувствуя себя страшно неловко, я смущенно поднялся ей навстречу. Ее спутник видимо был смущен не меньше моего. Он что-то пробовал ей говорить по-румынски, лицо его покраснело и выражало полнейшую растерянность и явное неудовольствие. Между тем дама, не обращая на него никакого внимания, продолжала — буквально! — ползти с воздетыми в экстазе руками. Пораженные иностранцы прервали свою беседу и безмолвно, с непередаваемым выражением лиц, созерцали диковинное представление.

И вдруг она в двух-трех шагах от меня заговорила: «О, божество мое, наконец-то я вас увидела! Сколько лет я мечтала об этом миге. Не сочтите меня психопаткой или комедианткой: к таким поэтам, как вы, нужно

приближаться всем, как делаю это я,— коленопреклоненно». И только после этого вступления она встала на ноги, представилась сама и представила мне и моей спутнице Ирис своего жениха, адъютанта одной весьма высокопоставленной особы (принца Николая). Затем все сели.

Полился оживленный разговор. Я приходил в себя постепенно: меня ее поведение и смешило и трогало, а чувство неловкости еще долго меня не покидало. Из ее слов я понял, что она богатая бессарабская помещица, молдаванка с очень громкой и известной в свое время всей России — по ее дяде — фамилией, была замужем за румынским генералом, по образованию филолог, перевела мои стихи на одиннадцать (!) языков и знает наизусть чуть ли не все мои книги, изданные в России. «Я непременно приеду к вам летом в Эстонию,— сразу же заявила она решительно.— Я должна своими глазами видеть страну, вдохновляющую поэта. Почему-то Эстония представляется мне сплошным зеленым лугом, на котором пасутся бесчисленные стада красных,— вы слышите,— непременно красных коров. О, в какой идиллической стране вы живете!» — восклицала она, не давая мне вставить слова и объяснить ей, что у нас в красный цвет окрашены только «божьи коровки». Так, вероятно, она и осталась при своем первоначальном убеждении.

«Я непременно хочу рассказать вам подробно свою биографию,— наконец встала она, протягивая мне свою миниатюрную ручку,— и прочесть вам вас самого на всех европейских языках. Приходите, пожалуйста, ко мне завтра в десять часов утра. Я живу в этом же отеле, в № 15». Офицер, ни слова не понимавший по-русски, все время сидевший, как на иголках, поспешил с явной радостью нам откланяться и последовать за своей эксцентричной и хорошенькой невестой. И оттого, что она была хорошенькой, я на другой же день отправился к ней в указанное время.

2

«Войдите»,— раздалось грудное контральто на мой стук. Я вошел. Дверь заперта не была: очевидно, меня поджидали. Женщина лежала в кровати. Я сел в кресло, стоявшее в ее ногах. С места в карьер она начала

мне рассказывать свою жизнь. Ничего необыкновенного в ее рассказе не было. Особое внимание она уделяла незначительным деталям, и вот тут-то, надо признаться, это подчеркивание иногда становилось значительным. У меня составилось о ней представление, как об очень избалованной, взбалмошной, властной истеричке.

Во время рассказа она отчаянно кокетничала, то натягивая до подбородка, то нервно опуская,— впрочем, до вполне дозволенного предела,— зеленое шелковое одеяло. Говорила она безостановочно, артистически играя лицом, поминутно меняя его выражение: то скорби, то строгой неприступности, то влекущей нежности, то еле сдерживаемой страсти. Я держал себя холодно-корректно, не веря ни одному ее слову, взглядам и интонациям, был все время настороже.

Потом она долго читала мне мои стихи по-венгерски, норвежски, итальянски и т. д. Читала просто и четко, стихи звучали ярко и красиво. Своим чтением она доставляла мне большое удовольствие. Читала она и по-русски, и должен отметить, что стилизовала отлично, нигде их не коверкая и не заменяя моих слов, подобно многим, именитым даже актрисам, отсебятиной. Подобное благоговейное отношение к стиху делало ей, конечно, честь.

Мой визит длился часа два. Наконец в дверь постучали. В этот раз почему-то она откликнулась на стук по-румынски, и в комнату вошел ее жених. При виде меня, сидевшего у кровати его невесты, лицо жениха заметно вытянулось, и опять, как накануне, смущенье овладело им. Но он постарался его, хотя и неумело, скрыть и был подчеркнуто и неестественно любезен. Пробыв еще минут двадцать, я поспешил оставить их вдвоем. Расставаясь со мною, она просила почаще ее навещать.

«Каждое утро в это время вы всегда можете меня застать дома,— сказала она многообещающе и подарила одну из роз, только что поднесенных ей женихом.— Кстати,— добавила она,— через две недели я еду к себе в имение под Бендерами. Еду на всю Пасху. Я жажду одиночества и хочу отдохнуть от него.— Тут она кивнула на ничего не понимавшего по-русски адъютанта.— Так вот. Вы обязательно должны дать мне слово, что навестите меня в природе. Но только приезжайте без вашей спутницы. Мне хочется уединиться с вами, чтобы

читать бесконечно стихи, бегать по полям, забыв обо всем на свете. А этот... мой будущий муж пусть останется здесь. Приедет потом, к концу праздников. Пусть помучается, пусть поревнует немного». С этими словами она подозвала его к себе, обхватила шею руками, порывисто поцеловала в губы и весело рассмеялась, окончательно смутив жениха и рассмешив меня своим лукавством.

3

Помещик из Бессарабии, бывший в те дни по делам в Бухаресте и узнавший случайно о моем новом знакомстве, нахмурил брови, поднял указательный палец, помахал им передо мной и кинул предостерегающе: «Берегитесь!» Затем он поведал мне, являясь ее родственником, целую занимательную историю выхода замуж за видного генерала и жизни ее с ним. Оказывается, генерал был неисправимым ревнивцем, а его жена, как нарочно, давала немало поводов к ревности. Дошло до того, что, уезжая на службу, муж приказал кучеру, если в его отсутствие барыня прикажет заложить лошадей для катанья по городу, приказанье ее исполнять, но нигде не останавливаться — ни у магазина, ни у кафе, ни у знакомых,— и возить ее от и до собственной квартиры. Солдатам же, стоявшим у подъезда на часах, было строжайше приказано никого без генерала не впускать в особняк. И, однако, несмотря на столь радикально принятые меры, генерал однажды возвратясь в неурочный час, застал у себя в квартире молодого человека, бывшего офицера русской армии, весело разговаривавшего с его женой.

Она нисколько не растерялась и демонстративно представила гостя хозяину дома. Генерал же, не подавая руки посетителю, придя в ярость, велел денщику позвать нескольких солдат, вывести злополучного гостя во двор и там жестоко избить его прикладами. После такой расправы несчастный более двух месяцев пролежал в больнице, а возмущенная жена, каким-то чудом избежавшая генеральского гнева, уехала к родным и якобы поместила в одной из газет письмо, в котором выражала свою любовь и сочувствие пострадавшему поклоннику и негодование мужу. Генерал, успокоившись, не знал, как лучше замять всю эту пренеприят-

ную историю и не предпринимал ничего к водворению в свой дом разгневанной супруги. Она же ежедневно навещала избитого в госпитале и обещала ему, когда он поправится, поселиться с ним вместе, разведясь с мужем.

Время шло, больной выздоровел и стал подыскивать уютную квартирку, а, найдя ее, любовно и продуманно мебилировать. А когда все было готово и оставалось только въехать в новое жилище и начать новую жизнь, легкомысленная и злая кокетка неожиданно вернулась к мужу, примирившись с ним, пустив в ход все свои чары, и оставила нового возлюбленного, что называется, с носом... А спустя месяц официально развелась с мужем, став невестой уже румына-майора.

Для более полной характеристики этой женщины мой знакомый бессарабец рассказал мне один случай, когда как-то в ресторане зашла речь о женских слезах и когда эта милая особа предложила одному адвокату — на крупное пари — намочить — и добросовестно! — весь платочек беспричинными слезами. И тут же, в разгар шуток и веселья, вдруг горько расплакалась, да так реально, что собеседники не на шутку струхнули и ей посочувствовали, давали валерьянку и не знали, как успокоить. Она же, как внезапно разрыдалась, так же скоро и успокоилась, стала беззаботно смеяться и показала платок, насквозь промоченный слезами. «Женские слезы,— глумливо пояснила она одураченному обществу,— ровно ничего не стоят и ровно ничего не доказывают. Я могу, например, плакать в любой час дня и ночи и горжусь этим своим умением».

«Так вот какова моя поклонница, это становится уже интересно»,— заметил я помещику и, поблагодарив его за исчерпывающую характеристику, с удвоенным удовольствием направился к ней в отель.

4

Пережив 28 марта 1934 года довольно сильное землетрясение, дав вечер стихов при безвозмездном, дружеском участии неоднократно воспетой мною Л. Я. Липковской, жившей в тот год в столице Румынии со своим молодым мужем-датчанином Свэном, распростившись со всеми своими многочисленными друзьями, в том числе с Еленой Ивановной Арцыбашевой, вдовой

писателя, и златокудрой красавицей-поэтессой и меценаткой Ольгой Мими-Вноровской, издавшей мой «Рояль Леандра», я на Страстной неделе вернулся в патриархальный, не по заслугам проклятый Пушкиным наивно-уютный Кишинев, к себе на «страду Бритиану», где мы с Ирис занимали прелестный особнячок в тенистом саду у одной моей радушной и верной почитательницы, на голову выше меня самого ростом, дородной и картинно-красивой, обладательницы драматического сопрано громадного, как и вся она, диапазона.

В Кишиневе уже весна была в полном разгаре, и золотое ананасное солнце заставило всех давным давно позабыть про пальто. Гуляя в вечерние часы по длинной,— до трех километров,— и широкой Александровской улице со своей неизменной спутницей, тоже местной поэтессой и кабаретной певицей, стройной и высокой брюнеткой с синим отливом в волосах, барышней-полькой, самозабвенно читавшей мне вслух во время наших бесконечных прогулок свои очень слабые, но и очень нежные стихи, вдохновляемый пламенной южной весной и близостью грациозной и изящно-жеманной Виктории, я вскоре окончательно позабыл свою бухарестскую генеральшу и наши прогулки с нею по совсем старинной Calea <нрзб.>, и темы наших разговоров, и она сама, женщина, так сказать, из разряда «роковых».

И по правде сказать, я был несколько раздосадован, когда однажды утром раздался звонок, и Ирис, открывшая дверь, сообщила мне, что меня желает видеть «та дама, ну как ее там... из Бухареста...» Я просил ее зайти к нам, но она от этого уклонилась и предложила мне пройтись с ней по улице, желая что-то сказать, ну, конечно же, что-то «нужное и важное». Я взял шляпу, мы вышли за ограду. И только тут я обратил внимание на одно странное обстоятельство: шагах в двух-трех за нами следовал какой-то солдат, который, как я потом припомнил, стоял у нас в саду около крыльца, пока я разговаривал со своей гостьей.

«Что это значит,— спросил я у нее,— и почему он неотступно идет за нами?» «Не правда ли, возмутительно? — заметила она.— Но тут, к сожалению, ничего не поделаешь: мой жених, зная, что я перед Бендерами заеду в Кишинев и, следовательно, увижусь с Вами, приставил ко мне этого телохранителя (этому слову она придала некий острый оттенок) и велел не остав-

лять меня ни на минуту и всюду следовать за мной до самого моего имения. Вот что делает глупая мужская ревность,— с непритворным вздохом закончила она.— И еще говорят о женском равноправии, эмансипации женщин! На самом же деле мы всегда зависимы, всегда угнетены и обезличены».

Смотря на нее и все время помня слова ее родственника, я ожидал, что вот-вот она вынет из сумочки платочек и добросовестно наплачет его, увлажнит неисчерпаемым запасом дежурных слез, но она почему-то предпочла в этот раз слезам смех и, видимо, вовсè в сущности не шокированная присутствием конвоира, стала беззаботно смеяться и болтать всякий вздор, эта разведенная генеральша, этот магистр филологии, эта разнузданная истеричка с явно садистским уклоном. «По крайней мере, скажите ему, чтобы он шел на почтительном от нас отдалении»,— посоветовал я, начиная уже раздражаться. Она сказала ему несколько слов по-румынски. Солдат осклабился и слегка отстал.

«Зайдемте в кафе Земфиреску»,— предложил я, думая, что наш конвой останется у входа и не осмелится компрометировать нас в помещении. Мы зашли, присели к столику и заказали по большому бокалу вермута. И... можете представить мое изумление: солдатик вошел вместе с нами и остановился в двух шагах от нас — «встал на часы»!.. Мне оставалось только предложить и ему вина! Из элементарной учтивости. Но он, поблагодарив, покачал отрицательно головою. Публика недоуменно нас разглядывала. Вскоре, к моему большому облегчению, генеральша заторопилась на автобус, еще раз пригласив меня через день приехать к ней в гости. «Если Вы не приедете, Вы смертельно меня оскорбите, запомните это, о, мое божество!» И я... смертельно ее оскорбил — остался, конечно, в Кишиневе.

5

Церковные колокола разудало-мощно и так взволнованно-благочестиво отзвонили жизнерадостную и полнотонно расцветшую Пасху. Мы с Викторией, рука об руку, быстро шли по Александровской. Экспансивная южная толпа, шумливая и смеющаяся, совершала свое праздничное гуляние. Вдруг нам встретилась гене-

ральша! «Хорош! — закричала „светская дама“ на всю улицу.— Хорош, нечего сказать! И это — моя облюбованная мечта! И это — мое божество! Обмануть мои лучшие ожидания — не приехать к женщине, так безумно его ожидавшей! Променять меня на какую-то кабацкую певичку! Я ненавижу Вас, слышите ли, ненавижу! Вы — гадкий, плохой, коварный человек. И эта девчонка смеет так нежно прижиматься к Вам, противная. Боже мой! Где Ваш вкус, где Ваш художественный вкус? О, как я наказана за свою доверчивость!» Вокруг начали останавливаться прохожие. Виктория презрительно улыбалась, смотря на бушевавшую даму с великолепным высокомерием. Я с удивлением, отчасти с любопытством выслушивал и рассматривал ее, не вставляя ни слова. Мне было одновременно смешно, неловко и жгуче за нее стыдно.

Наконец, Виктория очень просто и находчиво закончила всю эту нелепую сцену. «Не находишь ли ты,— спокойно отчеканила она,— что эта комедия становится скучной? Эта дама, видимо, спутала тебя с кем-либо: она разговаривает с тобою, как с самцом, позабыв, очевидно, о твоем сане. Хотя я и кабаретная певичка, но мое отношение к искусству, ей-Богу же, благоговейнее, чем у окончивших университет спермически насыщенных отставных генеральш!» И взяв меня под руку, смерив с ног до головы в растерянности онемевшую даму, Виктория (увы, теперь уже покойная!) увлекла меня за пределы вечернего города — в степь, в луну, в любовь...

Narva-Jesuu. 1 марта 1940

РАССКАЗ МОЕГО ЗНАКОМОГО

Одна наша очаровательная знакомая, обладательница не менее очаровательного автомобиля, как-то поинтересовалась узнать, почему N. так редко бывает в Ревеле, чем лишает ее большого удовольствия проводить совместно время. Вот что поведал ей N.

Я живу, как вам известно, в семи часах езды от столицы, в глухой деревушке. Ближайшая железнодорожная станция — в девяти верстах. Живу там потому, что люблю деревню, люблю с детства, да и дешевле жить в глуши, это бесспорно. Ежемесячно одно учреждение выдает мне прожиточный минимум в память моих былых заслуг. Этот «минимум» я называю пенсией. Жалование платят за настоящее, пенсию — за прошлое... Поэтому я обозначаю эту сумму именно таким определением.

Что представляю я из себя в настоящем? Человека, не сумевшего вовремя умереть. Не больше. Однако, не в этом дело. Дело в том, что, чтобы получить эту пенсию, я должен раз в месяц за нею ездить в Ревель — иначе не получишь. И не потому, чтобы в нашей местности не было почтового отделения. Оно существует, причем работает превосходно. Не было случая, кажется, чтобы пропала хотя бы открытка. Почтмейстер — человек пунктуальный, добросовестный. Вся беда в том, что, по нашей чудесной русской пословице, с глаз долой из сердца вон.

Так в данном случае и со мною. Не напомнишь — не получишь. Не получишь — не поешь. А у меня семья. На письма не отвечают: времени, вероятно, не имеют. А приедешь — изумятся, но дадут. Да еще приговаривают: «Напрасно беспокоились, лучше черкнули бы нам открыточку — мигом выслали бы вам». Изумишься в свою очередь, попробуешь вставить, что писал, дескать, не отвечаете. Не слушают, свое говорят. Теперь дальше.

Дорога до Ревеля,— я говорю про поезд,— стоит 250 марок, а на эти деньги мы с семьею два с половиной дня живы. Столько же обратно. В результате пять дней из месяца вычеркнуты, ибо пенсия предусмотрена ровно на 30, а не на 35 дней; в месяце же́, к несчастью, их не меньше 30. Разве только один февраль на сутки по-

короче. Таким образом, пять дней в месяц — форменный голод. Ну да ладно, как-нибудь перебьемся летом: грибов насобираем, окуньков наловим. Зимою хуже значительно.

Как я уже сказал выше, до станции от деревни девять верст. Естественно, что «делать» их приходится пешком, так как лошадки у нас кусаются. Такая уж, знаете ли, порода лошадей распространена в наших краях. Кусаются, да и все тут, причем норовят укусить именно таких бедняков, как я. Богатым их укусы не опасны. Если бы я стал при своих путешествиях на станцию и обратно пользоваться этими скверными животными, нам с семьею пришлось бы поголодать еще дней пять в месяц. Итого — десять. Согласитесь, что это было бы немного вредно для здоровья. А так как оно у нас не ахти какое, приходится его по возможности беречь, тем более, что и 25 дней-то в месяц мы питаемся, что называется, впроголодь, ибо наш минимум поистине минимален, и ни о каких разносолах даже грезить не приходится.

В хорошую погоду пройтись десяток верст беда не большая. Получается даже что-то вроде маленькой прогулки. Одно удовольствие... Но осенью — в грязь, в темноту, в дождь! Бр-р! Представляете ли вы, очаровательная горожанка в собственном автомобиле, что такое наша деревенская распутица? Дороги наши, очень приличные и укатанные, при малейшем дожде превращаются в нечто невообразимое. Но если дождь, что называется, из ведра, и идет он несколько дней подряд, невообразимость превращается просто-таки в ничто, в ноль, ибо дорог фактически не существует вовсе, полнейшее бездорожье, месиво какое-то сплошное. Ни серединки сухой, ни краюшки. Сплошь водяная грязь, полуаршинные выбоины, наполненные грязно-молочного цвета бурдою, напоминающею по цвету и густоте корм для свиней.

И вот по такому беспутному пути приходится идти девять верст. И почти всегда во тьме кромешной, так как поезда проходят мимо нашей станции всегда ночью. На шаг перед собою вы ничего не увидите. Выбирать место посуше безнадежно: ничего не видно, да его и нет. Поэтому приходится двигаться наудалую, напролом. Надо ли пояснять, во что превращается путник при таких милых условиях передвижения? На нем нет сухого места. Пальто, брюки, пиджак, даже белье мож-

но выжимать. Ботинки превращаются в тесто. Подметки отстают. Вода вливается во все щели. С размаха нога проваливается в выбоину с шумом, напоминающим всплеск восьмифунтовой щуки. Холодная, липкая, грязная ванна за ванной. Ноги начинают стыть.

В таком виде являетесь на станцию, ждете час-другой поезда, садитесь в него, напоминая собою вынутого из воды тюленя. Пассажиры в страхе мечутся от вас, а вы, дрожа всем телом и не попадая зубом на зуб, едете в «дивном» настроении и наряде в столицу, куда и прибываете через семь часов в полубольном, в полупомешанном от кошмарной дороги и бессонной ночи состоянии. Получаете свой «минимум» и мгновенно же, с первым поездом несетесь назад, вступая в новую фазу ужаса, физического и морального страдания.

И вы еще спрашиваете, почему редко я езжу в город?! — почти возмущенно заключил мой знакомый свое повествование. Очаровательная барынька села поудобнее на софе, затянулась тонкой папиросой и, щуря глаза, спросила меня не без кокетства: «Воображаю, как бы вы чувствовали в его положении?»

Но я решительно переменил тему.

1925
Тойла

В ЛОДКЕ ПО РОССОНИ

Из окна моего кабинета сияет осенняя Нарова, раздольная и стремительная. Все более светлеет с каждым днем и, возможно, на днях пойдет «шорох», как называют здесь первые крупные льдинки, тщетно пытающиеся стать уже настоящим зимним льдом. Надо пользоваться последними погожими днями, солнечными, лазурно-небесными, дивно-студеными и веселяще-прозрачными, хочется — и это так безудержно! — сесть в легкую и устремляющуюся в дали лодку и плыть в ней по глубокой и по-осеннему сонной Россони, впадающей в Нарову как раз против моих выходивших на восток окон.

Мы берем бело-синие весла, мы спускаемся к пристаньке, садимся в бело-синюю нашу «Дрину», названную так в честь ни с одной речкой не сравнимой малахитовой босанской реки, и, переплыв Нарову, скользим по водам ее дочери, извилистой и живописно-бережной. Правый берег в соснах и елях, левый — в рощах и лугах. Безмолвие, безлюдье, почти ни одной «встречи». Упоительно грести в студеный, бодрящий день, когда сам одет легко, но тепло, когда на руках рукавички и когда ежевзмашно сознаешь, что плыть тебе не 10—15 минут, а часа четыре!

А вот уже и «Соловьиный остров» с его уютно интимными зарослями и густо-красной калиной у самой воды, и сразу за ним два соседствующие поселка: направо село Вейкюла, налево — деревня Саркуль. Знакомые места... Еще бы! Весь прошлый год мы провели в Саркуле, деревне небольшой, но прелестной. Она между Россонью и Финским заливом. Всего три четверти километра отделяют речную от морской воды.

Вот уже возникает заброшенное в соснах гористое Саркульское кладбище, рядом с ним вплотную,— три необхватных тополя перед домом приятельствующего со мною вдумчивого и ласкового сапожника Отто Денисовича, рядом вишневый сад «дяди Василия», девятидесятилетнего ветерана российского флота, вот резная часовенка — одним словом, вот он весь милый, радушный Саркуль, сегодня такой просолнечный и влекущий в себя. Мы сворачиваем в бухточку с узким и мелким проходом и пристаем к берегу, так много говорящему

душе... Причаливаем лодку, взбегаем на горку, и навстречу к нам выходит из избы в окно завидевший нас ее хозяин.

Грустные глаза его выражают искреннюю обрадованность, и нам это приятно, и это нас трогает: немудрено — свои ведь приехали, не чужие... «Светлый день»,— говорим мы ему, крепко и дружески пожимая руку. Смеясь и оживленно разговаривая, входим в избу с таким обвораживающим глаз видом на раздолье речное и луга противоположного берега, приветствуя его жену и бледную, тонкую и нервную Манечку. Впрочем, они и все бледные, члены этой семьи, какие-то утонченно-обреченные. Мы не были здесь больше недели, когда они, будучи на базаре в Нарва-Иезу, заходили к нам погреться и попить чайку, поэтому у нас столько новых тем, столько вопросов, столько впечатлений.

Незаметно бежит время среди живых, примитивных, далеких культуре и, следовательно, незлобивых и облагороженных людей в лучшем смысле этого понятия. Река чарует через окно, у которого меня поят чаем, и наконец я заставляю себя охотно и неохотно подняться: и здесь хорошо, и дальний путь влечет, такой знакомый и нагребленный, вечно что-то сулящий, редко в посулах обманывающий, такой интересный, молодой, новый!

Выплываем «на простор речной волны» и поднимаемся вновь все выше и выше, за противоречивые друг другу извивы, за мечтательные, зачарованные затоны и спирально-крутящиеся, неторопливо и как бы гадаючи, омуты. А солнце все выше, и воздух все мягче. «Старая» речка вливается в Россонь... Не завернуть ли в нее, заманивающую в Тихое озеро? До него всего полтора километра. Можно проплыть по узкой по ней, въехать в озеро после округлого поворота и вдоль нагорно-хвойного берега, «взяв» все озеро, пристать у гостеприимного хутора веселоглазого Оскара, с которым тоже не виделись «целую вечность» — больше месяца... Но нет, мы не свернем, пожалуй, сегодня туда,— прельстительнее плыть, думается, прямо: вдали забежевели уже отвесные песчаные берега Кагеля, все в лесах неприкосновенных, и они, эти лесистые, как бы необитаемые берега так прекрасны своей совершенно безлюдной красотой, что так и тянут к себе, так и влекут неотразимо, а потому «плыви, мой челн, по воле волн!..»

Река делает подкову, и вместе с нею делает подкову этот изумительный, весь какой-то заколдованный берег. Мы плывем совсем под ним: чтобы видеть его вершину, нужно резко откидывать голову. Взмахи весел... Сто? Двести? Может быть — тысяча?.. Мы причаливаем, карабкаемся, поминутно срываясь и утопая в оползающем песке, к вышестоящим соснам, и какой вид оттуда, какое очарование! Внизу, под нами, совсем маленькая опустошенная «Дрина»,— неужели в этой скорлупке приплыли мы сюда?

Посидим здесь, свесив ноги с обрыва, не будем никуда торопиться. Запечатлевайте, глаза, всю эту красоту: до весны вы ее не увидите, зимою она станет иною, ибо ее главная, основная прелесть в этой свободной, нескованной еще льдом, воде. Сколько раз мы бывали здесь каждое лето — ловили крупных подлещиков и окуней под песчаными оползнями, устраивали многолюдные, красоте и поэзии посвященные пикники, собирали в лесу этом белые грибы и горькушки, лакомились черникой и гоноболем, и вот не надоедают же эти места, не вызывают, как зачастую города, чувства безнадежности и смертельной скуки, чувства ужаса и отчаяния, мертвящего душу человеческую. Здесь все и всегда насыщено мечтою, благостью, верою в жизнь, добро и справедливость, во все то возвышенное и, увы, безвозвратно утерянное, что свойственно городам, преимущественно большим городам.

Вечная любовь, и вечная слава, и вечная жизнь благочестивой и мудрой бессловесной Природы, и да охранят ее Небеса от прикосновения с ней людей большого города. Пусть и впредь посещают ее, в особенности этот мой Кагель излюбленный, грибы и ягоды, птицы и рыбы, муравьи и стрекозы, сапожник Отто Денисович, почти столетний «дядя Василий», веселоглазый художник Оскар и я, скорбный и оскорбленный намечающимися путями взбесившегося человечества поэт, плоть от плоти и кровь от крови кагельской пичужки и деревенского сапожника!..

В ЯЛИКЕ ПО МОРЮ

Уже восемь лет я мечтал приобрести себе лодку. Мне как рыболову она была совершенно необходима и мне же как лирическому поэту, разумеется, не хватало на это средств. Поэтому полученные в дар от одного «искусствика» двадцать долларов я, отложив все остальные, весьма насущные, надобности, решил прежде всего осуществить на них одну из своих почти неосуществимых для прославленного поэта мечту — купить безотлагательно наидешевейший для рядового гражданина и наидорожайший для лирика ялик.

Попросив своего знакомого инженера-электротехника сопутствовать мне в поездке по покупке и выторговывании лодки — последнему поэты никак научиться не могут,— я выехал с ним рано утром в поезде на Нарву. Нарва от нашей пятая остановка, и поезд идет немногим более часа. До станции восемь верст, которые мы прошли, конечно, в видах экономии пешком.

Спутник мой не менее ярый рыболов, чем я сам, и покупка лодки весьма его заинтересовала. С вокзала мы прямым путем направились к пристани на реке Нарове. Кончался май. Деревья были в полном расцвете. Светило весенее солнце. У пристани, под крутым багровым обрывом, стоял под парами пароход «Павел», готовившийся к отходу в Гунгербург.

Две крепости — Ивангородская и Шведская — расположенные по обоим берегам реки одна против другой, взносили свои башни в синее весеннее небо. Красива старая Нарва! Темный общественный сад, висящий над рекой, по вечерам кишащий гуляющей публикой, днем был совершенно пуст, и, проходя по его аллеям, ведущим к пристани, мы встретили одного из моих знакомых, седоусого Ивана Ивановича Ч., прогуливающегося перед завтраком в небрежно накинутом на плечи плаще. На голове его была мягкая фетровая шляпа.

Мы сообщили ему о цели своей поездки, прося совета, где можно дешевле и лучше приобрести лодку. «Да тут же внизу у пристани,— воскликнул он оживленно.— Мой приятель как раз вчера поручил мне продать совершенно новую шлюпку. Он заказал ее для своих топей, ему прислали ее мужички с верховий, да он забра-

ковал ее: нашел слишком большой и плоской. Пойдем посмотрим».

На песчаном берегу дном вверх лежала желтая неуклюжая лодка. Мы попробовали ее приподнять,— ни с места. «Но ведь это целая баржа»,— сказал инженер неодобрительно. Я вполне согласился с ним. «Как хотите,— заметил Иван Иванович,— не неволю. Одно только могу сказать: лодка новая, крепкая, основательная. Да и цена сходная: 10 долларов». Но мы категорически отказались от этого «броненосца береговой обороны». Иван Иванович заторопился: «Пора в Русское собрание: адмиральский час часы в желудке показывают. Идем вместе?» — «Нет, мы сначала все устроим»,— отказались мы, и бывший малиновый стрелок Его Величества величественно зашагал в гору.

У пристани стояло яликов пятнадцать. Были они все, как братья родные: красно-бело-синие, в меру длинные, в меру узкие, нумерованные, с креслами на корме. Легкие лодочки, приятные для глаза.

— Вот один из таких и взять бы,— сказал я.— Что вы на это скажете?

— Идеальный тип лодки,— согласился инженер.

Худенькая барышня, сидя в одном из яликов, читала книжку.

— Продаете? — спросили мы у нее.

— Нет,— улыбнулась она,— напрокат даем.

— А вы продайте,— уговаривал ее инженер,— у вас их много ведь, а нам и одной хватит.

— Вот папа идет, поговорите с ним,— указала барышня на подходившего картузника.

— Лодочку хотца? На часок или на день? — заулыбался он издали.

— В собственность,— пояснили мы.

— Не продажные они у меня, господа хорошие, для себя надобны.

— Уступите одну, куда вам такую уйму?

— Одну, говорите? А и впрямь — одну, куда ни шло, пожалуй уступлю.

— Цена?

— Не дороже денег. Давайте 10 «ковриков».

— Хотите пять?

Сторговались за семь. Ковриками зовут здесь эстонские тысячи старого выпуска. Семь ковриков равняется двадцати долларам, немногим меньше — на доллар.

— Который же номер желаете? Выбирайте любой.

— Да давай поновее,— попросили мы.

— Тогда берите тринадцатый,— посоветовал купец: вторую только весну празднует.

Тщательно осмотрев все лодки, мы убедились сами, что № 13 во всех отношениях лучше других. Решили тотчас же, не теряя времени, пуститься в обратный путь — двенадцать верст по реке вниз, да по морю около сорока. Узнав о наших планах, купец с дочерью пришли в ужас.

— На ялике по морю? Да вы шутить изволите.

— И не думаем,— засмеялись мы, рассаживаясь в лодке.

— Храни вас Бог,— вхдохнул старик, крепко пожимая нам руки. Барышня пожертвовала нам жестянку для вычерпывания воды.

— На всякий случай, неровен час,— благожелательно шепнула она.

— Всего доброго! — закричал инженер, взявшись за весла. Я сел к рулю, и мы быстро поплыли. Мы выехали на середину широкой реки, и теченье, подхватив нас, понесло стремглав к морю. Вскоре Нарва осталась за поворотом реки. Виднелись еще долго крепостные башни и остроконечные шпили кирок. Грести почти не приходилось: сама река несла нас. Приблизительно через час на правом берегу обозначилась Смолка, излюбленное дачное место наровчан. Песчаный обрывистый берег. Сосны. Среди них дачки. Ничего особенного.

Перед нами лежал большой остров. Мы неслись левым проливом. Из-за поворота показался «Павел», шедший уже обратным рейсом из Гунгербурга. В четыре часа дня мы подплыли к устью. Синело вдали море. Северный ветер задул нам в лицо. В Гунгербурге мы причалили к берегу, и мой спутник пошел в таможню за пропуском в море. Минут через десять все формальности были закончены, и он вернулся с пропуском и кульком с едой.

— Придется обождать, когда стихнет или переменится ветер,— заявил он, подойдя к лодке.— Северный будет прибивать нас к берегу.

— Поедемте пока в Россонь,— предложил я, и мы направили нашу лодку в приток Наровы, впадающий в нее напротив Гунгербурга.

Выплыв в Россонь, мы остановились у подветренного берега и стали приготовлять захваченные из дома

удочки. До шести часов проловили мы окуней, и к этому времени северный ветер сменился восточным, попутным нам. Улов был приличным: штук 12 средних окуней лежало под кормовым креслом. Мы выехали в море. Так как берег между Гунгербургом и нашей рыбачьей деревушкой Тойлой имеет вид вдавленной в сушу подковы, мы для сокращения пути взяли курс напрямик и, значит, долгое время отдалялись от берега. Вскоре мы были уже от него верстах в семи-восьми.

Море волновалось. Барашки кувыркались вокруг нас. Ялик качало немилосердно. Из пальто инженера и из наших удилищ мы соорудили подобье паруса, и по очереди, ровно по часу, гребли для усиления хода лодки. Вот уже Гунгербургский белый маяк остался далеко позади нас, вот исчезли из вида дачи Шмецке и Мерехольд. Самая высокая точка еле видного дальнего берега влекла нас к себе, ибо, знали мы, она была гористою рощею нашей Тойлы.

До самого Силламяе — половина пути — продолжала трепать наше суденышко качка. Около девяти часов белого майского вечера стал стихать ветер, и вторую половину пути мы плыли уже по лимонному зеркалу стихшего Финского залива. Очаровательною была поездка эта, и наш № 13, мысленно уже названный мною «Ингрид», быстро подвигался вперед. Дальняя роща постепенно все приближалась и росла, но только спустя шесть часов по отплытии из Гунгербурга мы закончили свое путешествие и вытащили лодку на камни Тойлы. В первом часу ночи было это, когда утренняя заря — Койт — целуется с вечерней — Эмарик, когда рыбаки собираются в море, и бледные, весною взволнованные лица приморских девушек соперничают в белизне с вешней белой ночью.

1927
Тойла

БЛЕСТКИ

(АФОРИЗМЫ, СОФИЗМЫ, ПАРАДОКСЫ)

1

Все можно оправдать, все простить. Нельзя оправдать лишь того, лишь того нельзя простить, кто не понимает, что все можно оправдать и все простить.

2

Я люблю ее оттого, что ее трудно любить: она не дается любить.

3

Мое сердце подобно новому перу, твое — пеналу. Я кладу свое сердце в твое. От тебя зависит поставить пенал в сухое или сырое место. Если перо заржавеет, повинен в этом пенал.

4

Самое обыкновенное биение любимой женщины прекраснее окаменелости Венеры Милосской.

5

Самый идеальный вид любви — любовь без взаимности: такая любовь бескорыстна и истинно мечтательна, ибо нет в ней удовлетворенности.

6

Женщина, рассказывающая посторонним о своей интимной жизни, способна выйти из дома без юбки.

7

Единственное мое убеждение — вовсе не иметь убеждений.

8

Неудачные последователи великого художника — злейшие враги его.

9

Если вы желаете меня оскорбить, подражайте мне.

10

Для того, чтобы хвалить меня, нужно быть или очень искренним, или равным мне, или трусом.

11

Плачьте слезами раскаянья: в них захлебнется Грех.

12

Открытый эгоизм есть истина... Тайный эгоизм — страшный порок.

13

Открытое преступление — редкая в наше время искренность.

14

Ничего никому не нужно, кроме физиологических отправлений. Искусство, наука, «идейность» — или поза, или выгода.

15

Не ждать от людей ничего хорошего — это значит не удивляться, получая от них гадости.

16

Внушать человеку свои мнения — это то же, что обучать попугая или метать бисер перед свиньями.

17

Спор есть спорт: развлечение и только. Но не для всякого: попробуйте-ка страдающего астмой заставить упражняться в беге!

18

Ударить любимую женщину — самоубийство. Просто женщину — самооплевание.

19

Считаться с человеком — не достаточно его презирать.

20

Ударить человека — считать его равным себе. Не оттого ли я никого не бил?..

21

Я рад только тем, кто рады мне.

22

Если хочешь сохранить с человеком добрые отношения, приписывай ему то, что ему не свойственно.

23

Сознательная проституция — мудрое разуверение в любви.

24

Корыстная проституция — ассенизационный обоз.

25

Проституция из-за нужды — белая голубка с подрезанными крыльями.

26

Женщина, отдающаяся во имя существования, честнее так называемой «честной женщины»: она получает от жизни больше, но и дороже расплачивается.

27

Нет ничего бесчестнее — сохраняя вынужденную честность тяготиться ею.

28

Женщина, отдающаяся из-за нужды и упорно своих обладателей презирающая, обладает вкусом к жизни и содержит в себе зачатки истинной любви.

29

Женщина без прошлого — рыба без соли.

30

Человек, мечтающий весною об осени, а осенью — о весне, человек небезнадежный.

31

Я полюбил бы ее, если бы не боялся, что она обо мне дурно подумает, если я ее полюблю.

32

Красавица в плохом платье — это «Страдивариус» без футляра. Однако «Страдивариус» имеет смысл именно без футляра. Но чтобы его сохранить, футляр обязателен.

33

Женщина, презирающая людей, но любящая кокетничать с мужчинами, упивается воспоминанием о своем исковерканном прошлом и мстит, подавая несбыточную надежду.

34

Женщина, побеждающая в себе потребность изменить, невеста богов!

35

Женщина, не думающая вовсе об измене, или очень редкая, или очень тупая женщина.

1915
Тойла

36

Бесцельно отдаваться каждому, не беря его, не грех, а наивысшая пакость.

37

Идеальная грядущая эпоха человечества — отмена законов за их ненадобностью.

38

Надобность законов — доказательство низкого культурного уровня человечества...

39

Утопия — счастливейшая страна мира: въезд в нее пошлякам строго воспрещен.

40

Желание быть оригинальным, не имея данных, самый гнусный вид пошлости.

41

Истинная оригинальность — отрепетированная простота.

42

Русская критика плохо воспитана: мною существует и меня же бранит!

43

Как жаль, что я лишен возможности хотя бы один день накормить на свой счет критиков: эти неудачники, наполнив свои вечно голодные желудки, принялись бы ругать меня еще больше!

44

Наши критики и факельщики похоронных процессий — это почти тождественные понятия: и те и другие зарабатывают при похоронах.

45

У всякого великого художника есть свои шуты: это — критики.

46

Наши критики — это никому не подсудные разбойники.

47

Мелкие «поэтики» — моль на шубе великого поэта.

48

Слушая или читая опыты начинающих писателей, я ощущаю чувство неловкости перед собой, ибо я делаюсь сообщником в явно непристойном деянии...

49

Страна, созидающая Распутиных, плохо следящая за собой страна.

50

Если вы скажете при мне: «Распутин», я укажу вам на непристойность вашего поведения в моем присутствии.

51

Распутин! О, это из лексикона ломовых извозчиков!..

52

Ходить в чести могут только глубоко разуверившиеся в себе люди.

53

Люди, уверяющие меня, что я похож на Оскара Уайльда, говорят мне дерзость: я очень люблю Уайльда, но с меня достаточно быть похожим на себя.

54

Если вы в состоянии пережить любимого, остерегайтесь говорить о любви: вы не были ее достойны.

55

Не то в ней дорого, что воплощено в нее, а то, что сердце в ней увидало мое.

56

Если вы спасаете любимого, как вы о себе заботитесь, как любите себя!

57

Человек, привыкший всегда ссылаться на то, что «так принято», не понимает того, как это выражение им глупо отдано...

58

Если вы позволили читать мне нравоучения, это значит — вы стали тяготиться моим обществом, и самое для вас рациональное — избегать встречаться со мною.

59

Относясь к другому покровительственно, мы любуемся своим преимуществом.

60

Друзья существуют для того, чтобы смотря на них или их слушая, в смущении пытаться перед собою как-нибудь их оправдать или прикрасить.

61

Отказать себе в общении с людьми может или совсем невежественный или особо культурный человек.

62

Любезным называется человек, не говорящий в глаза правду.

63

Глава Екатерины Великой — великая глава русской истории.

64

Заступаться за слабого имеет право тот, кто сильнее неприятеля: защита озлобляет еще больше, и если защитник будет поражен, слабый пострадает вдвое.

65

Просто женщины с прошлым очаровательны, но женщины-художницы с прошлым — плачевны.

66

Часто люди сходят с ума в тот момент, когда они прозревают тайну мироздания. Этим они лишаются возможности ее видеть.

67

Человечество лишено знания миростроения, дабы оно не контролировало Творца.

68

Лучше подчиниться любимому негодяю, чем ненавистному или безразличному образцовому человеку.

69

Подчиняться любимому — удовольствие.

70

Упрямство — синоним безнадежности.

71

Всеоправдание ни к чему не обязывает.

72

Долг оплачивается при избытке.

73

Нужда — честно устроенная жизнь, согласованная с общественным мнением.

74

Мы нуждаемся только оттого, что не очень желаем не нуждаться.

75

Государство, основанное на действительных принципах свободы, непобедимо.

76

Молодая крапива полезна. Старая — вредна, за исключением порки.

77

Истинная откровенность — привилегия людей, не дорожащих ничьим мнением.

78

Человек, во всем легко себе отказывающий, мудр, но полужив.

79

Женщина, отдающаяся по любви в первый раз, раньше уже отдававшаяся в силу обстоятельств, девственна.

80

Женщина общества, не подающая руки проституткам, сама предрасположена к проституции.

81

Ревнует или тот, кто небольшого о себе мнения, или же тот, кто осознает свое превосходство, именно в силу этого ждет каверз со стороны завистников.

82

Женщина, желающая сберечь для себя мужчину, не должна быть одинаковой.

83

Половые эксцессы — изысканная инструментовка симфонии «Чувственность».

84

Чистейшие традиции старинных фамилий часто приводят к грязнейшему прекращению фамилий этих.

85

Старуха, оставшаяся девой из боязни прогадать, омерзительна своей осторожностью.

1915. Лето
Тойла

86

Русские издатели украли у меня все, кроме моего имени.

87

Плохой характер — нож в горле автора.

88

Если поэт-миллионер жаден, он всегда нищ талантом.

89

Красный цвет — цвет свободы и произвола. В первом случае — кровь угнетателей, во втором — кровь угнетенных.

90

Люди, делающие из книг костры, вовсе не люди.

91

Есть, несомненно есть две породы людей, и когда-нибудь наука подтвердит этот взгляд.

92

Человек, поднимающий руку на Искусство, должен быть причислен к преступникам.

93

Дантес, убивший Пушкина, убил русскую мысль пушкинской эпохи: он не дал ей дозреть.

94

Я знал одну учительницу-поэтессу, которая, гостя у меня в доме, запиралась от меня по ночам. Надо ли подсказывать, что она была бездарна, стара и уродлива.

95

Россия и Расея — это большая разница. Это две страны, постоянно враждующие между собой.

96

Лунные чары — вещь очень хорошая, но не в комиссариате народного просвещения.

97

Раньше были «онѣ» и «они». При равноправии убита женственность.

98

Как все меняется! — раньше касторовое масло употреблялось для «изгнания» пищи, теперь оно способствует «вкушению»...

99

Как возмутительна иногда аллитерация! Например: «Россия выросла росомахой...»

100

Изысканность — это то, что мы потеряли навеки 29 июля 1914 года!.. Вернее: 25 октября 1917.

1919
Тойла



ОЧЕРКИ ВОСПОМИНАНИЯ







МОЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С БУНИНЫМ

10 мая 1938 г. я поехал из Саркуля в Таллинн на лекцию Бунина, совершавшего поездку по государствам Прибалтики. В России и в эмиграции я лично с ним никогда не встречался, всегда ценя его как беллетриста, а еще больше как поэта. В Тапа наш поезд соединялся с поездом из Тарту. Закусив в буфете, я вышел на перрон. В это время подошел поезд из Тарту. Из вагона второго класса вышел среднего роста худощавый господин, бритый, с большой проседью, в серой кепке и коротком синем пальто с поднятым воротником: был серенький прохладный день с перемежающимся дождем. Я сразу узнал Бунина, но еще медлил к нему подойти, убеждаясь. Путник, заложив руки в карманы, быстро прошел мимо меня, в свою очередь внимательно в меня вглядываясь, сделал несколько шагов и круто повернулся. Я приподнял фуражку:

— Иван Алексеевич?

— Никто иной как Игорь! — было мне ответом, из которого я усвоил, что мои познания в «Истории новой русской литературы» были несколько полнее.

— Выглядите молодцом,— оживленно продолжал он, постукивая пальцем по вагону (очевидно, чтобы не сглазить),— загорелый, стройный, настоящий моряк!

— Однако жизнь не из легких...

— Во всяком случае во много раз легче, чем в Париже. И одет лучше наших, и в глазах — море и ветер.

— Но чтобы и в природе жить, нужно иногда в город ездить и по квартирам книги своим друзьям навязывать: в магазине, знаете ли, не очень-то покупают.

— Еще и еще раз молодец! Хвалю за энергию. В наше время так и надо, кто жить хочет. Однако, куда вы едете?

— «На вас». Значит, в одном направлении с вами.

— Ну идем тогда в вагон.

— Позвольте: вы во втором, я — в третьем.

— Тогда пройдем в вагон-ресторан: нейтрально.

Прошли. Сели. Поезд двинулся.

— Что пить будем? Вино? Пиво?

— Вино здесь дорого, да и не хочется сейчас, пива не люблю.

— Ну, что же тогда?

— Чаю.

— Чаю?! Северянин?! Ха-ха-ха! Однако...

Заказали чай. Подали.

Бунин официанту:

— Я просил чаю, а вы воду даете. В Петербурге говорили про такое: «Кронштадт виден».

Официант:

— Это чай.

Бунин:

— А по-моему — вода. Дайте крепче.

— Встречаете Бальмонта? — спрашиваю я Бунина.— Поправился?

— Поправился. Болезнь его изменила: раньше очень многоречив был, теперь почти все время молчит. Изредка реплику вставляет.

— Это, может быть, иногда и лучше.

— Возможно.

Здесь я пропущу целый ряд более интимных вопросов и таких же ответов на них.

— Пишите стихи? Читаете? — спрашиваю я.

— Почти не пишу. «Жизнь Арсеньева» кончаю. А что значит «читаете»? Свои публично или чужие про себя?

— Свои публично.

— Что вы, батенька! Смешно, право. Кому? Да и годы не те.

— Рады, что опять на севере?

— Терпеть его никогда не мог. Взгляните в окно: тошно делается. Дождь, холод. Все серо, скучно.

— В свое время любили Орловскую губернию, Оку...

— Любил в стихах. Издали. Всегда к югу тянулся. В Одессе жил. Путешествовал.

— Поедемте после завтрашней вашей лекции ко мне в Саркуль, на Россонь. Две реки, озеро, море, леса. У меня лодочка своя — «Дрина». Понравится.

— Устал ужасно от своего турнэ. Везде чествования, люди. Домой хочу — во Францию. Прочту в Таллинне и по домам.

Публика в вагоне нас узнала. Шушукались. Стало неприятно.

— Узнаю́т, Иван Алексеевич.

— Вижу. Ну и Бог с ними.

— Подъезжаем. Итак, до завтра. Пойду в свой пролетарский вагон.

— Почему? Вместе выйдем из этого самого. Впрочем, у меня вещи. Хотя их и потом взять можно. Сейчас встречать будут.

— Оттого-то я и испаряюсь. Не хочу быть «сбока припека». Привык, чтобы меня самого встречали. Конечно, в новых краях...

— Ха-ха! Понимаю. Ну, как хотите. Заходите в отель.

— Нет, уж я лучше прямо на лекцию, а потом на банкете встретимся.

<*1939*>

ВИЗИТ ПОЛПРЕДА

Лето 1930 года в Тойле. Солнечный полдень. Жена со знакомой барышней, гостящей у нас, гуляют в парке. Не любя солнца и жары, сижу дома в одиночестве, перечитывая Лескова. На закате собираюсь по обыкновению ловить рыбу. Окна нашей квартиры выходят в сад. У калитки (слышу, но не вижу) останавливается автомобиль. Скрипит калитка. Шаги по дорожке. В дверях — они распахнуты — высокого роста блондин в сером костюме.

— Разрешите войти?

— Пожалуйста.

Представляется. Известный эстонский государственный и общественный деятель.

— Я, собственно, не по своей инициативе. В автомобиле мой приятель полпред Раскольников с женой. Мы едем из Таллинна в Нарва-Йыезу. По дороге заехали к вам: они хотят с вами познакомиться. Но вы — эмигрант или беженец, я не знаю. Поэтому разрешите узнать, как вы смотрите на это знакомство? Удобно ли оно для вас?

— Прежде всего, я не эмигрант и не беженец. Я просто дачник. С 1918 года. В 1921 году принял эстонское гражданство. Всегда был вне политики. Рад каждому, кто рад мне. Передайте, прошу вас.

Спутник полпреда направился к автомобилю. Я остался ждать. Скоро все трое приблизились к крыльцу. Очень элегантная и миловидная молодая женщина с улыбкой, давшей мне понять, что творчество мое было ей знакомо и ранее сегодняшнего дня, протянула мне руку. Улыбкой такого же порядка приветствовал меня ее муж. Сели.

— Не могли себе отказать в удовольствии заехать к вам.

— В таком случае могли бы зайти ко мне без предупреждения,— рассмеялся я.

— Бедный поэт! Воображаю, как вы разочарованы в современных женщинах. Читала в «Сегодня» ваше «Годами девочка, а как уже черства...»

— Зато природа не изменяет. Если, конечно, люди от нее подальше, то есть не успели ее испортить.

— Что вы теперь пишете? — спросил Раскольников.

— Большей частью пацифистские стихи.
— А помните свои строки:

Когда отечество в огне
И нет воды, лей кровь, как воду...?

— Это написано в августе 1914 года, но уже в сентябре я опомнился и написал:

Ни капли крови и ничьей...

— Ваши ближайшие планы?
— В октябре еду в Югославию и в Болгарию читать стихи, созерцать южную природу.
— А в СССР не хотели бы проехаться?
— Я слишком привык к здешним лесам и озерам...
— Однако же, за границу едете?
— Там все новое, неизведанное. Да и что я стал бы читать теперь в России? Там, кажется, лирика не в чести, а политикой я не занимаюсь. У меня даже стихи есть:

Долой политику — сатанье наважденье!

— Лирика всегда и везде нужна. И в СССР.
Я показал посетителям свой синий кабинетик. Они внимательно разбирали надписи на портретах, подаренных мне некоторыми знаменитостями. Минут через 40 собрались ехать.
— Хотелось бы еще парк и виллу осмотреть. Не прокатитесь ли с нами?
— С удовольствием.
В парке встретили жену со знакомой барышней. Вышли из автомобиля, познакомились. Спустились к Пюхаеги, поднялись на противоположный берег. Машина тихо следовала сзади. Я попросил управляющего дворцом показать все его сорок комнат. Все было очень запущено, но природа понравилась. Гуляя по парку, все время говорили о стихах, музыке, живописи.
Уезжая, Раскольников подарил мне едва начатую коробку русских папирос — совсем прежние! — «Нева».
Кстати, пока полпред и его спутники сидели у меня, одна барышня беженка, как она сама мне впоследствии рассказывала, увидев советскую машину у нашего дома, побежала домой за белой краской и затем намалевала на автомобиле крест и корону...

<1939>

ГРОЗА В ГЕРЦЕГОВИНЕ

Отсияло лето 1930 года, веселое и журчливое, уехала в Таллинн моя неизменная спутница-форелистка, готовая ловить «алокрапчатых стрелок» и под проливным дождем, и снова Тойла, спрятав до весны свое нарядное зеленое платье с сиреневой отделкой, облачилась в затрапезную желтую кофту осени...

Прихрамывая, приближался октябрь. В его седой улыбке таилась безнадежность.

— На юг? — спросил я Ирис. Она ответила утвердительно. В эту осень мы решили поехать в Югославию. Билеты купили до Белграда. Мы там не знали решительно никого. Одно нам было известно: к русским писателям там относятся бережно и радушно. Незадолго перед этим в Белграде был съезд зарубежных писателей. Король Александр принимал их сердечно.

В Риге мы пробыли дня два. Проездом.

— Не хотите ли зайти к Финку? — осведомился у меня знакомый доктор.

— Как хорошо, что Вы мне напомнили об этом: я уже давным-давно хотел с ним соприкоснуться. Я верю в него, его не зная: интуицией.

Но доктор слегка охладил мой порыв:

— Должен, однако, вас предупредить, что он отнюдь не со всеми «потусторонне» разговаривает. Он избегает подобных встреч, но мы все же попробуем. Пойдем со мной вместе.

На наш звонок дверь открыл нам сам ясновидящий.

— В настроении ли Вы сегодня побеседовать с моим знакомым? — спросил доктор, указывая на меня и не называя меня по моей просьбе.

— Что нужно ему от меня? — с каким-то недружелюбием в лице и в голосе воскликнул прорицатель: — Он сам не хуже меня может предсказывать людям их судьбу.— Затем он стал отплевываться:

— Фу, какими мерзкими людьми окружены Вы! Гоните их прочь от себя поскорее... Впрочем, раздевайтесь и входите,— гораздо уже любезнее сказал он.

— Прежде всего меня интересует, знаете ли Вы, кто я? — спросил я у него, прямо смотря ему в глаза.

— Во всяком случае, человек искусства. Может быть, художник, композитор, артист.

— Куда мы едем? — задал я ему второй вопрос.

— Вы едете на юг. К дальнему теплому морю. Апельсины, пальмы...

(Тут я должен заметить, что мы южнее Белграда не собирались ехать. От него же до Адриатики тридцать шесть часов езды.)

— Благоприятна ли будет наша поездка?

— О, да! Да! Много успеха, денег, славы! Постойте, постойте... О! Я вижу крушение поезда... Стоны, кровь... Трупы...

Он нервно, очень возбужденный, прикрыл рукою глаза. И вдруг просветлел вновь:

— Нет. Вас это не коснулось. Вы — живы. Даже не пострадали. Ясно вижу. Я вижу еще большой дом. Замок как будто. Тоже на юге. Вы вернетесь оттуда и снова туда поедете. В какой красивой местности находится этот замок! Горы, цветы, вода.

Он заметно входил в транс. Я почувствовал прилив вдохновения: волосы шевельнулись на голове, по спине пробежал знакомый холодок. У нас создавался редкостный контакт.

— Первый человек, которого вы встретите на юге, будет носить имя Алексей. Запомните это. Второй, которого вы увидите, Александр. Но только остерегайтесь рыжих: у Вас нет против них противоядия. Берегитесь!

Вдруг он взглянул на мой правый бок.

— Болит? Ничего. Обойдется без операции. (Замечу в скобках, что за два месяца перед этим знакомые врачи советовали мне оперировать слепую кишку.)

Во время нашего разговора Ирис, почти не мигая и, видимо, смутно взволнованная, смотрела на Финка. И внезапно он обратился к ней:

— У Вас слабые глаза? Об очках думаете? Рано, рано. Еще не настало время. (А врачи только что перед этим настаивали на очках! Вот уже десять лет прошло, а она и теперь с ними не познакомилась!)

— Все спорите с Вашим другом? — продолжал он, смотря на нее: — Все разногласия? Осуждаете его за многое? Подумываете,— тут он взглянул и на меня,— о расставании? Бросьте, не советую. Счастье отвернется от каждого. Люди вы разные, но везет вам до тех пор, пока вы вместе. Бойтесь лошадей,— обратился он уже к одной Ирис. И устало смолк.

Тогда я представился ему, крепко пожал руку и прочел с исключительным подъемом — в благодарность, каждому слову его веря,— «Весенний день».

Финк захотел снять нас и сделал восемь разных снимков — высокохудожественных, приятно-схожих. Просто необыкновенно!

В Белграде первый человек, с которым мы через три-четыре дня познакомились, оказался сотрудником «Нового времени» *Алексеем* Ивановичем Ксюниным, второй — председателем державной комиссии по делам русских эмигрантов, ректором университета и воспитателем престолонаследника Петра, академиком *Александром* Ивановичем Беличем.

Уже из этого одного видно, что два предсказания сбылись в первые же дни.

Прием, оказанный мне в Белграде, был исключительным, мы пробыли в Югославии около трех месяцев. Я давал вечера стихов в громадном зале университета, читал в Русском научном институте лекции о Фофанове и Сологубе, получил бесплатный билет первого класса по всей стране, был командирован Державной комиссией в русские кадетские корпуса и женские институты для чтения молодежи своих стихов, очень выгодно издал свои книги и, наконец, посетив около десятка городов, решил, пользуясь билетом, поехать взглянуть на Адриатику, куда мы и выехали в средних числах января 1931 года.

В Белграде было два градуса мороза, дул пронзительный, леденящий дыхание ветер. К утру (выехав в 10 часов вечера) мы ехали уже по гористой, живописной Боснии, несколько часов подряд долиной Дрины, мелькали бесчисленные тоннели и мосты, поезд взбирался все выше и выше, и, наконец, почти уже на закате, прибыли в нагорное Сараево, где мороз доходил уже до двенадцати градусов. Дав в этом красочном и историческом городе вечер стихов и завязав интересные знакомства, на другой день к вечеру мы пустились в дальнейший путь — на Дубровник (Рагузу), куда и попали к полудню следующего дня. Ночью мы проехали Герцеговину, унылую и каменисто-хаотическую. Вдруг из окон вагона перед нами заизумрудило море, поезд уступами стал спускаться к нему, все быстрее, все ниже, наконец он остановился, мы вышли из вагона,— и какой воздух! Какая теплота! Какой восторг! Солнце ярко сияло, небо — сплошная синь, пальмы, агавы, апельсины, мимоза, роза, глицинии! Все это произошло так внезапно, что буквально нас потрясло. Итак, мы были в Далмации, обворожительной

и почти неземной. О ее воздухе ничего нельзя сказать словами: его нужно почувствовать, его нужно вдыхать самому, чтобы иметь о нем представление. Нигде и никогда, ни до, ни после *такого* воздуха я уже не встречал.

В одном из своих стихотворений я назвал его «дыханьем Божества», в другом сказал, что «на Бога воздух был похож» *. Ничего более точного я не мог придумать.

На дебаркадере вокзала к нам подошел господин среднего роста, очень похожий на Наполеона, и представился нам:

— Полковник ген<ерального> шт<аба> А. В. Сливинский. Узнал из газет, что сегодня утром Вы приезжаете в Дубровник, счел своим долгом Вас и Вашу спутницу встретить и просить оказать мне и моей жене честь остановиться у нас в доме. Мы живем по правому берегу моря в трех километрах отсюда. Моя машина — в Вашем распоряжении.

Мы, конечно, с удовольствием приняли его приглашение. Автомобиль быстро понесся по дивно шоссированной дороге на его дачу «Флора мира».

Мария Андреевна, его жена, встречала нас на белом открытом балконе. Апельсины и нэспали вплотную приникали к нему. Мы пили кофе в одних костюмах, было двадцать два градуса тепла. Адриатика (или по-местному Ядран) веяла на нас своим воздухом — Богом. Весь покрытый лесами остров Локрум темно синел как раз против дачи. Вдали угадывались берега Италии около Бриндизи. Даже кто не родился поэтом, можно было им стать!..

Вскоре к кофе спустился из своей комнаты во втором этаже единственный гость этой симпатичной четы, живший у них почти всю зиму,— б<ывший> член Госуд<арственной> думы, обаятельный собеседник, Василий Витальевич Шульгин.

Прожив несколько дней в Дубровнике и тщательно с ним ознакомившись, дав вечер стихов в городе, где когда-то блистала загадочная и приманочная соперница Екатерины Великой — Dame d'Azow (мы даже осмотрели ее полуразрушенное палаццо), я говорю, дав

---

* «Это не веянье воздуха, а дыханье божества.
В дни неземные, надземные Божеского рождества».
Дубровник (Рагуза), вилла «Флора мира», 1931, 24 дек.

вечер стихов, среди которых я с особенным настроением прочел стихи о ней самой, мы, развлекаемые всячески нашими любезными хозяевами, однажды утром сели в открытую машину и помчались вдоль Адриатического моря через Ерцегнови и Каттаро, туда, за Ловчен, в занесенную снегами и уютную Черногорию — в Цетинье.

Перевал через Ловчен навсегда останется в моей памяти: двадцать восемь зигзагов каждый километр длиною, 2.800 фут. над уровнем моря. Сверху Каттаро казалось нам игрушечным городком, церкви были не более спичечного коробка! Внизу тропическая природа, на вершине — снег и десятиградусный мороз. На обратном пути на одном из зигзагов мы едва не погибли. Южное солнце склонялось к западу, разогретые им снега стали вновь застывать, образуя гололедицу. Задние колеса автомобиля занесло к самому обрыву. Сливинский мгновенно, в последнюю минуту остановил мотор. Воцарилась зловещая тишина: казалось, мы обречены.

— Не шевелитесь,— тихо и повелительно сказал он.

— Саша, опасно? очень? — успела шепнуть его жена.

— Попробую,— беззвучно прозвучал его голос.

Рискованным рывком машины Александр Владимирович даровал себе и всем нам жизнь!..

Между прочим, характерная черта: за завтраком в Цетинье, когда мы все выпили по несколько стаканов вина, наш «возница» наотрез от него отказался.

— Слишком ответственный путь,— заметил он. И, может быть, его мудрое воздержание спасло нас.

Наконец мы собрались ехать обратно в Белград, чтобы оттуда, заехав на один день в Люблянy (Лейбах), где назначен был мой вечер, направиться через Инсбрук и Швейцарию в Париж.

На вокзале в Дубровнике собрались все наши спутники по прекрасной и такой жуткой поездке в Черногорию — чета Сливинских и Шульгин. Поезд отошел от станции в одиннадцать часов вечера. Все купе утопало в цветах заботливостью наших друзей. Кстати: в поезде было два вагона первого класса — около багажного и в конце. Я попробовал было войти, конечно, в последний, но там была публика, мне же хотелось, как всегда в таких случаях, отъединения.

Волей-неволей пришлось занять купе в головном вагоне. Все остальные купе были пусты. Только в одном из них сидел немец-турист. Вскоре после отхода поезда пролилась ослепительная и звонкая южная гроза. Беспрерывные молнии были похожи на лиловые причудливые росчерки ярко-индивидуальных автографов. Горы гремели вдохновенно и угрожающе. В купе было четыре выдвигающихся кресла, образующих два дивана. Мы приготовились спать. Я лег у правого окна ногами к паровозу, Ирис — у левого головою к нему. Разговаривая и восторгаясь лучезарящимся и грохочущим «небесным водопадом», мы незаметно уснули.

...Под железно-каменный грохот наш вагон с креном девяносто градусов,— в длину,— летел в бездну. Ирис падала головою вниз, я — ногами. В душе — чувство смерти. Страха,— я это утверждаю,— не было. Было, скорее, чувство обреченности. Возможно, мы просто не успели испугаться: падение продолжалось несколько секунд. Вагон внезапно во что-то уперся. Меня треснуло головою о стенку. Удар был смягчен бархатной обивкой. Все же синяк получился изрядный. Ирис никак не пострадала. Добавлю еще один штрих: во время падения между нами,— это незабвенно,— произошел следующий диалог:

— Кажется, гибнем?

— По всей вероятности,— спокойно отвечала она. Когда вагон прекратил падение, и чемоданы очутились где попало, к счастью, не задев нас, Ирис, сидя где-то на двери или стенке вагона, может быть, на спинке кресла,— в точности не помню,— вынула из сумочки зеркало и туалетные принадлежности и стала приводить себя, как бы ничего не случилось, в порядок.

— Вы с ума сошли,— вспылил я.— Какой ерундой Вы занимаетесь! — Ее хладнокровие граничило с бесчувственностью...

Мы стали карабкаться вверх по вагону, напирая снизу на двери каждого купе в отдельности, скользя по линолеуму и поминутно скатываясь вниз, таща за собой несессеры и чемоданы.

С трудом выбравшись на верхнюю площадку, стекло двери которой было разбито, я высунулся из него. Гроза стихла. Непроницаемая тьма. Снизу доносились голоса. Там пылали факелы.

— Други, добейте меня! — раздирающим душу голосом стенал смертельно изувеченный машинист...

Тщетно пробовали мы раскрыть дверь, ютясь на

площадке: она не поддавалась нашим усилиям. Наконец мимо нас спускавшимся к паровозу кондуктором мы были через разбитые двери извлечены наружу и стали в кромешной тьме карабкаться по скользкому откосу к полотну. Часть чемоданов осталась внизу около вагона, и за ними пришлось послать, щедро его одарив динарами, какого-то албанца. Весь состав поезда, оказалось, стоял на рельсах. Свернулись вниз только паровоз, багажный и наш вагоны... Катастрофа произошла из-за грозы: громадный осколок скалы, подмытый ливнем, упал на рельсы перед проходом поезда. Путь в этом месте чрезвычайно изгибист: машинист из-за уступа не мог издали заметить опасность, паровоз налетел на осколок, подскочил,— что называется на дыбы встал,— и ринулся вниз в речку Неретву, мелкую и порожистую. Багажный вагон раздавил его и частью сам себя в щепы, наш же уперся в них и, следовательно, удар уже был отчасти смягчен. Все это произошло между станциями Мостар и Яблоница. Через час из Яблоницы был подан вспомогательный поезд, и все пассажиры, перелезши через злополучный осколок, разместились в вагонах. Немец-турист оказался между ними. Я не знаю, каким образом выбрался он из вагона. С большим опозданием прибыли мы в Сараево, где были встречены нашими знакомыми, обеспокоенными за нас. Они уговорили нас сделать остановку и поехать к ним отдохнуть.

Рождество 1931 года судьба предназначила нам провести снова на благословенных берегах зеленой Адриатики. Мы снова жили в Дубровнике у Сливинских, снова наслаждались красотами Далмации, снова упивались ее животворящим воздухом и таким же розовым вином.

В 1933 году мы побывали там в третий раз. И вот, каждый раз, когда поезд приближался к тому знаменитому перегону Мостар — Яблоница, будь то ночью или днем, у нас появлялось чувство какого-то ожидания, и воспоминание вновь и вновь ярко рисовало ночь, предсказанную вдохновенным ясновидящим. Сбылось и его предсказание относительно замка: лето, осень и часть зимы 1933 года нам пришлось провести в замке Храстовец, в Словении, вблизи Марибора, где были и горы, и много цветов, и речка Песница, приток Дравы...

10 января 1940
Нарва-Йыэсуу

ИГОРЬ-СЕВЕРЯНИН БЕСЕДУЕТ С ИГОРЕМ ЛОТАРЕВЫМ О СВОЕМ 35-ЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ

Нарва-Йыезу. Начало улицы Свободы. Маленький домик. Из окон продолговатого кабинета-столовой видна зимняя Нарова. Окон — три, и через них открывается влекущий ландшафт: широкая зальденная река, луга, рощи, дальние крыши Вейкюла. Низкий, ослепительно-белый потолок делает всю комнату похожей на уютную каюту. Комната выдержана в апельсиново-бежево-шоколадных тонах. Два удобных дивана, маленький письменный стол, полка с книгами, несколько стульев вокруг большого стола посередине, лонг-шэз у жарко натопленной палевой печки. На стенах — портреты Мирры Лохвицкой, Бунина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Рериха; в углу — бронзовый бюст хозяина, работы молодого эстонского скульптора Альфреда Каска. Игорь Северянин сидит в лонг-шэзе, смотрит неотрываемо на Нарову и много курит.

Я говорю ему:

— Итак, уже 35 лет, как вы печатаетесь.

— Этими словами вы подчеркиваете мой возраст,— смеясь отвечает он.— Пять лет назад я справлял 30-летие. Сегодня я постарел на пять лет. Почему не принято справлять пятилетнего юбилея? Воображаю, с какой помпою и восторгом моя петербургская молодежь тогда приветствовала бы меня! За *такой* юбилей я отдал бы с радостью все последующие 30 лет жизни! Тогда меня боготворили, буквально носили на руках, избрали королем поэтов, сами нарасхват покупали мои книги. Тогда мне не приходилось — дико вымолвить — рассылать их по квартирам почти и вовсе не знакомых людей, предлагать их и навязывать.

Голос поэта резко повышается. На лице его — презрение, гнев и боль.

— Вы теперь что-нибудь пишете? — спрашиваю я, стараясь переменить тему.

— Почти ничего: слишком ценю Поэзию и свое имя, чтобы позволить новым стихам залеживаться в письменном столе. Только начинающие молокососы могут разрешить себе такую «роскошь». Издателей на на-

стоящие стихи теперь нет. Нет на них и читателя. Я теперь пишу стихи не записывая их, и потом навсегда забываю.

— И вам не обидно?

— Обидно должно быть не мне, а русским людям, которые своим равнодушием довели поэта до такого трагического положения.

— Однако же, они любят и чтут Пушкина, Лермонтова...

— О, нет, они никого не любят, не ценят и не знают. Им сказали, что надо чтить, и они слушаются. Они больше интересуются изменами Натальи Николаевны, дурным характером Лермонтова и нецензурными эпиграммами двух гениев. Я как-то писал выдающемуся польскому поэту Казимиру Вежинскому: «Русская общественность одною рукою воскрешает Пушкина, а другою умерщвляет меня, Игоря Северянина». Ибо равнодушие в данном случае равняется умерщвлению.

— Но у вас так много поклонников, вы получаете, вероятно, столько писем и телеграмм...

— Если бы каждый поклонник давал мне всего-навсего по 10 центов в год,— но, понимаете, обязательно каждый,— я чувствовал бы себя совершенно обеспеченным человеком, мог бы вдохновенно писать и, пожалуй, бесплатно раздавать неимущим свои книги. Но таких поклонников или я не знаю, или их вовсе нет. Судя по количеству поздравлений, я не заработал бы больше кроны,— с неподражаемой язвительностью отчеканил поэт.

— Вы довольны статьями и фотографиями, помещенными в газетах в связи с вашим юбилеем?

— В особенности фотографиями. Некоторые из них бесподобны и являются, по-видимому, воистину юбилейными. На некоторых из них я снят с женой, с которой расстался вот уже пять лет. Представляете, как было приятно мне и моей новой подруге, женщине самоотверженной и заслуживающей глубочайшего уважения, лишний раз взглянуть на такую карточку, да еще в газете, да еще в юбилейные дни!

— Еще один вопрос,— сказал я, поднимаясь,— и, извините, несколько, может быть, нескромный. Вы изволили заметить, что больше почти не пишете стихов. На какие же средства вы существуете? Даже на самую скромную жизнь, какую, например, как я имел возмож-

ность убедиться, вы ведете, ведь все же нужны деньги. Итак, на какие же средства?

— На средства Святого Духа,— бесстрастно произнес Игорь Северянин.

<1940>

ЗАМЕТКИ О МАЯКОВСКОМ

Берлин. 1922 год. Осень. Октябрь на исходе. Сияет солнышко. Свежо. Идем в сторону <...> *.

— Или ты не узнаешь меня, Игорь Васильевич? — останавливает меня радостный бас Маяковского. Обнимаемся. Оба очень довольны встрече. С ним Б. Пастернак. Сворачиваем в ближайшую улицу, заходим в ближайший бар. Заказываем что-то легонькое, болтаем.

*

Маяковский говорит:

— Проехал Нарву. Вспоминаю: где-то близ нее живешь ты. Спрашиваю: «Где тут Тойла?» Говорят: «От ст<анции> Иеве в сторону моря». Дождался Иеве, снял шляпу и сказал вслух, смотря в сторону моря: «Приветствую тебя, Игорь Васильевич».

*

В день пятой годовщины Советской власти в каком-то большом зале Берлина — торжество. Полный зал. А. Толстой читает отрывки из «Аэлиты». Читают стихи Маяковский, Кусиков. Читаю и я «Весенний день», «Восторгаюсь тобой, молодежь...» Овации. Мое окруженье негодует.

*

— Дай мне несколько стихотворений для «Известий»,— говорит Маяковский,— получишь гонорар по 1000 марок за строку (времена инфляции).— Я так рад, что и без денег дал бы, но мое окруженье препятствует. Довод: если почему-либо не вернетесь на родину сразу же, зарубежье с голоду уморит.

---

* Пропуск в тексте.— *Ред.*

*

В Берлине В. В. остановился на Kurfürstenstr<asse> в Kurfürsten Hotel. В номере мы застали троих: он, Лиля и О. М. Брики. Л. Ю. была, помню, в лиловом капотике. Изящная и женственная. В. угощал меня ромом и паюсной икрой, которой привез с собой целую жестянку.

*

Однажды вечером В. заезжал к нам. на Gipsstr<asse> (Norden, Alexanderplatz). Заехал совсем один и неожиданно. Мы случайно были дома (большая редкость!). Привез в дар большую корзину с фруктами и несколькими бутылками Рейнского.

*

Это было в ту осень, когда Есенин с Айседорой только что уехали перед нашим приездом в Америку.

*

Маяковский и Кусиков принимали во мне тогда живое участие: устроили в «Накануне» четыре мои книги: «Трагедия Титана», «Соловей», «Царственный паяц» и «Форелевые реки». Деньги я получил за все вперед, выпущено же было лишь две первых. Встречались мы часто у Кусикова, у Толстого, у нас, в ресторанах. Я присутствовал на всех вечерах Маяковского. В болгарском студенческом землячестве выступали совместно.

*

Маяковский «пробовал» женщин: если «вульгарились», бывал беспощаден; в случае «осаждения» доискивался причин: если не «позировали на добродетель», с уважением сникал.

*

В Берлине я, уговариваемый друзьями, хотел, не заезжая в Эстонию, вернуться в СССР. Но Ф. М. ни за что не соглашалась, хотя вся ее семья была крайне

левых взглядов. Брат ее, Георгий, ушел в январе 1919 г. вместе с отступившей из Эстонии Красной Армией и ныне заведует колхозом в Саратовском районе. Сестры (Линда и Ольга) были посажены в том же январе белой сворой в тюрьму, где и просидели два месяца. Ф. М. мотивировала свое нежелание ехать причинами личного свойства: «В Москве вас окружат русские экспансивные женщины и отнимут у меня. Кроме того, меня могут заставить работать, а я желаю быть праздной».

Я, сошедшийся с нею всего год назад, каюсь, не хотел ее тогда терять. Шли большие споры.

*

Накануне отъезда в Эстонию, когда билеты на поезд и пароход до Таллинна были уже куплены и лежали у нее в сумочке, мы сидели вечером в ресторане: друзья устроили отвальную. Были Толстой, проф. А. Н. Чумаков, Кусиков и др. (Володя уехал уже в Париж). Поезд на Штеттин уходил около шести часов утра. Спутница моя боялась, что мы засидимся и билеты потеряют свою силу. Об этом она заявила вслух. Друзья ей заметили, что это, может быть, будет и к лучшему, так как билеты до Москвы они всегда нам предоставят. Тогда она, совершенно перепуганная, вскочила и бросилась в гардеробную, схватив на ходу пальто, и выскочила на улицу. Очень взволнованный ее поступком, я кинулся вслед за ней, крикнув оставшимся, что поймаю ее и тотчас же вернусь. Однако, когда я выбежал на улицу, я увидел спутницу, буквально несущуюся по пустому городу и надевавшую на ходу пальто. Было около трех часов ночи. Мы бежали таким образом через весь громадный город до нашего отдаленного района. Было жутко, позорно и возмутительно. Я все боялся ее оставить: мне казалось, или она покончит с собою, или возвратится одна на родину. А потом было уже поздно возвращаться в ресторан. Уехали, не попрощавшись с собутыльниками. Жаль, что не нашел тогда в себе силы с нею расстаться: этим шагом я обрек себя на то глупое положение, в котором находился все годы, без вины виноватый перед Союзом.

*

...Вскоре Ф. М. поссорилась со Златой и отстранила ее от участия в совместных наших вечеринках. Между тем Злата, член немецкой компартии, была за мое возвращение домой. Ее присутствие меня бодрило, радовало. Она нравилась нашему кружку как компанейский, содержательный, умный человек. Ум Ф. М. сводился на нет благодаря ее узости и непревзойденному упрямству.

*

...Помню ужин у А. Н. Толстого. Крандиевская была в ожидании второго ребенка. Она угощала замечательным итальянским салатом (ее специальность!) и московскими пирожками, которых накладывали на тарелки по 5—6 штук!.. В тот вечер был и Маяковский, и Кусиков, и неизменная Аннушка Чавчавадзе, компанейская и симпатичная девушка. Толстой любил коньяк <...> * Никите было 8—9 лет. Мальчуган был преинтересный — гордость родителей.

*

В Берлин мы приехали с Фелиссой Михайловной «пытать счастья», ибо в Тойла есть стало нечего и больше не было кредита. Приехали мы, предварительно списавшись со Златой, вновь возникшей в моей жизни спустя 16 лет (с 1906). Она прочла в газете «Голос России» мою «Поэзу отчаянья», написала на редакцию (в Берлине), а та переслала мне письмо в Тойлу. Произошло это за год до нашего путешествия, т. е. осенью 1921 г., когда я только что расстался с Марией Васильевной, с которой прожил $6^{1}/_{2}$ лет, и сошелся (в августе) с Ф. М. На меня письмо Златы произвело большое впечатление, возобновилась переписка, я написал (еще до встречи) «Падучую стремнину». О. Кирхнер успел ее издать.

Приехали мы в Германию нищими: я — в рабочей, заплатанной куртке, Ф. М. в пальто из одеяла. Злата нас устроила у знакомой дрессировщицы собак, быв-

* Пропуск в тексте.— *Ред.*

шей цирковой наездницы, на Gipsstr<asse>. Через неделю-другую я продал книги в издательство «Накануне» и уже имел большие миллионы. (В то время арфа стоила один миллион.)

Мы шатались по берлинским кабакам,
Удивлялись исполинским дуракам,
Пьющим водку из ушата и ведра,
Рвущим глотку, что хоть сжата, да бодра.
Эмиграцию б гулящую намять:
Пламя «грации», сулящее нам «ять»,
Да квартального, да войны, да острог.
От нахального и гнойного в свой срок
Мы избавились и больше не хотим,
Сами справились и в «польши» не катим...

(Далее запамятовал. Рукопись этой пьесы, как и многих других, была передана г. Лившицу, моему берлинскому импрессарио.)

*

Пока ж что приходилось добывать деньги. И вот Лившиц (рекомендация Гзовской и Гайдарова) устроил мне в большом зале Филармонии вечер стихов, прошедший с аншлагом. Успех был грандиозный, «полицейский час» был нарушен, в зале погас свет, а я все читал «на бис» (при свечах!), хотя высший полицейский чин и стоял рядом со мною на эстраде, предлагая окончить вечер, но публика не отпускала. Я выпустил на своем вечере Бориса Верина-Башкирова и А. Кусикова. Оба были противоположных взглядов, но стихи у них были добротного качества.

*

Голос Маяковского: шторм, идущий на штурм (штурмующий шторм).

*

София Сергеевна Шамардина («Сонка»), минчанка, слушательница Высших Бестужевских курсов, нравилась и мне, и Маяковскому. О своем «романе» с ней я говорю в «Колоколах собора чувств». О связи с В. В. я

узнал от нее самой впоследствии. В пояснении оборванных глав «Колоколов собора чувств» замечу, что мы втроем (она, В. Р. Ховин и я) вернулись вместе из Одессы в Питер. С вокзала я увез ее, полубольную, к себе на Среднюю Подьяческую, где она сразу же слегла, попросив к ней вызвать А. В. Руманова (петербургского представителя «Русского слова»). Когда он приехал, переговорив с ней наедине, она после визита присланного им врача была отправлена в лечебницу на Вознесенском проспекте (против церкви). Официальное название болезни — воспаление почек. Выписавшись из больницы, Сонка пришла ко мне и чистосердечно призналась, что у нее должен был быть ребенок от В. В. Этим рассказом она объяснила все неясности, встречающиеся в «Колоколах собора чувств».

*

Когда мы с Володей жили в Симферополе (отель «Лондонский»), Валентина Ивановна Гадзевич (поэтесса Валентина Солнцева), служащая Петербургского медицинского института, прислала мне из Тамбова телеграмму, что родители согласны на наш брак. Я был увлечен и готов был «осупружиться». В. В. долго тщетно меня отговаривал. Наконец он признался, что девица завлекала и его и даже обнажилась перед ним. Я верил его каждому слову и потому порвал с нею. Володя был верным другом.

*

Владимир Иванович Сидоров (Вадим Баян) — купец из Симферополя. В «Колоколах собора чувств» я именую его «Селимом Буяном». Он выпустил книгу «Лирионетты и баркароллы» (?!) в изд<ательстве> Вольф, уплатив за «марку» основательно. Предложил мне написать предисловие. Я написал ровно пять издевательских строк. Гонорар — 125 рублей! Человек добрый, мягкий, глупый, смешливый, мнящий. Выступал на наших крымских вечерах во фраке с голубой муаровой лентой через сорочку («от плеча к аппендициту»). У него имелась мамаша, некрасивая сестра и «муж при жене». Все они, угощая, говорили: «Получайте»... Он мне рассказывал, что, ликвидировав однажды любов-

ницу, отнял у нее каракулевый сак, им купленный: «Не стану же покупать другого следующей...» Непревзойденно!

*

Он предложил мне турне по Крыму. Я дал согласие под условием выступления Маяковского, Бурлюка и Игнатьева.

*

До Симферополя из Москвы мы ехали с Володей вдвоем. Сидели большей частью в вагоне-ресторане и бесконечно беседовали за стаканом красного вина.

*

Остановились вначале у Сидорова, потом перекочевали в отель, счета в котором оплачивал купчик. Жили в одном номере — я и В. В. Он любил, помню, спать нагим под одеялом. По утрам я требовал в номер самовар, булочки, масло. В. В. меня сразу же «пристыдил»:

— Чего ты стесняешься? Требуй заморозить бутылку, требуй коньяк, икру и проч. Помни, что не мы разоряем Сидорова, а он нас: мы ему даем своими именами значительно больше, чем он нам своими купецкими деньгами.— Я слушал В. В., с ним согласный. Однажды все же купчик не выдержал взятой на себя роли мецената и, стесняясь и краснея, робко указал нам на крупный счет. И тогда Володю прорвало: чего только он не наговорил Сидорову!..

— Всякий труд должен быть, милейший, оплачен, а разве не труд — тянуть за уши в литературу людей бездарных? Вы же, голубчик, скажем открыто, талантом не сияете. И кроме того — мы разрешали вам выступать совместно с нами, а это чего-нибудь да стоит. У нас с вами не дружба, а сделка. Вы наняли нас вас выдвинуть, мы выполняем заказ. Предельной платы вы нам не назначили, ограничившись расплывчатым: «Дорожные расходы, содержанье в отеле, развлеченья и проч.» Так вот и потрудитесь оплачивать счета в отеле и вечерами в шантане, какие мы найдем нужным сде-

лать. Мы принимаем в себя только потребное нам, «впрок» запасов не делаем. Вообще выдвиг бездарности уже некий компромисс с совестью. Но мы вас, заметьте, не рекламируем, не рекомендуем — мы даем вам лишь место около себя на эстраде. И это место мы ценим чрезвычайно дорого. И поэтому одно из двух: или вы, осознав, отбросьте вашу мелкобуржуазную жадность, или убирайтесь ко всем чертям!

*

Почти ежевечерне мы пили шампанское в «Бристоле». Наши вечера скрашивала некая гречанка Людмила Керем, интеллигентная маленькая шатенка, и кафешантанная певица Британова, милая и приличная. Пивали обыкновенно по шести бутылок, закусывая жженым миндалем с солью.

*

Владимир пил очень мало: иногда несколько рюмок, большей частью вина, любил же шампанское марки <...> *. Однажды мы предприняли автопоездку в Ялту. Когда уселись в машину, захотели на дорогу выпить коньяку. Сидоров распорядился, и нам в машину подали на подносе просимое. Дверцы машины были распахнуты, и прохожие с удивлением наблюдали, как футуристы угощались перед путем. В Гурзуфе и Алупке мы также заезжали погреться. В Ялту прибыли поздним вечером. Шел снег. В комнате было прохладно. Ходили в какой-то клуб на танцы. Крым, занесенный снегом!..

...Подъехал Бурлюк. И. В. Игнатьев («Пет<ербургский> глашатай») не прибыл: женился в Спб., женился и зарезался.

Из Симферополя покатили в Севастополь. Маяковский и Бурлюк обещали мне выступать всюду в обыкновенном костюме и Бурлюк лица не раскрашивать. Однако в Керчи не выдержали. Маяковский облачился в оранжевую кофту, а Бурлюк в вишневый фрак при зеленой бархатной жилетке. Это явилось для меня пол-

* Пропуск в тексте.— *Ред.*

ной неожиданностью. Я вспылил, меня с трудом уговорили выступить, но зато сразу же после вечера я укатил в Питер. Дома написал «Крымскую трагикомедию», которую — в отместку — читал на своих вечерах. Маяковский и не думал сердиться: выучил наизусть и часто читал при мне вслух, добродушно посмеиваясь. Эта вещь ему, видимо, нравилась, как вообще многие мои стихи, которых наизусть знал он множество. В Берлине, когда мы только что встретились, он читал мне уже новые мои стихи: «Их культурность» (из «Менестреля») и «Я мечтаю о том, чего нет» (из газеты).

*

Полному объединению «Эго» и «Кубо» всегда мешали и внешние признаки вроде цветных одежд и белизны на щеках. Если бы не эта деталь, мыслили бы футуризм воедино под девизом воистину «вселенского». (Мой «Эго» назывался «вселенским»). Никаких ссор между мною и Володей не бывало: бывали лишь временные расхождения. Никто из нас не желал уступать друг другу: «Молодо-зелено»... Жаль!

*

В марте 1918 года в аудитории Политехнического музея меня избрали «Королем поэтов». Маяковский вышел на эстраду: «Долой королей — теперь они не в моде». Мои поклонники протестовали, назревал скандал. Раздраженный, я оттолкнул всех. Маяковский сказал мне: «Не сердись: я их одернул — не тебя обидел. Не такое время, чтобы игрушками заниматься»...

*

Бывали мы с В. в Москве иногда у Брониславы Рундт — сестры жены Брюсова Иоанны Матвеевны.

*

Володя сказал мне: «Пора тебе перестать околачиваться по европейским лакейским. Один может быть путь — домой».

*

В Берлине мы часто встречались с Генриком Виснапу, его женой Инг, Авг. Гайлитом, Гзовской, Гайдаровым, З. Венгеровой, Минским, Богуславской, И. Пуни, Костановым, Вериным, жившим под Мюнхеном (<Ettal>) у С. С. Прокофьева и часто к нам приезжавшим.

*

Мы провели в Берлине в общем три месяца (вернулись домой в сочельник). Вынужден признаться с горечью, что это была эпоха гомерического питья... Как следствие — ослабление воли, легчайшая возбудимость, легкомысленное отношение к глубоким задачам жизни.

*

Оказывается, я очень сильно и по-настоящему любил Маяковского. Это я окончательно осознал в 1930 г., когда весть о его смерти потрясла меня. Он так и не прочел моего к нему послания, написанного в январе 1923 г., сразу же по возвращении из Берлина. А сколько раз собирался я послать ему это стихотворение в Москву, да не знал адреса, посылать же в «пространство» не в моих правилах.

*

ВЛАДИМИРУ МАЯКОВСКОМУ

Мой друг, Владимир Маяковский,
В былые годы озорник,
Дразнить толпу любил чертовски,
Показывая ей язык.
Ходил в широкой желтой кофте,
То надевал вишневый фрак.
Казалось, звал: «Окатастрофьте,
Мещане, свой промозглый мрак!»
В громоздкоо́бразные строки —

То в полсажени, то в вершок —
Он щедро вкладывал упреки
Тому, кто звал стихи «стишок»...
Его раскатный, трибунальный,
Толпу клонящий долу бас
Гремел по всей отчизне сальной,
Где поп, жандарм и свинопас.
В те годы черного режима
Мы подняли в искусстве смерч.
Володя! Помнишь горы Крыма
И скукой скорченную Керчь?
О вспомни, вспомни, колобродя
Воспоминаний дальних мгу,
В Гурзуф и Ялту, мой Володя,
Поездку в снежную пургу
В авто от берегов Салгира
С закусками и коньяком,
И этот кошелек банкира,
Вдруг ставший нашим кошельком!..
Ты помнишь *нашу* Валентину,
Что чуть не стала лишь *моей*!?.
Благодаря тебе я вынул
Из сердца «девушку из фей»...
И, наконец, ты помнишь Сонку,
Почти мою, *совсем* твою,
Такую шалую девчонку,
Такую нежную змею?..
О, если ты, Владимир, помнишь
Все эти беглые штрихи,
Ты мне побольше, поогромней
Швырни ответные стихи!

24 янв. 1923 г.

*

...Я напрягаю память: нет, мы никогда почему-то не говорили с Володей о революции, хотя оба таили ее в душах, и выступления наши — даже порознь — носили явно революционный характер.

*

«Авторитетов» (Сологуб и др.) Вл. терпеть не мог. Я же их чтил, пока они меня не задевали,— тогда я ругался.

*

Странно: теперь я не помню, как мы познакомились с Володей: не то кто-то привел его ко мне, не то мы встретились на одном из бесчисленных вечеров-диспутов в Спб. Потом-то он часто заходил ко мне запросто. Бывал он всегда со мною ласков, очень внимателен сердцем и благожелателен ко мне. И это было всегда. В глаза умел говорить правду не оскорбляя; без лести хвалил. С первых же дней знакомства вышло само собой так, что мы стали говорить друг другу «ты». Должен признаться, что я мало с кем был на «ты».

*

...Я теперь жалею, что в свое время недооценил его глубинности и хорошести: мы совместно, очевидно, могли бы сделать больше, чем каждый врозь. Мешали мне моя строптивость и заносчивость юношеская, самовлюбленность глуповатая и какое-то общее скольжение по окружающему. В значительной степени это относится к женщинам. В последнем случае последствия иногда бывали непоправимыми и коверкали жизнь, болезненно и отрицательно отражаясь на творчестве.

*

...Гаснет, слабеет память — констатирую со скорбью. Даже моя память, такая надежная. В воспоминаниях хочу быть точным, писать только то, что действительно помню, что действительно было. Потому так мало могу начертать.

*

...Володя нарисовал меня углем. Размер около аршина. Портрет висел всегда у меня в кабинете (Спб.). Уезжая в Тойлу (28 янв. 1918 г.), дал на хране-

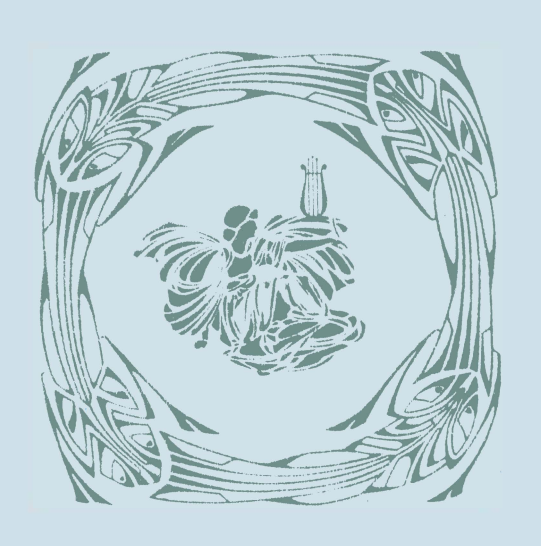
ние (предполагая к осени вернуться), как все книги с автографами, и фото, и альбомы с письмами и стихами современников, Б. Верину-Башкирову, спустя несколько месяцев убежавшему в Финляндию и все бросившему на произвол судьбы. Его адрес: Калашниковская набер., 52, собственный дом. Где все эти реликвии?

<1941>





ТЕОРИЯ ВЕРСИФИКАЦИИ
(Стилистика поэтики)







ВВЕДЕНИЕ

1. **Стихосложение.** Русскому языку — языку с подвижным ударением — свойственно стихосложение тоническое, в этом языке слова имеют ударения на разных слогах.

Всего же имеется три рода стихосложения: 1) тоническое, 2) метрическое (долгие и короткие гласные), 3) силлабическое (ударение на всех словах на определенном слоге).

2. **Стих.** Каждая стихотворная строка называется стихом. Каждое стихотворение состоит из известного,— крайне разнообразного,— количества стихов. Стихотворение имеет и другие наименования: пиеса (не путать с пьесой!), поэза и просто стихи. Кроме того, есть стихотворения специального характера, как элегия, стансы и пр. Есть и стихи, заключенные в специальную форму, как сонет, рондо и пр.

Каждый стих делится на стопы, т. е. логические деления.

Кода — придаток (две коды рядом быть не могут).

Стопы бывают 2-сложные, 2-сложные с кодами, 3-сложные и 3-сложные с кодами.

Видов 2-сложных стоп бывает только два: хорей и ямб. Видов 3-сложных стоп бывает только три: дактиль, амфибрахий и анапест.

Ц е з у р а есть логический разрез стиха или естественный перерыв в стихе: Заглянула в глаза,/молча руку свою подала.

3. **Методы раскладки стиха на стопы.** При раскладке стиха на стопы мы будем придерживаться следующих трех основных правил: 1) стараться получить размеры в чистом виде, т. е. одного наименования; 2) Если это не удается и получается якобы смешанный размер, нужно пробовать достигать одного наименования при помощи внутренних код в одну или две трети, поставленных перед цезурою, а иногда и на конце; 3) Размеры, не поддающиеся, даже при помощи внутренних и концевых код, рассмотрению как одноименные, считаются нами смешанными или сложными.

ХОРЕЙ. Хореем называется 2-сложная стопа с ударением на 1 слоге.

Хорей 1-стопный:

Но́-чи
Жа́р-ки,
О́-чи
Я́р-ки.

Хорей 1-стопный с кодою равен 1-стопному дактилю или 1-стопному анапесту. В первом случае, когда слова 2-сложные с ударением на 1-м слоге; во втором случае, когда слова разносложные или 3-сложные с ударением на 3-м слоге:

Хорей 1-ст. с кодою:

Ра́-до/сти
Сне́ж-ны/е,
Сла́-до/сти
Не́ж-ны/е.

1-ст. дактиль:

Ра́-до-сти
Сне́ж-ны-е,
Сла́-до-сти
Не́ж-ны-е.

Хорей 1-ст. с кодою:

В э́-тот/день
Ты́-со/мно́й.
Пла́щ-на/день
Го́-лу/бой.

1-ст. анапест:

В э-тот-де́нь
Ты-со-мно́й.
Плащ-на-де́нь
Го-лу-бо́й.

Так как всегда предпочтенье размеру без коды, из приведенных примеров явствует, что сначала из хорея с кодою мы получим дактиль, а во втором случае — анапест.

Хорей 2-ст.:

Кто́-тре/во́-жит
Но́чь-сле/пу́-ю?
Го́-ре/гло́-жет
Гру́дь-боль/ну́-ю.

Хорей 2-ст. с кодою:

Что́-ты,/ти́-хий/лес.

Хорей 3-ст.:

Кто́-то/ти́-хо/пла́-кал.

Хорей 3-ст. с кодою:

Лю́-бит/при́-зрач/ны́-е/сны.

Хорей 4-ст.:

Э́-то/бы́-ло/та́к-не/да́в-но.

Хорей 4-ст. с кодою:

Ты́-при/шла́-со/мно́-ю/по́-гру/стить.

Хорей 5-ст.:

В бе́-лой/ло́д-ке/с си́-ни/ми́ бор/та́-ми.

Хорей 5-ст. с кодою:

Кру́-же/ве́-ет/ро́-зо/ве́-ет/у́т-ром/лес.

Хорей 6-ст.:

На́-ве/ва́-ли/сму́ть-бы/ло́-го/о́-ка/ри́-ны.

Хорей 6-ст. с кодою:

Мы-встре/ча́-ли/э́-ту/зи́-му/на́-боль/шо́й-го/ре.

Хорей 7-ст.:

Мы́-встре/ча́-ли/э́-ту/зи́-му/на́-боль/шо́й-по/ля́-не.

Хорей 7-ст. с кодою:

Мы-встре/ча́-ли/э́-ту/зи́-му/на́-сво/е́й-по/ля́-ноч/ке.

Хорей 8-ст.:

За́-ша/ли́-ла/за́-гу/ля́-ла/на́-де/ре́в-не/мо́-ло/ду́-ха.

ЯМБ. Ямбом называется 2-сложная стопа с ударением на 2-м слоге.

Ямб 1-ст.:

Про-шла́
Си-ре́нь.
И-мгла́,
И-ле́нь.

Ямб 1-стопный с кодою, собственно, не существует, так как он равен 1-стопному амфибрахию в чистом виде без коды, обозначение же размера преимущественно без коды:

Ямб 1-ст. с кодою:

Си-я́нь/е
На-мо́/ре.
Же-ла́/нье
Во-взо́/ре.

Амфибрахий 1-ст.:

Си-я́нь-е
На-мо́-ре.
Же-ла́-нье
Во-взо́-ре.

Ямб 2-ст.:

Бы-ла́/ве-сна́,
Си-ре́нь/цве-ла́,
И-да́ль/я-сна́,
Я-сна́/бы-ла́.

Ямб 2-ст. с кодою:

Се-го́/дня-но́/чью
Лу-на́/си-я́/ла
И-сре́/до-то́/чью
О-на́/ме-ша́/ла.

Ямб 3-ст.:

Зве-зда́/го-ри́т/зве-зда́.

Ямб 3-ст. с кодою:

В тра-ве́/блес-ти́т/ро-си́и/ка.

Ямб 4-ст.:

Весь-го́/род-со́лн/цем-о́с/леп-ле́н.

Ямб 4-ст. с кодою:

Ве-се́н/ний-де́нь/го-ря́ч/и-зо́/лот.

Ямб 5-ст.:

По-ве́/че-ра́м/гра-фи́/нин-фа́/э-то́н.

Ямб 5-ст. с кодою:

Мо-гли́/бы-вы́/за-ме́/тить-у́/кур-за́/ла.

Ямб 6-ст. (александрийский романтический стих):

Ве-се́н/ней-я́б/ло-ни́/в не-та́/ю-ще́м/сне-гу́.

Ямб 6-ст. (александрийский стих):

Мы-по́/зна-ко́/ми-ли́сь/с ней-в о́/пе-ре́/в то-вре́/мя.

Ямб 7-ст.:

О-на́/при-е́/ха-ла́/в вось-мо́м/ча-су́/ус-та́/ла-я́.

Ямб 8-ст.:

О-на́/при-е́/ха-ла́/ко-мне́/в вось-мо́м/ча-су́/ус-та́/ла-я́.

Ямб 9-ст.:

В ша-лэ́/бе-ре́/зо-во́м/со-всём/иг-ру́/шеч-но́м/и-ко́м/фор-та́/бель-но́м.

Ямб 10-ст.:

И-ты́/шел с же́н/щи-но́й./Не-о́т/ре-ки́сь./Я-все́/за-ме́/ти-ла́./Не-го́/во-ри́.

ДАКТИЛЬ. Дактилем называется 3-сложная стопа с ударением на 1-м слоге.

Дактиль 1-ст.:

Ра́-до-сти
Сне́-жны-е.
Сла́-до-сти
Не́-жны-е.

Дактиль 1-ст. с кодою в 1 треть:

Ла́-ско-вый/сон
Ду́-шу-объ/ял.
Й-а-не/мон
Бла́-го-у/хал.

Дактиль 1-ст. с кодою в 2 трети (хореический):

Ти́-ха-я/неж-ность,
Ми́-ла-я/ю-ность.

Дактиль 2-ст.:

Но́-чи-без/у́м-ны-е

Дактиль 2-ст. с кодою в 1 треть:

Ла́-ско-во/вы́-шла-встре/чать.

Дактиль 2-ст. с кодою в 2 трети:

Ла́-ско-во/вы́-шла-на/встре-чу.

Дактиль 3-ст.:

По́-мнишь-ли/о́-зе-ро/си́-не-е.

Дактиль 3-ст. с кодою в 1 треть:

По́м-нишь-ли/о́-зе-ро/си́-не-е/ты.

Дактиль 3-ст. с кодою в 2 трети:

По́м-нишь-ли/о́-зе-ро/си́-не-е/нежно.

Дактиль 4-ст.:

Ли́-пы-ду/ши́-стой-цве/ты́-рас-пус/ка́-ют-ся.

Дактиль 4-ст. с кодою в 1 треть:

Ли́-пы-ду/ши́-стой-цве/ты́-рас-пус/ка́-ют-ся/там.

Дактиль 4-ст. с кодою в 2 трети:

Ли́-пы-ду/ши́-стой-цве/ты́-рас-пус/ка́-ют-ся/тихо.

Дактиль 5-ст.:

Бы́-ло ль-ко/гда́-ни-будь/э́-то-иль/мо́-жет-быть/не́-бы-ло.

Дактиль 5-ст. с кодою в 1 треть:

Бы́-ло ль-ко/гда́-ни-будь/э́-то-иль/мо́-жет-быть/не́-бы-ло/так.

Дактиль 5-ст. с кодою в 2 трети (гекзаметр):

Бы́-ло ль-ко/гда́-ни-будь/э́-то-иль/мо́-жет-быть/не́-бы-ло/вовсе.

Дактиль 6-ст.:

Встре́-ти-лись/у́-тром-мы/ка́к-то-рас/ста́-ли-ся/к ве́-че-ру,/ми́-ла-я.

Дактиль 6-ст. с кодою в 1 треть:

Встре́-ти-лись/у́-тром-мы/ка́к-то-рас/ста́-ли-ся/к ве́-че-ру,/ми́-ла-я/дочь.

Дактиль 6-ст. с кодою в 2 трети:

Встре́-ти-лись/у́-тром-мы/ка́к-то-рас/ста́-ли-ся/к ве́-че-ру,/ми́-ла-я/дочка.

Дактиль 7-ст.:

Встре́-ти-лись/у́-тром-мы/ка́к-то-рас/ста́-ли-ся/к ве́-че-ру,/ми́-ла-я/де́-воч-ка.

АМФИБРАХИЙ. Амфибрахием называется 3-сложная стопа с ударением на 2-м слоге.

Амфибрахий 1-ст.:

Си-я́-нье
На-мо́-ре.
Же-ла́-нье
Во-взо́-ре.

Амфибрахий 1-стопный с кодою на 1 треть не существует, так как он равен ямбу 2-стопному без коды:

Амфибрахий с кодою на 1 треть:

И-де́т-вес/на
Ве-се́-ла/я.

2-ст. ямб:

И-де́т/вес-на́
Ве-се́/ла-я́.

Амфибрахий 1-ст. с кодою в 2 трети:

Мы-бы́-ли/в лесу
Весь-ве́-чер/с тобой.

Амфибрахий 2-ст.:

Мы-бы́-ли/с то-бо́-ю
Весь-ве́-чер/в до-ли́-не.

Амфибрахий 2-ст. с кодою в 1 треть:

Смо-тре́-ла/с у-лы́б-ко/ю.

Амфибрахий 2-ст. с кодою в 2 трети:

Смо-тре́-ла/с у-лы́б-ко/ю в даль.

Амфибрахий 3-ст.:

Блед-не́л-по/ме-ра́н-це/вый-за́-пад.

Амфибрахий 3-ст. с кодою в 1 треть:

О-на́-при/хо-ди́-ла/ант-ра́к-та/ми.

Амфибрахий 3-ст. с кодою в 2 трети:

У-ме́ль-ни/цы-дря́х-лой/за-ку́-тан/ной в мох.

Амфибрахий 4-ст.:

За-бы́ть-ли/мне-ра́-дость/ми-ну́в-ших/сви-да́-ний.

Амфибрахий 4-ст. с кодою в 1 треть:

О-ка́к-ты/и-зя́щ-на,/пре-ле́ст-на/я-де́-воч/ка.

Амфибрахий 4-ст. с кодою в 2 трети:

О-на́-при/ез-жа́-ла/ко-мне́-в го/лу-бо́м-тиль/бюри.

Амфибрахий 5-ст.:

И-снó-ва/на-дóл-го/зи-мá-седь/мой-рáз-за/сы-пá-ла.

Амфибрахий 5-ст. с кодою в 1 треть:

Я-пóм-ню/си-я́нь-е/хо-лóд-но/го-ти́-хо/го-вé-че/ра.

Амфибрахий 5-ст. с кодою в 2 трети:

При-é-ха/ла-нóчь-ю,/ко-гдá-все/за-сну́-ли/в ста-ри́н-ном/ дворце.

Амфибрахий 6-ст.:

Как-пáх-ли/фи-áл-ки/над-си́-ней/ре-кó-ю/в тот-пá-мят/ный-вé-чер.

Амфибрахий 6-ст. с кодою в 1 треть:

Нам-бы́-ло/так-вé-се/ло-бé-гать/по-рó-ще/где-свéт-лы/е-лáн-ды/ши.

Амфибрахий 6-ст. с кодою в 2 трети:

А-ты́-на/сме-хá-лась/над-стрá-стью/и-нéж-но/стью-и́ск-рен/ни́х-ю́-ных/стихов.

Амфибрахий 7-ст.:

Вес-нá-от/цве-тá-ла/в ча-ру́-ю/щей-рóс-ко/ши-звóн-ко,/ ду-ши́-сто/и-гру́-стно.

Амфибрахий 7-ст. с кодою в 1 треть:

О-нá-раз/у-чи́-ла/под-ó-сень/труд-нéй-шу/ю-пó-тес/си-ту́-ре/О-фé-ли-ю.

Амфибрахий 7-ст. с кодою в 2 трети:

Ты-плá-ка/ла-дóл-го,/му-чи́-тель/но-дóл-го,/и-слé-зы/тек-ли́-бес/ко-нéч-но/твои.

Амфибрахий 8-ст.:

Ког-дá-я/подъ-é-хал/в ту-нóчь-к Лис/са-бó-ну,/мне-сéрд-це/ска-зá-ло,/что-встрé-чусь/с то-бó-ю.

АНАПЕСТ. Анапестом называется 3-сложная стопа с ударением на 3-м слоге.

Анапест 1-ст.:

Со-ло-вéй
Над-ре-кóй
Пел-о-нéй
В час-ноч-нóй.

Анапест 1-стопный с кодою в 1 треть фактически не существует, так как легко заменяется безкодным 2-ст. хореем:

Анапест 1-ст. с кодою в 1 треть:	2-ст. хорей:
Зем-ля-ни́/ка На-при-го́р/ке.	Зе́м-ля/ни́-ка На́-при/го́р-ке.

Анапест 1-ст. с кодою в 2 трети тоже фактически не существует, так как его можно заменить 2-ст. хореем с кодою и, следовательно, преимущество на стороне хорея: так как 1-сложная кода предпочтительнее 2-сложной.

Анапест 1-ст. с кодою в 2 трети:	2-ст. хорей с кодою в 1 треть:
У-по-и́/тельно Бы-ло-ра́/достно.	У́-по/и́-тель/но Бы́-ло/ра́-дост/но.

Анапест 2-ст.:

Э-то-бы́/ло-да-вно́.

Анапест 2-ст. с кодою в 1 треть:

Э-то-бы́/ло-не-да́в/но.

Анапест 2-ст. с кодою в 2 трети:

В ти-хий-ве́/чер-над-о́/зером.

Анапест 3-ст.:

Я-хо-те́л/бы-те-бе́/рас-ска-за́ть.

Анапест 3-ст. с кодою в 1 треть:

Мы-с то-бо́й/по-встре-ча́/лись-слу-ча́й/но.

Анапест 3-ст. с кодою в 2 трети:

Э-то-бы́/ло-в тро-пи́/чес-кой-Ме́к/сике.

Анапест 4-ст.:

По-че-му́/бы-те-бе́/не-встре-ча́ть/ся-со-мно́й?

Анапест 4-ст. с кодою в 1 треть:

Ты-при-шла́/в э-тот-де́нь/с о-по-зда́/ньем-в ми-ну́/ту.

Анапест 4-ст. с кодою в 2 трети:

Сколь-ко-ра́/дуж-ных-гре́з/и-на-де́жд/рас-цве-та́/ющих.

Анапест 5-ст.:

За-гля-ну́/ла-в гла-за́,/мол-ча-ру́/ку-сво-ю́/по-да-ла́.

Анапест 5-ст. с кодою в 1 треть:

Э-то-бы́/ло-да-вно́/я-не-по́м/ню-ког-да́/э-то-бы́/ло.

Анапест 5-ст. с кодою в 2 трети:

Вам-лег-ко́/о-суж-да́ть,/а-по-про́/буй-те-всё/э-то-вы́/страдать.

РАЗМЕРЫ С КОДАМИ ВНУТРИ СТИХА. Размеры с кодами внутри стиха получаются следующим образом: два или три стиха какого-нибудь одного и того же размера выпрямляются в один стих.

Из двух стихов:

Дважды 3-ст. хорей с кодою:

На́-ре/ке́-фо/ре́-ле/вой//в се́-вер/но́й-гу/бе́р-ни/и.

Дважды 4-ст. хорей с кодою:

В а́-ка/де́-ми/и́-по/э́-зи/и//в о́-зер/за́м-ке/бе́-ло/мра́-мор/ном.

Дважды 2-ст. ямб с кодою:

Ку-да́/ни-взгля́/нешь,//по-всю́/ду-сне́ж/но.

2-ст. ямб с кодою + 3-ст. ямб с кодою:

Да-вно́/ког-да́/то,//быть-мо́/жет-э́/то-в ми́/фе.

2-ст. хорей с кодою + 5-ст. хорей:

И́-по/ка́-жет/ся,//и́-ли/э́-то/та́к-на/са́-мом/де́-ле.

Дважды 3-ст. ямб с кодою:

Ка-ре́т/ка-ку́р/ти-за́н/ки//в ко-ри́ч/не-ву́/ю-ло́/шадь.

Дважды 4-ст. ямб с кодою:

О-ми́/ла-я́/ как-я́/ пе-ча́/люсь// О-ми́/ла-я́/ как-я́/ тос-ку́/ю.

Дважды 2-ст. дактиль с кодою в 2 трети:

Ве́-се-ло/ве́-се-ло/сердцу// Зво́н-ко-ду/ша́-о-сви/релься.

Дважды 2-ст. амфибрахий с кодою в 2 трети:

Раз-ни́-тив/ клу-бо́к-вос/торга// на-по́м-ни/ли-А́-ри/адну.

Дважды 2-ст. анапест с кодою в 1 треть:

Э-то-бы́/ло-у-мо́/ря,//где-ла-зу́р/на-я-пе́/на.

Дважды 2-ст. анапест с кодами в 2 трети первый и в 1 треть второй:

В бу-ду-а́/ре-тос-ку́/ющей// на-ру-мя́/нен-ной-Не́л/ли.

2-ст. анапест с кодою в 2 трети + 1-ст. анапест с кодою в 2 трети:

О-се-ню́/ се-бя-о́/сенью// в даль-ний-ле́с/ уйду.

Из трех стихов (двухцезурные):

Трижды 2-ст. ямб с кодою:

Вся-ра́/дость-в про́/шлом//в та-ко́м/ да-ле́/ком//и-
бе́з/воз-вра́т/ном.

Трижды 2-ст. анапест с кодою в 1 треть:

Рас-пах-ни́/те-все-ра́/мы//у-ме-ня́/ на-тер-ра́/се//рас-
пах-ни́/те-все-ра́/мы.

СМЕШАННЫЕ (СЛОЖНЫЕ) РАЗМЕРЫ. Стихи, исполненные смешанными размерами, почти всегда являются и з о б р е т е н ь я м и. Смешанными называются стихи, написанные разными размерами. Иногда один и тот же смешанный стих можно разложить по стопам различно. Однако при определении его рекомендуется пользоваться возможно наименьшим количеством наименований и стараться обходиться без код. Стих «Из лепестков цветущих розово-белых яблонь» можно рассмотреть или как 1-ст. дактиль + 2-ст. хорей + 1-ст. дактиль + 2-ст. хорей:

И́з-ле-пест/ко́в-цве/ту́-щих// ро́-зо-во/ бе́-лых/ я́б-лонь

или же как 1-ст. дактиль с кодою в 1 треть + 1-ст. амфибрахий + 1-ст. дактиль с кодою в 1 треть + 1-ст. амфибрахий:

И́з-ле-пест/ков/ цве-ту́-щих// ро́-зо-во/-бе/лых-я́-блонь.

Или же как 4-ст. ямб + 3-ст. хорей:

Из-ле́/пест-ко́в/ цве-ту́/щих-ро́/зо́-во/ бе́-лых/ я́-блонь.

При первой раскладке хореи «ков-цве» и «ту-щих», «бе-

лых» и «я-блонь» можно было бы принять за дактилические коды по 2 трети каждая, но две коды находиться рядом, естественно, не могут. Из этих трех раскладок преимущество на стороне первой, так как вторая при одинаковом количестве наименований как с первой, так и с третьей имеет коды, а третья имеет большее количество стоп.

2-ст. анапест с кодою в 1 треть + 4-ст. хорей:

Я-си-де́л/ на-бал-ко́/не// про́-тив/ за́-спан/но́-го/ па́р-ка.

4-ст. ямб + 2-ст. анапест с кодою в 2 трети:

Од-на́/жды-о́/сень-ю́,/со-все́м//мо-на-сты́р/ско-ю-о́/сенью.

ГЕКЗАМЕТР. Гекзаметром называется смешанный стих, состоящий из 6 стоп, в котором 5 хореев и 1 дактиль или же 5 дактилей и 1 хорей, причем в обоих случаях 5-я стопа должна быть дактилической, а 6-я хореической: Нежно пела ночью фея/озера/Конзо. Было ль когда-нибудь это иль может быть не было/вовсе? Второй пример при нашей упрощенной раскладке явится не смешанным размером, а 5-ст. дактилем с кодою в 2 трети.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТИХ. Александрийским стихом называется 6-стопный ямб, разделенный цезурой пополам. Каждая из половин имеет по два ударения: одно — подвижное — на одной из двух первых стоп, и постоянное — на третьей стопе:

Моя́/ ты и/ли не́т// не зна́/ю, не/ пойму́.

Александрийским романтическим стихом называется 6-стопный ямб с усиленными тремя ударениями на 2-й, 4-й и 6-й стопах:

Весе́нней я́блони// в нета́ющем снегу́.

РИФМА. Рифмами называются созвучные слова в конце, в середине, а иногда и в начале строки (стиха) с одинаковыми гласными и большинством согласных: *луна — одна — весна — полна.*

Блестящими (или полными) рифмами называются созвучные слова с одинаковыми гласными и одинаковыми согласными: *луна — галуна, одна — видна — со дна, окна — волокна, весна — тесна, полна — волна.*

Составными рифмами называются созвучья из не-

скольких слов: *рельсам — акварель сам, воздух — грёз дух, алчен — генерал чин, таз куя — таску я.*

Нельзя рифмовать слова с одним корнем: *бесценно — ценно, летний — столетний.* Нельзя рифмовать имена собственные: *Матвей — Тимофей, Белград — Петроград, Наполеон — Вавилон.* Надо избегать рифмовать глаголы во всех видах (за исключением рифм гипердактилических и высших трех степеней — всегда глагольных): *цвёл — увёл, кричать — молчать, был — пил, приду — найду.* Нельзя рифмовать слова явно иностранные: *ренессанс — диссонанс, кабальеро — сомбреро.*

Рифмы каламбурные очень редки: *дали — дали, стали — стали, на берегу — берегу.*

Допускаются рифмы при разных концевых согласных, когда одна из них произносится, как другая: *вздох — дог, ничего — торжество.*

Рифмы бывают семи видов: 1) мужская, когда ударение на последнем слоге: *орéл — приобрéл*; 2) женская, когда ударение на предпоследнем слоге: *крóшка — брóшка*; 3) дактилические, когда ударение на третьем от конца слоге: *я́сные — крáсные*; 4) гипердактилические 1 степени, когда ударение на 4 от конца слоге: *пáлевая — накáливая*; 5) гипердактилическая 2 степени, когда ударение на 5 от конца слоге: *хлóпающие — тóпающие*; 6) гипердактилическая 3 степени, когда ударение на 6 слоге от конца: *прони́зывающая — нани́зывающая*; 7) гипердактилическая 4 степени, когда ударение на 7 слоге от конца: *развéртывающаяся — обéртывающаяся.*

Левада, солнышком пронизывающаяся
И по ночам в туман обертывающаяся,
Весною всходами унизывающаяся,
А летом вся ковром развертывающаяся.

Бывают случаи, когда рифмуются в стихах почти все слова:

Мы шатались по берлинским кабакам,
Удивлялись исполинским дуракам,
Пьющим водку из ушата да ведра,
Рвущим глотку, что хоть сжата, да бодра.

АССОНАНС. Ассонансами называются созвучные слова в конце, в середине, а иногда и в начале строки (т. е. стиха) с одинаковыми ударными гласными и разными согласными, или переставленными, или усе-

ченными: *корвет — ковре, венка — окна, Ривезальт — вуаль, Бальмонт — в альбом, похороны — Фофанова, запрета — ветра, толк — ушел, море — горек, осталось — усталость.*

К разряду ассонансов относится употребление рифм мужских и женских (*ночь — клочья, без семи три — без симметрии*), женских и дактилических (*маска — ласково, грёза — озера*) и т. д.

ДИССОНАНС. Диссонансами называются дисгармонирующие слова в конце, в середине, а иногда и в начале стиха с разными ударяемыми членами и одинаковыми согласными. Диссонансов может быть, по числу гласных, только пять: *кедр — бодр — эскадр — выдр — мудр, шелковый — белковый — фиалковый — Пулково, непостижимость — нежность — нужность — осторожность — важность, мал — мол — мел — мыл — мул, люстра — астра, выпил — пепел, бархат — грохот.*

АЛЛИТЕРАЦИЯ. Аллитерацией называется повторение в стихе, в строфе или в целом стихотворении одних и тех же однородных (родственных) букв для усиления изобразительности:

на Л и Н:

Ленно лани льняные лунно влюблены;

на С и Н:

Сонные сонмы сомнабул весны
Санно манят в осиянные сны;

на П:

Как пахнет вспаханное поле;

на Ш, Ж, Ч:

И шепот, и шелест, и шорох бежит,
И пламя ближайших готово обжечь,
И брошен в то пламя весь в ржавчине меч.

ГРАДАЦИЯ. В стихах к помощи градации прибегают в том случае, когда хотят усилить впечатление. Особенно это удобно делать в триолетах и ронделях, где многие строки повторяются. Триолет:

Мимозу робко просит он
Дозволить слиться поцелуем

Коротким, как волшебный сон.
Мимозу страстно просит он,
Любовью пылкою волнуем,
За поцелуй дает ей трон.
Мимозу умоляет он
Дозволить слиться поцелуем.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ. **Троп** — все слова и обороты, употребляемые в переносном смысле.

Метафора — слово, употребляемое в переносном значении на основании сходства впечатления от разных предметов: *Скрипка плачет*.

Аллегория — иносказание.

Олицетворение — придача неодушевленному предмету образа и свойств одушевленного: *Цветы прислушиваются*.

Метонимия — замена одного понятия другим на основании тесной связи между ними: *Читаю Пушкина, выпил два бокала*.

Синекдоха — замена одного понятия другим на основании количественного отношения между ними: *Идем ловить рыбу*.

Антономазия — замена одного имени другим, нарицательного — собственным: *Он ведь у нас не Онегин*.

Гипербола — преувеличение: *Огурец с гору*.

Апострофа — обращение под влиянием волнения к Богу, к предметам неодушевленным, к отсутствующим или мертвым: *Лермонтов! ты ли не прав был: чем этот мир хорош?*

Антитеза — противоположение: *Анахорет и воин*.

Эллипсис — опущение слов, легко подразумеваемых: *Вы к нам, а мы — на прогулку*.

Эвфония — благозвучие, достигаемое сочетанием звуков в словах: *И сирены, водяные балерины, заводили хороводы по реке*.

Эвритмия — расположение грамматических и логических ударений в речи.

Эпитет — индивидуальное определение свойств предметов.

Синоним — различные слова с одинаковым значением.

Плеоназм — переполнение речи словами и целыми выражениями, ненужными для смысла речи: *Я это слышал собственными своими ушами*.

Тавтология — повторение выраженного одним словом посредством другого: *В пустыне чахлой и скупой*.

Параллелизмы — целые тавтологические выражения: *Эта старушка бедная, неимущая, несостоятельная.*

Архаизмы — слова и обороты, вышедшие из употребления.

Неологизмы — вновь введенные в язык слова.

Варваризмы — слова иностранные.

Провинциализмы — слова областные.

Эпистолярная форма произведения — ведение повествования от первого лица.

Рефрен — припев.

СТРОФА. Строфою (или, как говорили в старину, куплетом) называется некая очень разнообразная сумма стихов, так или иначе рифмующихся между собою. Строфы бывают крайне разновидны.

Фигуры строф:

1-я строфа:

А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А
Б	Б	Б	Б	А	А	Б	А	А	А	Б	Б
А	Б	Б	Б		А	Б	А	Б	Б	В	А
Б	А	А	Б			Б	Б	А	В	А	Б
		Б	А			В		Б	В	Б	В
									Б	В	В

2-я строфа, связанная с 1-й:

А	А	А	А	А	А	А	В	А	А	А	А
Б	Б	Б	Б	А	А	В	В	А	А	Б	Б
А	Б	Б	Б		А	В	В	Б	Б	В	А
Б	А	А	Б			В	Б	А	В	А	Б
		Б	А			Б		Б	В	Б	В
									Б	В	В

Онегинская строфа: АБАБ ВВГГ ДЕЕД ЖЖ.

Белый стих: Белыми стихами называются стихи без рифм.

Вольный стих. Вольными стихами называются стихи, написанные каким-нибудь одним размером и рифмованные, но с разным количеством стоп в каждом стихе.

Свободный стих (неправильный паузник). Свободными стихами называются стихи, написанные разными размерами, иногда рифмованные, иногда нет. Допускается и разное число стоп в каждом стихе.

ФОРМЫ СМЫСЛОВЫЕ. **Стансы** — каждый стих или каждая строфа самостоятельны, заключая в себе отдельную мысль или фразу без перехода в следующие.

Элегия — стихотворение грустного содержания.

Эпиталама — стихотворение свадебного содержания.

Эпиграмма — стихотворение иронического содержания.

Баллада — стихотворение фантастического содержания.

Романсеро — небольшая поэма героического содержания.

Идиллия — стихотворение идиллического содержания.

Эклога — стихотворение такого же содержания.

Ноктюрн (notturno) — стихотворение о ночи.

Эпитафия — стихотворение надгробного характера.

Ода — стихотворение хвалебного характера.

Дифирамб — стихотворение хвалебного характера.

Мадригал — стихотворение комплиментарного содержания.

Бриндизи — стихотворение вакхического или просто застольного содержания.

ФОРМЫ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ. 1. **Сонет** состоит из 14 строк (стихов), размещенных в 4-х строфах: в первых двух по 4 стиха, во вторых двух по 3. Для сонета берется 5-ст. ямб. Сонетных фигур три.

Первая рифмовка сонета (классическая): 1 стих рифмуется с 4, 5 и 8; 2-й — с 3, 6 и 7; 9 с 10; 12 с 13; 11 с 14.

Вторая рифмовка сонета: 1 стих рифмуется с 3, 5 и 7; 2-й с 4, 6 и 8; 9 с 11; 10 с 12; 13 с 14.

Третья рифмовка сонета: 1 стих рифмуется с 4, 5 и 7; 2-й — с 3, 6 и 8; 9 с 11 и 13; 10 с 12 и 14.

1) АББА АББА ВВГ ДДГ; 2) АБАБ АБАБ ВГВГ ДД; 3) АББА АБАБ ВГВ ГВГ.

2. **Триолет** имеет строфу из 8 ямбических (4—4$^1/_2$ стоп) стихов. 1, 4 и 7 стихи одинаковы. 2-й одинаков с 8-м. В триолете два созвучья, Одно из них рифмуется дважды, другое — трижды. Рифмовка стихов: 1 с 3 и 5, 2 с 6. Стихотворение или поэма могут состоять из любого числа триолетов. В случае изменения, кроме рифмы, одинаковых стихов, триолет приурочивается к триолетной вариации:

Лови крылатые мгновенья:
Они блеснут и отзвучат!
Не для любви,— для вдохновенья
Лови крылатые мгновенья.
Мы ищем бездну для забвенья,
Нам для восторга нужен ад.
Лови крылатые мгновенья:
Они блеснут и отзвучат!

(М. Лохвицкая)

В России триолеты мы встречаем у К. Фофанова, Ф. Сологуба, Н. Шебуева и др.

3. **Октава** заключена в строфу из 8 стихов, написанных 5—6-ст. ямбом, которые рифмуются так: 1 с 3 и 5, 2 с 4 и 6, 7 с 8. Стихотворение или поэма могут состоять из неопределенного количества октав. В октаве три созвучия.

В моем безрадостном томительном запустьи
Чуть слышны ландыши поруганной весны.
Их колокольчики, исполненные грусти,
В воспоминании надежно спасены.
Весенним вечером их слушаю при устьи
Двух рек взволнованных и воскрешая сны,
Давно уснувшие, уплывшие навеки...
Я слышу ландыши и опускаю веки.

4. **Терцинами** называются строфы в три стиха в каждой, могущие рифмоваться через стих до бесконечности. Для того чтобы закончить в желательном месте терцины, новая строфа обрывается на первом стихе. Меньше 7 стихов, т. е. 2 строф с кодою, в терцинах быть не может.

Мы сходимся у моря под горой,
Там бродим по камням, потом уходим,
Уходим опечаленно домой.

И дома вспоминаем, как мы бродим.
И это все. И больше ничего.
Но в этом мы такой восторг находим!

Скажи мне, дорогая, отчего?

5. **Газэлла** имеет различное, по желанию, число 2-строчных строф (5, 10 и т. д.), причем окончание 1 стиха 1-й строфы повторяется целиком во 2-м стихе, являясь также его окончанием, равно и во всех четных стихах. Нечетные стихи не рифмуются вовсе, а внутри первого нечетного стиха и внутри всех четных стихов рифмуются все слова, находящиеся перед повторяющимися окончаниями.

Мой мозг словами «Ты — больной» сжимаешь ты,
И хлыст упругий и стальной сжимаешь ты.

Я хохочу тебе в лицо, я хохочу,—
И в гневе хлыст своей рукой сжимаешь ты.

Над головой моей взнесла свистящий хлыст,—
Ударить хочешь, но с тоской сжимаешь ты.

«Живи, люби, пиши, как все! и будешь мой...»
Меня в объятьях,— и с мольбой,— сжимаешь ты.

Немею в бешенстве — затем, чтоб не убить!
Мне сердце мукой огневой сжимаешь ты.

Газэлла к нам пришла из Персии (Саади). В России газэллу читали у М. Кузмина, В. Брюсова.

6. **Рондель** имеет строфу в 13 ямбических (4—4 $^1/_2$ стоп) стихов. 1, 7 и 13 стихи совершенно одинаковы. Одинаковы и 2 с 8. В рондели всего два созвучия. Каждое из них имеет пять рифм. Стихи рифмуются следующим образом: 1-й с 4, 5, 9 и 12; 2-й с 3, 6, 10 и 11. Стихотворение или поэма могут состоять из любого числа ронделей. В случае изменения,— кроме цифры,— одного из стихов рондель уже рассматривается как рондельная вариация.

Нарцисс Сарона, Соломон,
Любил Балькис, царицу юга.
Она была его супруга,
Был царь, как раб, в нее влюблен.
В краю, где пальма и лимон,
Где грудь цветущая упруга,
Нарцисс Сарона, Соломон,
Любил Балькис, царицу юга.
Она цвела, как анемон,
Под лаской царственного друга.
Но часто плакал от испуга,
Умом царицы ослеплен,
Нарцисс Сарона, Соломон.

В России рондель встречается у Валериана Бородаевского.

7. **Рондо** бывает трояким: в 11, 13 и 15 стихов. Рондо в 11 стихов состоит из трех строф, причем в 1 и 3 строфах по 4 стиха, во 2-й — 3. Первая половина 2-го стиха или несколько первых стоп его являются целиком 4 и 11 стихами. Рифмовка: 1 стих рифмуется с 3, 6, 8 и 10; 2-й — с 5, 7 и 9.

Ее уста сближаются с моими
В тени от барбарисного куста

И делают все чувства молодыми
Ее уста.

И снова жизнь прекрасна и проста,
И вновь о солнечном томится Крыме
С ума сводящая меня мечта!

Образованный, повторяю имя
Благоуханное, как красота,
И поцелуями томлю своими
Ее уста.

Рондо в 13 стихов однострофно, 1-й стих одинаков с 9 и 13. Эти стихи рифмуются с 3 и 11. 2-й стих рифмуется с 4; 5-й с 7; 6-й с 8; 10-й с 12.

О, не рыдай над мертвым телом
И скорбь свою превозмоги:
Душа ушла в порыве смелом
Из мира мрака и тоски.
Не плакать,— радоваться надо:
Души счастливый переход —
Не наказанье, а — награда,
И не паденье, а — восход.
О, не рыдай над мертвым телом,
Молись за вознесенный дух,
Над прахом же осиротелым
Не расточай души: он глух.
Нет, не рыдай над мертвым телом...

Рондо в 15 стихов состоит из трех строф, причем в 1-й строфе 5 стихов, во 2-й — 4, в 3-й — 6. Первая половина 1 стиха или несколько первых стоп его являются целиком 9 и 15 стихами. Рифмовка: 1-й стих рифмуется с 4, 7, 8, 10, 12 и 14; 2-й — с 3, 5, 6, 11 и 13. Всего два созвучия. Первое имеет 7 рифм, второе — 5.

Пока не поздно, дай же мне ответ,
Молю тебя униженно и слезно,
Далекая, смотрящая мимозно:
Да или нет? Ответь — да или нет?
Поэзно «да», а «нет» — оно так прозно!

Слиянные мечты, но бьются розно
У нас сердца: тускнеет в небе свет...
О, дай мне отзвук, отзнак, свой привет,
Пока не поздно.

Ты вдалеке. Жизнь превратилась в бред.
И молния и гром грохочет грозно.
И так давно. И так десятки лет.
Ты вдалеке, но ты со мною грезно.
Дай отклик мне, пока я не скелет,
Пока не поздно!..

В России первый и третий вид рондо встречается у В. Брюсова.

8. **Канцона** заключена в строфу из 13 ямбических (4—4 $^1/_2$ стоп) стихов. В ней 6 созвучий: 5 рифмующихся дважды, 1 — трижды. Правила рифмовки: 1 с 4, 2 с 5, 3 с 6 и 7, 8 с 11, 9 с 10, 12 с 13. Стихотворение или поэма состоят из какого угодно количества канцон.

Любовь по существу банальна,
Оригинальное в оттенках.
Сюрпризы любит ткать сюжет.
Всегда судьба любви печальна,
О парижанках иль о венках
Рассказывает вам поэт.
Давно любви бессмертной нет!
Лишь ряд коротеньких любовей.
Иллюзия невоплотимой
Любви к мечтанной и любимой.
Пусть мы пребудем в вечном зове
Недосягаемой жены,—
Мы в промежутках жить должны...

9. **Сицилиана** заключена в строфу из 8 стихов, написанных 4-ст. или 5-ст. ямбом, рифмующихся двояко: 4 стиха четных и 4 нечетных. Стихотворение или поэма могут состоять из неограниченного числа сицилиан. В сицилиане два созвучия.

Хрустел седыми волосами
Хрустальный ветер ледяной.
Жуан стоял у моря днями,
В оцепенении, больной,
С глубоко впавшими глазами,
С ума сводящею мечтой,
Что, разделен с женой морями,
Он не увидится с женой.

10. **Вирелэ** имеет строфу в 8 ямбических (4—4 $^1/_2$ стоп) стихов. 1-й и 7-й тождественны, 2-й одинаков с 8-м. В вирелэ три созвучия. Каждое рифмуется дважды. Стихи рифмуются так: 1-й с 5, 2-й с 6, 3-й с 4. Стихотворение или поэма может заключать в себе любое количество вирелэ. В случае изменения,— кроме рифмы,— одинаковых стихов вирелэ рассматривается как вариация вирелэ.

Я голоса ее не слышал,
И имени ее не знал...
...Она была в злофейном крэпе...
...В ее глазах грустили степи...
Когда она из церкви вышла
И вздрогнула — я застонал...
Но голоса ее не слышал,
Но имени ее не знал.

11. **Риторнель** — строфа в 6 стихов, разделенная пополам. Внешне она напоминает терцины. В риторнели три созвучия. Каждое рифмуется дважды. Рифмовка: 1-й стих рифмуется с 3, 2-й с 5, 4-й с 6. Стихотворение или поэма может состоять из любого числа риторнелей.

Который день? Не день, а третий год,
А через месяц даже и четвертый,—
Я в Эстии живу, как в норке крот.

Головокружный берег моря крут,
И море влажной сталью распростертой
Ласкается к стране, где — мир и труд.

Я шлю привет с эстийских берегов
Тому, в ком обо мне воспоминанье,
Как о ловце поэзожемчугов.

Лишь стоило мне вспомнить жемчуга,
В душе возникло звуков колыханье:
Prélude Бизе — иные берега...

12. **Нона** заключена в строфу из 9 стихов, рифмующихся следующим образом: 1-й с 3, 5 и 7; 2-й с 4 и 6; 8-й с 9. В ноне три созвучия. Стихотворение или поэма могут состоять из любого числа нон.

О, среброголубые кружева
Уснувшей снежной улицы-аллеи!
Какие подыскать для вас слова,
Чтоб в них изобразить мне вас милее?
В декабрьской летаргии, чуть жива,
Природа спит. Сон — ландыша белее.
Безмужняя зима, ты — как вдова.
Я прихожу в лазури среброкружев,
Во всем симптомы спячки обнаружив.

В России нона встречается у Вл. Пяста.

13. **Баллады** существуют двух родов. Первый род баллады: 28 стихов, 4 строфы. Первые 3 строфы по 8 стихов, 4-я строфа в 4 стиха. В балладе 8, 16, 24 и 28 стихи тождественны. В балладе всего три созвучия. Первое созвучие рифмуется 6 раз, второе 14 раз, третье 4 раза. Рифмовка: 1-й стих рифмуется с 3, 9, 11, 17, 19; 2-й — с 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 25 и 27; 6-й стих рифмуется с 8, 14, 22 и 26. Обязательный размер — 4-ст. (может быть и с кодой) ямб.

Витает крыльный ветерок
Над звездочными васильками,
Над лентой палевых дорог,
Над голубыми ручейками.

Витает на восточной Каме,
Как и на Западной Двине,
И цветовейными устами
Целует поле в полусне.

Витает, свой свершая срок,
Над рощами и над лесами,
Над оперением сорок
И над пшеничными усами.
Мы, впив его, витаем сами,
Витаем по его вине
Над изумрудными красами,
Целуя травы в полусне.

Его полет — для нас урок,
Усвоенный чудесно нами:
Так добродетель и порок
Равно лелеемы волнами
Зефира, мучимого снами
И грезой о такой стране,
Где поэтическое знамя
Целует ветер в полусне.

Чаруемы его мечтами
О невозможной стороне,
Мы в этом мире, точно в храме,
Целуем знамя в полусне...

В России этот тип баллады встречается у Валерия Брюсова.

Второй вид баллады — 35 стихов, 4 строфы, первые 3 строфы по 10 стихов, 4-я строфа в 5 стихов, называемая «посылкой». В балладе 10, 20, 30 и 35 стихи одинаковы. В балладе 4 созвучья. Первое рифмуется 6 раз, второе 9 раз, третье — 12 раз и четвертое — 5 раз. Рифмовка: 1-й стих рифмуется с 3, 11, 13, 21 и 23; 2-й стих рифмуется с 4, 5, 12, 14, 15, 22, 24 и 25; 6-й стих рифмуется с 7, 9, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 31, 32, 34; 8-й — с 10, 18, 28, 33 и 35. Основной размер — 5-ст. ямб.

Гнусь хвастовства и шовинизма вызов
По выдвигу Германией войны
В мозг внедрились, меня с толпою сблизив.
На крыльях политической войны
В ошибку были мы унесены.
Разбит корабль о рифы заблуждений,
И в пламени кровавых сновидений
Вдруг понял я, что нам не по пути,
Что крови пир не может славить гений,—
И вот один я вынужден идти...

Хрустел сентябрь, и гнезда у карнизов
Уже осиротели до весны.

Я загрустил, смотря, как блекнет мыза
В листве осенней, вялой тишины,
И, в грусти, видел мерзостные сны:
В угоду чьих-то взбалмошных велений
Влекутся люди в самый ад сражений,
Семье роняя робкое: «Прости»,
И как рабы, не зная возмущений,
И вот — один я вынужден идти...

Мне, баловню изысканных капризов,
Их интересы не были ясны.
С людьми общаясь и себя унизив
Общением, я понял, как страшны
Их замыслы: в войну вовлечены,
Они не знали чувства сожалений,
Не испытали молний озарений,
Не поняли заветного: «Взлети!»
Я их постиг, в борьбе своих сомнений,
И вот один я вынужден идти...

ПОСЫЛКА

Три раза расцветали мне сирени,
Три раза засыпали в вечной смене
Поля и нежно снежились пути.
Я видел гибель рабских поколений,
И вот один я вынужден идти!

В России этот тип баллады встречается у Н. Гумилева.

14. **Секстина** состоит из 36 строк в 6 строфах. Рифм в секстине всего 6, т. е. два созвучия по 3 рифмы в каждом. Рифма 1 стиха 1 строфы является рифмой 2 стиха 2 строфы, 4 стиха 3 строфы, 5 стиха 4 строфы, 4 стиха 5 строфы и 6 стиха 6 строфы. 1-й стих 2 строфы является рифмой 4 стиха 2 строфы, 5 стиха 3 строфы, 3 стиха 4 строфы, 6 стиха 5 строфы и 1 стиха 6 строфы.

Эстония, страна моя вторая,
Что патриоты родиной зовут,
Мне принесла все достоянье края,
Мне создала безоблачный уют,
Меня от прозы жизни отрывая,
Дав сладость идиллических минут.

«Вкуси восторг чарующих минут
И не мечтай, что будет жизнь вторая;
Пей жадно радость, уст не отрывая;
И слушай, как леса тебя зовут;
Ступай в зеленолиственный уют
Приявшего гостеприимно края.

Быть может, под луной иного края
Когда-нибудь ты вспомнишь песнь минут,

Тебе дававших благостный уют,
Вздохнёшь, что где-то родина вторая,
Которую Эстонией зовут,
Влечет тебя, от юга отрывая.

Тогда приди, в мечтах не отрывая
Любви ко мне, от пламенного края
На север свой, где все своим зовут
Тебя, поэт, чарун святых минут:
Ведь творчество твое, как жизнь вторая,
Дает нам сказку, счастье и уют».

Благословен Эстонии уют,
Который от России отрывая
Благочестивою душою края,
Как мать, как сон, как родина вторая,
Соткал гамак качелящих минут.
Минуты те! их творчеством зовут...

Но чу! что слышу я? меня зовут
К оружию! Прости, лесной уют,
И вы, цветы сиреневых минут,
Простите мне! Бездушно отрывая
От вас, от милых мне, за целость края
Жизнь требует мою страна вторая...

В России секстина встречается у Л. Мея, В. Брюсова, И. Ясинского.

15. **Лэ** состоит из 56 стихов в 8 строфах по 7 стихов в каждой строфе. В лэ 8 созвучий. 1-е и 2-е созвучие рифмуется по 15 раз каждое, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е, 7-е и 8-е — по два раза. 1-й стих одинаков с 49 и 50; 7-й — с 8 и 51; 14-й — с 15 и 52; 21-й — с 22 и 53; 28-й с 29 и 54; 35-й — с 36 и 55; 42-й — с 43 и 56. Рифмовка: 1-й стих рифмуется с 3, 9, 11, 14, 17, 23, 25, 28, 31, 33, 35, 38, 44 и 46; 2-й стих рифмуется с 4, 7, 10, 16, 18, 21, 24, 30, 32, 34, 37, 39, 42 и 45; 5-й стих рифмуется с 6, 12-й с 13, 19-й с 20, 26-й с 27, 40-й с 41, 47-й с 48. Лэ должна быть исполнена 5-ст. ямбом.

Покаран мир за тягостные вины
Своей ужаснейшей из катастроф:
В крови людской цветущие долины,
Орудий шторм и груды мертвецов,
Развал культуры, грозный крах науки,
Искусство в угнетеньи, слезы, муки,
Царь Голод и процессии гробов.

Царь Голод и процессии гробов,
Пир хамов и тяжелые кончины,
И притесненье солнечных умов,
И танки, и ньюпор, и цеппелины,

И дьявол, учредивший фирму Крупп,
Испанская болезнь, холера, круп —
Всё бедствия, притом не без причины...

Всё бедствия, притом не без причины:
От деяний, от мыслей и от слов.
Еще порхают ножки балерины,
Еще не смолкли ветерки стихов,
Еще звучат цветения сонат,
Еще воркуют сладко адвокаты,—
А мир принять конец уже готов.

Да, мир принять конец уже готов
В когтях нечеловеческой кручины,
Пред судным ликом массовых голгоф
И пред разверстой пропастью трясины.
Но жизнь жива, и значит — будет жив
И грешный мир — весь трепет, весь порыв!
Он будет жить, взнесенный на вершины!

Он будет жить, взнесенный на вершины,
В благоуханном шелесте дубов,
В сияньи солнца, в звуках мандолины,
В протяжном гуде северных ветров,
В любви сердец, в изнежии малины,
В симфониях и в меди четких строф.
Мир исполин,— бессмертны исполины!

Мир исполин,— бессмертны исполины!
Он будет до скончания веков
Самим собой: тенеты паутины
Ему не страшны — богу из богов!
Да здравствует вовек величье мира!
Да славит мир восторженная лира!
Да будет мир и радостен, и нов!

Да будет мир и радостен, и нов!
Греми, оркестр! Цветите, апельсины!
Пылай, костер! Я слышу жизни зов!
Перед глазами — чарные картины,
И дали веют свежестью морской.
Но помни впредь, безбожный род людской:
Покаран мир за тягостные вины.

Покаран мир за тягостные вины:
Царь Голод и процессии гробов —
Все бедствия, притом не без причины,
И мир принять конец уже готов.
Но будет жить, взнесенный на вершины,
Мир исполин,— бессмертны исполины!
Да будет мир и радостен, и нов!

В России лэ встречается у Черубины де Габриак.

16.* **Миньонет** — строфа в 8 стихов, в которых 1-й стих одинаков с 7, 2-й с 8. Рифмовка: 1-й стих рифмуется с 3 и 5; 2-й — с 4 и 6. Миньонет должен быть выполнен анапестом. Количество стоп по стихам: стихи нечетные имеют по 3-стопному анапесту с кодою в 2 трети, четные — по 2-стопному. Стихотворение или поэма может состоять из любого количества миньонетов.

Наша встреча — Виктория Регия:
Редко, редко в цвету...
До и после нее жизнь — элегия
И надежда в мечту.

Ты придешь,— изнываю от неги я,
Трепещу на лету.
Наша встреча — Виктория Регия:
Редко, редко в цвету!..

17. **Дизэль** — строфа из 10 стихов на два созвучия. 1-й стих одинаков с 5 и 10, 2-й стих рифмуется с 3, 6, 8 и 9. Дизэль должна быть выполнена дактилем. Количество стоп по стихам: стихи 1, 4, 5, 7 и 10 имеют по 2-стопному дактилю с кодою в 1 треть, стихи 2, 3, 6, 8 и 9 имеют по 1-стопному дактилю с кодою в 2 трети. Стихотворение или поэма может состоять из неограниченного количества дизэлей.

Ветер ворвался в окно —
Ветер весенний,
Полный сирени...

Мы не видались давно,—
Ветер ворвался в окно,
Полный видений...

Скучно, и в сердце темно:
Нет воскресений
Прежних мгновений...

Ветер ворвался в окно.

18. **Кэнзель.** Каждая кэнзель состоит из 3 строф по 5 стихов в каждой. 1-й стих 1-й строфы является 3 стихом 2 строфы и 5 стихом 3 строфы. В кэнзели 4 созвучия. Три рифмуются трижды, четвертое четырежды. Стихи рифмуются так: 1-й с 5, 10 и 11; 2-й с 3 и 4; 6-й с 7 и 9; 12-й с 13 и 14. В случае изменений,— кроме рифмы,— одинаковых стихов, кэнзель рассматривается

* Все строфы от 16 до 25 изобретены Игорем-Северяниным.

как кэнзельная вариация. (Бывает и 2 созвучия. Одно рифмуется 4 раза, второе 9 раз: 1-й с 5, 10, 11; 2-й с 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 и 14).

Птицы в воздухе кружатся
И летят, и поют,
И, летя, отстают,
Отставая, зовут...
Воздух северный южится.

Не считая минут,
Без печали, без смут,
Птицы в воздухе кружатся.
Мотыльки там и тут
Золотисто жемчужатся.

Стаи белые вьюжатся
Мотыльковых причуд.
Воздух золотом ткут...
Бросив трав изумруд,
Птицы в воздухе кружатся.

19. **Секста** заключена в строфу из 6 стихов, исполненных любым размером. Рифмуется через стих: четные и нечетные стихи. Стихотворение или поэма может заключать в себе неограниченное число секст. В сексте два созвучия.

Озвень, окольчивай, опетливай,
Мечта, бродягу менестреля.
Опять в Миррэлии приветливой
Ловлю стремительных форелей.
Наивный, юный и кокетливый
Пригубливаю щель свирели.

20. **Рондолет** состоит из 4 строф по 4 стиха в каждой. 1-й стих 1-й строфы одинаков с 3-м 2 строфы, со 2-м 3 строфы и с 4-м 4 строфы; 2-й стих 1 строфы одинаков с 4-м 2 строфы, 1-м 3 строфы и 3-м 4 строфы; 3-й стих 1 строфы одинаков со 2-м 2 строфы, с 4-м 3 строфы и 1-м 4 строфы; 4-й стих 1 строфы одинаков с 1-м 2 строфы, с 3-м 3 строфы и со 2-м 4 строфы. Всего в рондолете 4 стиха, в каждой строфе имеющие различное место и иногда слегка варьируемые.

«Смерть над миром царит, а над смертью — любовь!»
Он в душе у меня, твой лазоревый стих!
Я склоняюсь опять, опечален и тих,
У могилы твоей, чуждой душам рабов.

У могилы твоей, чуждой душам рабов,
Я склоняюсь опять, опечален и тих,
«Смерть над миром царит, а над смертью любовь!»
Он в душе у меня, твой скрижалевый стих.

Он в душе у меня, твой скрижалевый стих:
«Смерть над миром царит, а над смертью — любовь!»
У могилы твоей, чуждой душам рабов,
Я склоняюсь опять, опечален и тих.

Я склоняюсь опять, опечален и тих,
У могилы твоей, чуждой душам рабов,
И в душе у меня твой надсолнечный стих:
«Смерть над миром царит, а над смертью — любовь!»

21. **Перекат** состоит из 4 строф по 4 стиха в каждом. Перекаты бывают двоякие. Первый вид переката — 3-й стих 1 строфы одинаков с 1-м 2 строфы, 2-м 3 строфы и 4-м 4 строфы. Рифмовка: 1-й стих рифмуется с 3, 7, 11; 2-й стих рифмуется с 4, 6, 8, 10, 12, 13 и 15.

На кладбище, на родственных могилах,
Для всех живых далекий и чужой,
В ее глазах, доверчивостью милых,
Я отдыхал усталою душой.

В ее глазах, доверчивостью милых,
Я находил забвенье и покой.
И от людей вдали, людей постылых
Я оживал под нежною рукой.

Вся жизнь моя, весь дальний путь земной —
В ее глазах, доверчивостью милых...
«О, не грусти о притупленных силах»,
Мне голос пел, спокойный и грудной.

Я приникал — к ней, близкой и родной,
Среди крестов, на вянущих могилах,
И плакал, плакал, веря ей одной,
У глаз ее, доверчивостью милых...

Второй вид переката: 1-й стих 1 строфы одинаков с 1-м 2 строфы, 2-м 3 строфы и 4-м 4 строфы. Рифмовка: 1-й стих рифмует с 3, 8, 9 и 14; 2-й — с 4; 5-й с 7; 9-й с 12; 13-й с 15.

22. **Квадрат квадратов.** Состоит из 4 строф по 4 стиха в каждой строфе, причем все эти 16 стихов по смыслу являются, собственно, четырьмя. Все 4 стиха 1 строфы должны быть теми же и в том же порядке стихами всех последующих строф, но все 4 раза они должны иметь различную расстановку слов, благодаря чему квадрат квадратов рифмуется внутри четырежды во всех своих 16 стихах и читается сзади наперед, как спереди назад. Рифмовка: на помощь уже имеющимся основным, по количеству основных четырех стихов, рифмам, берутся 12 внутренних, превращаясь во внешние. В результате имеются 8 созвучий и 16 рифм.

Никогда ни о чем не хочу говорить...
О, поверь! — я устал, я совсем изнемог...
Был года палачом,— палачу не парить...
Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог...

Ни о чем никогда говорить не хочу...
Я устал... О, поверь! изнемог я совсем...
Палачом был года — не парить палачу...
Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм...

Не хочу говорить никогда ни о чем...
Я совсем изнемог... О, поверь! я устал...
Палачу не парить!.. был года палачом...
Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал...

Говорить не хочу ни о чем никогда!..
Изнемог я совсем, я устал, о, поверь!
Не парить палачу!.. палачом быть года!..
Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!..

23. **Квинтина** состоит из 25 стихов в 5 строфах. Рифм в квинтине всего 5, т. е. два созвучия, одно в 2 рифмы, другое в 3. Рифма 1-го стиха 1-й строфы является рифмой 3-го 2 строфы, 2-го 3 строфы, 4-го 4 строфы и 5-го 5 строфы. Рифма 2-го стиха 1 строфы является рифмой 3-го 2 строфы, 1-го 3 строфы, 3-го 4 строфы и 4-го 5 строфы. Рифма 3-го стиха 1 строфы является рифмой 4-го 2 строфы, 5-го 3 строфы, 1-го 4 строфы и 2-го 5 строфы. Рифма 4-го стиха 1 строфы является рифмой 2-го 2 строфы, 3-го 3 строфы, 5-го 4 строфы и 1-го 5 строфы. Рифма 5-го стиха 1 строфы является рифмой 1-го 2 строфы, 4-го 3 строфы, 2-го 4 строфы и 3-го 5 строфы.

Любовь приходит по вечерам,
А на рассвете она уходит.
Восходит солнце, и по горам,
И по долинам лучисто бродит,
Лучи наводит то здесь, то там.

Мир оживает то здесь, то там,
И кто-то светлый по миру бродит,
Утрами бродит, а к вечерам
Шлет поцелуи лесам, горам
И, миротворя весь мир, уходит.

Уходят годы, и век уходит.
И что звучало по вечерам,
Забыто к утру. Лишь память бродит,
Как привиденье, то здесь, то там,
Да волны моря бегут к горам.

Нам надоели низы — к горам
Мы устремились: ведь солнце там!
А вечерами оно уходит...
Тогда — обратно: по вечерам
Уходит Ясность, и Нежность бродит.

Пока мы юны, пока в нас бродят
Кровь огневая, спешим к горам:
Любовь и Солнце мы встретим там!
Пусть на закате *оно* уходит,
Она приходит по вечерам...

24. **Перелив.** Переливом называется стихотворение в любое количество четырехстишных строф, причем два последних стиха каждой строфы тождественны, т. е. рефрен. Перелив идет все время на два созвучья, рифмующихся через стих.

Я слышу в плеске весла галер,
Когда залив заснет зеркально,
Судьба Луизы де-Лавальер —
И трогательна и печальна.

Людовик-Солнце, как кавалер,
Знал тайну страсти идеально.
Судьба Луизы де-Лавальер
Все ж трогательна и печальна.

Когда день вешний нежданно сер,
И облака бегут повально,
Судьба Луизы де-Лавальер
Так трогательна и печальна.

Пусть этот образ из прежних эр
Глядит и тускло и банально:
Судьба Луизы де-Лавальер
Всегда пленительно-печальна.

25. **Переплеск.** Переплеском называется стихотворение любым размером, 1-й стих которого состоит из некоторого количества слов с одинаковым для каждого слова ударением, причем этот стих варьируется посредством перестановки слов столько раз, сколько слов имеется в стихе. От количества слов первого стиха зависит количество строф стихотворения. В строфе должно быть 4 стиха. Рифмовка: 1-й стих рифмуется с 4, 2-й с 3, 5-й с 8, 6-й с 7, 9-й с 12, 10-й с 11, 13-й с 16, 14-й с 15 и т. д.

В мое окно глядит луна.
Трюмо блистает элегантное.
Окно замерзло бриллиантное.
Я онемела у окна.

Луна глядит в мое окно,
Как некий глаз потустороннего.
С мечтой о нем, молю: «Не тронь его,
Луна: люблю его давно...»

В мое окно луна глядит
То угрожающе, то вкрадчиво.
Молюсь за чистого, за падшего
В порок, с отчаяньем в груди.

Луна глядит в окно мое,
Как в транс пришедшая пророчица.
Ах, отчего же мне так хочется
Переселиться на нее?..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современному поэту рекомендуется избегать следующего:

1) Метафор, эпитетов, аллегорий, олицетворений, гипербол и антитез, многократно использованных и ставших вследствие этого стереотипами. Примеры: *в житейском море; в пучине горя; болтаюсь, как щепка; прекрасна, как ангел; красива, как роза; мраморные плечи; снег блестит, как бриллианты; тает, как воск; мрачна, как ночь; они были различны, как ночь и день; я испытал бездну счастья; цветы нашептывают сказки; он надежен, как скала.*

2) Погрешностей против эвфонии, т. е. какофонии. Примеры: *широка, как Ока; оку незримый* (окунь незримый); *вытравлять же ребенка* (жеребенка); *от чувств стволы.*

3) Рифм глагольных и общепринятых, заменяя их, по возможности, новыми или более редко употребляемыми. Только при свежести образа и оригинальности построения фразы банальные рифмы терпимы.

4) Неоправданных и вычурных неологизмов, варваризмов, в которых нет особой надобности, и безусловных архаизмов.

5) Ломки ударений, противной духу русского языка, или явно устаревших ударений. Примеры: *ненАвисть, стОляр, мОлодежь, звОнит, прыгнУл, откупОрить, крапивА, тУфля, красивЕе, парАлич, музЫка, толпЫ* (им. падеж мн. ч!), *высотЫ, искрИстый, приспособИл.*

6) Путаницы в глаголах: *надеть* (что-нибудь) и *одеть* (кого-нибудь).

7) Произношения в родительном падеже местоимения «она» как «еЯ» (и в винительном и в родительном произносится как «еЁ»!). Это же относится и к местоимению «онЕ» и к числительному «однЕ» (в обоих случаях произносится как «они» и «одни»!)

Рекомендуется как можно шире пользоваться следующим:

1) Мало использованными или вновь найденными эпитетами, метафорами, антитезами и пр.

2) Обращать усиленное внимание на эвфонию, аллитерацию и градацию.

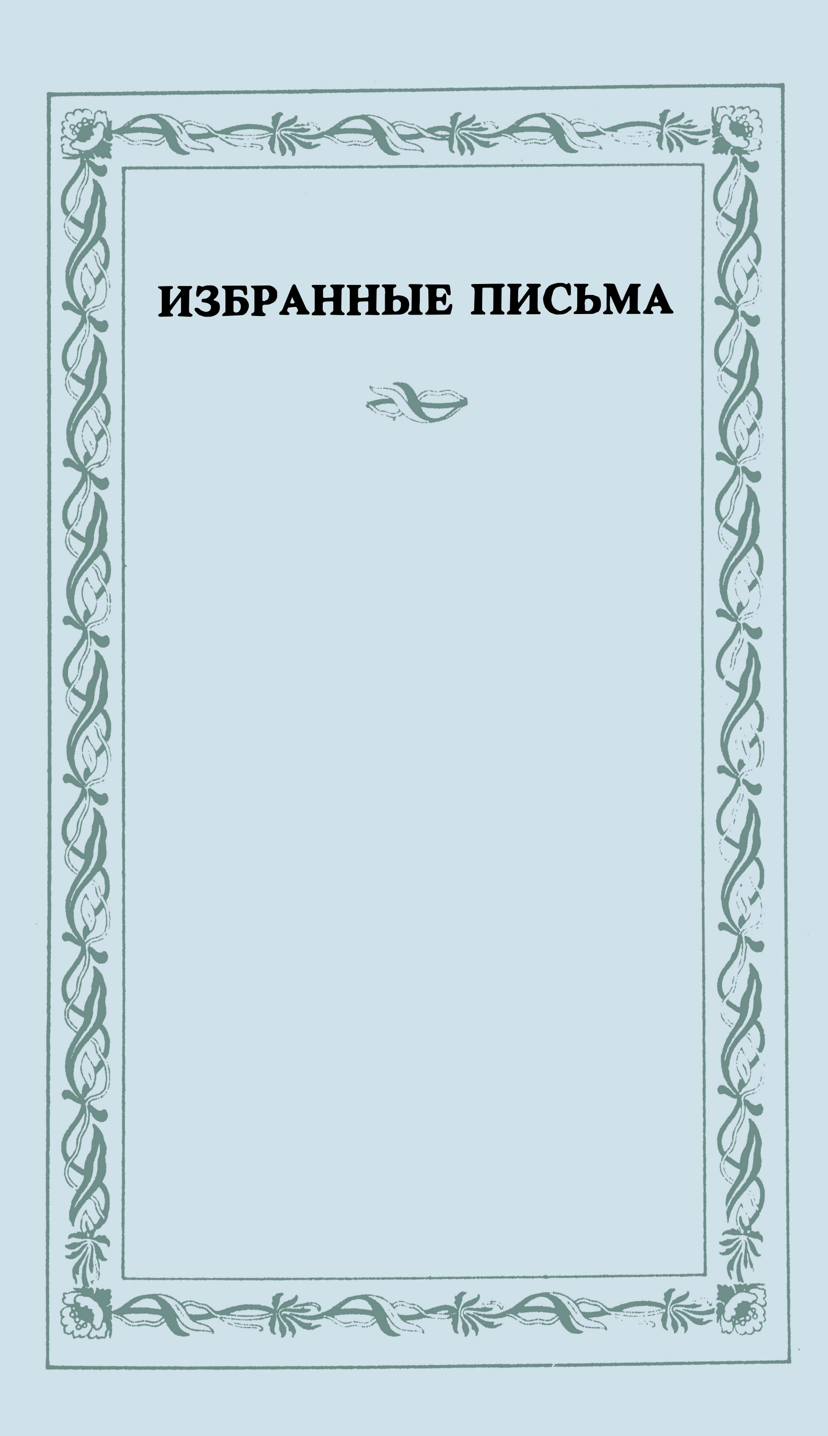
3) Новыми рифмами (обратив особо-пристрастное внимание на использование гипердактилических рифм), ассонансами и диссонансами, предварительно тщательно их продумав, дабы они з в у ч а л и.

4) Многостопными обыкновенными, но мало принятыми размерами.

5) Размерами с кодами внутри и размерами смешанными (сложными).

6) Различными фигурами строф и разнообразными стилистическими формами.





ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА







ПИСЬМА К АВГУСТЕ БАРАНОВОЙ

1

Toila. 5 июня 1921

Светлая Августа Дмитриевна!

Все Ваши письма (их всего 4) получены мною. Не отвечал же я потому, что с 11-го марта по 29 апр<еля> мы с М<арией> В<асильевной> уезжали из Эстии — сначала были в Риге, а из Латвии проехали в Литву, где дали вечера в Ковно и Шавляве. В Ковно прожили 27 дней. Всего же за это время дали 3 вечера (1 в Риге). В январе мы уже один раз побывали в Риге, где было тогда дано 2 концерта. Весь май прошел в поездках по Эстии — по докторам, т. к. здоровье М<арии> В<асильевны> весьма расшатано за последние годы. Она и всегда-то была малокровна и слаба, перенесенные же за это трехлетье невзгоды сильно отразились на ней. Теперь мы на днях вернулись из Дерпта (я дал там попутно концерт), и вот я, извиняясь перед Вами, дорогая и хорошая, за вынужденное долгое молчание, с особым удовольствием пишу Вам. Нас очень обрадовало известие, что Вы приедете в Тойлу — в нашу очаровательную прелестную, пленительную! Да, обязательно приезжайте и дождитесь нас там: я подписал условие с ковенским импрессарио на Берлин, и на этих днях мы туда уезжаем. Дней через 8—12, вероятно. Пробудем в Германии неделю-другую. Возможно, побываем и в Париже. Вернемся во всяком слу-

чае не позже 1—7 июля. Поэтому очень просим Вас: обязательно нас дождитесь в Тойле. Когда Вы будете в Нарве, дайте моей маме (Наталии Степановне Лотаревой, Toila, Severjäänin) телеграмму, и она вышлет на станцию (7 в<ерст>) кабриолет и пони. Кучер — Николай Николаевич Фридрихсен, бывш<ий> управл<яющий> имения под Сиверской. Приятно, правда, проехаться в Берлин и Париж, но летом, когда здесь так чудесно, обидно уезжать отсюда. С большим удовольствием бы поехал осенью. Но условие уже заключено, теперь поздно переделывать его. Целые дни мы проводим в природе. Ходим за 3—5 верст в леса. Я постоянно ловлю форелей. Это такое громадное удовольствие — рыбная ловля. Пишу много: за 3 1/2 года написал четыре тома. Посылаю Вам одну из трех вновь выпущенных в Эстии книг. Издание эстонского изд<ательст>ва «Odamees» в Юрьеве. Две другие передам лично, т. к. в настоящее время их у меня нет. Т. XII («Менестрель») печатается в Берлине у Закса. Вскоре выходит.

Итак, ожидаем Вас к себе непременно. Очень и очень хотим Вас, как всегда, видеть. Телеграфируйте из Стокгольма, когда выезжаете. Возможно, что еще застанете нас здесь до отъезда нашего. Отвечу телеграфно, когда выяснится день отъезда. Целую Ваши ручки. Марии Асаф<ьевне> и Вере Асаф<ьевне> прошу передать наш сердечный вспомин. М<ария> В<асильевна> обнимает Вас крепко. Пишите. Асаф Асафович постоянно с нами, мы всегда говорим о нем, как о живом.

Сердечно Ваш Игорь.

2

Toila, 5.VII.1921.

Мы очень удивлены, дорогая Августа Дмитриевна, что до сих пор не получаем от Вас телеграммы, в которой Вы сообщили бы нам о дне Вашего в Эстию приезда. Получили ли Вы мое заказное письмо и «Вервэну»? Поездка в Берлин отложена до поздней осени, поэтому мы проведем все лето в Тойле и будем Вам сердцем рады. Приезжайте непременно: здесь очень красиво, благостно и интимно.

У меня к Вам большая просьба: в Стокгольме — «Северные огни» Ляцкого. Это издательство, кажется, поставлено на широкую ногу. Я прилагаю к этому письму библиографию, которую было бы желательно показать заправилам. Хотелось бы знать — сколько и какие именно книги пожелает Ляцкий приобрести и на каких условиях. Особо дорожиться не приходится, т. к. весьма стеснен в средствах. Аванс в какую-нибудь тысячу шведских крон меня бы весьма устроил. Непосредственно же к нему обращаться считаю не очень удобным: в этом несколько дурной тон.

Если эта просьба Вас не затруднит, Вы меня исполнением ее много обяжете.

Пишите, не забывайте нас, приезжайте. Целую Ваши ручки. Привет Марии и Вере Асаф<овнам>. М<ария> В<асильевна> Вас крепко целует, Ваших приветствует. Здоровье ее меня более, чем тревожит.

Сердечно Ваш Игорь.

3

Тойла. 13 окт<ября> 1921 г.

Светлая Августа Дмитриевна!

Все письма Ваши,— милые, сердечные, интересные,— я получил. Я не отвечал Вам своевременно,— я переживал тяжелое. Теперь мы расстались, на днях я уезжаю в Берлин, оттуда в Париж и южнее. Неделя назад, как я вернулся из Ревеля, где провел полтора месяца. Я гастролировал там в «Mon repos» (5 гастролей) и один раз выступил в «Драма-театре».

Со мною в Берлин едет эстийская поэтесса Фелисса Крут, моя невеста. Она — девятнадцатилетняя очаровалка. М<ария> В<асильевна>, за семь лет не пожелавшая меня понять и ко мне приблизиться, снова одинока. Я жалею ее, но виноватым себя не чувствую. Вы знаете сами, что давно уже все шло к этому. Жить с поэтом — подвиг, на который не все способны. Поэт, пожертвовавший семью годами свободы своей во имя Любви и ее не обретший, прав прекратить в конце концов принесение этой жертвы, тем более, что никому она и не нужна, ибо при «нужности» была бы признательность и более бережное отношение. Я благодарен Балькис за все ее положительные качества, но одно уже от-

рицательное — *осуждение поэта* — изничтожило все хорошее.

Да, я пережил честно боль,— я имею право на успокоительную отраду. Возможны новые разочарования,— я очарован сегодняшним, и что мне до завтра!

С искренним к Вам влечением Игорь.

4

Eesti, Toila, 12 июня 1922 г.

Я был душевно обрадован, дорогая Августа Дмитриевна, получив Ваше письмо от 4.VI. Открытка Ваша, о которой Вы теперь сообщаете, затерялась. Она служила ответом на мое письмо от 22.II. Не получая с тех пор от Вас известий, я очень беспокоился, не зная, чему приписать Ваше молчание — тому ли, что Вы больны, тому ли, что Вы куда-нибудь уехали. Но то, что Вы живы и здоровы и так блистательно двигаетесь по службе, меня очень, повторяю, обрадовало, и я с удовольствием пишу Вам немедленно, т. е. 10.VI, в день получения Вашего письма. Однако, пойдет это письмо только в понедельник, оттого я и поставил дату дня отправления: по воскресеньям у нас за почтой не ездят. Я только что вернулся с женой с рыбной ловли, и мне подали Ваше письмо. Целые дни провожу на реке. Это уже со 2-ого мая. 5-ый сезон всю весну, лето и осень неизменно ужу рыбу! Это такое ни с чем не сравнимое наслажденье! Природа, тишина, благость, стихи, форели! Город для меня не существует вовсе. Только крайняя необходимость вынуждает иногда меня его посещать. С 10 янв<аря> я в городе не был. Это очень благотворно на меня повлияло в смысле продуктивности творчества, и в результате — много новых рукописей. За это время прибавилось 4 книги: т. XV («Утесы Eesti» — антология эстийской лирики за 100 лет, т. XIV («Предцветенье» — книга стихов Марии Ундэр, королева эст<ийских> поэтесс), т. XVII («Падучая стремнина» — роман в 2-х частях белыми стихами) и т. XVIII («Литавры солнца» — стихи* (...) не имею всех этих

* Далее часть письма отрезана.

книг, чтобы выслать их Вам, мой дорогой старый-молодой друг. Вы так всегда интересно интересовались моим творчеством, что послать Вам книги свои было для меня громадным удовольствием, уверяю Вас. Увы, я имею их только по экземпляру. Но я сообщу Вам адреса. Возможно, Вы их получите от издат<елей>. Адрес Кирхнера: Berlin, W 35, Genthiner Strasse 19, Otto Kirchner Co., G. m. b. H. Verlags-Buchhandlung. Книги стоят по 40 герм<анских> м<арок>, в перепл<ете> 55. Адрес Закса: Berlin SW 48, Wilhelmstrasse 20, Russische Buchhandlung Heinrich Sacks. Думаю, у него найдется и «Amores», изданный в Москве. Итак, я сижу в глуши, совершенно отрешась от «культурных» соблазнов, среди природы и любви. Знакомств абсолютно никаких, кроме племянника в<ице>-адм<ирала> Эссена — Александра Карловича, инженера-техн<ика>, служащего в 18-и верстах от Тойлы в Järve архитектором на заводе. Он приезжает к нам почти еженедельно. Большой мой поклонник, тончайший эстет. Переписываюсь только с Мадлэн, Златой, Башкировым, Северянкой и братом Эссена, живущ<им> теперь в Америке. Вот и все знакомые. С местными — шапочное знакомство. Да еще в Dorpat'e есть чуткая изящная душа — Борис Васил<ьевич> Правдин, прив<ат>-доц<ент> Юрьевск<ого> универс<итета>, поэт, чудный человек. Он собирается в июле на мес<яц> ко мне. Только что потерял жену-француженку. Олег, его 5-летний сын, сказочной красоты ребенок. Я постараюсь доставить Вам его карточку. Я произвел Эссена, Башкирова и Правдина в принцы — Лилии, Сирени и Нарциссов. Они заслужили это — они слишком любят искусство. Мария Вас<ильевна> служит в Ревеле в кабарэ — поет цыг<анские> песни, хорошо зарабатывает. Мы не виделись с нею с ноября. Жена моя — хорошая, добрая, изящная. Боготворит меня и мое творчество, сама пишет стихи по-эст<ийски> и по-русски. Я посылаю Вам одно из ее русских стихотв<орений>. Мне с нею очень легко и уютно. Беспокоит только меня ее здоровье: на днях она готовится стать матерью, и чувствует себя очень слабой. Ей 20-ый год, и, м<ожет> б<ыть>, это облегчит трудность ее положения. Что касается Вашей службы, я и радуюсь, и беспокоюсь за Вас одновременно. Конечно, Ваши успехи изумительны, цены высоки, но Вы совсем, совсем не бережете себя, мой далекий-

близкий единомышленник * (...) Так вы полагаете, что Миррэлия — на *Готланде*? Не слишком ли это определенно для призрачного?.. О, дорогая и любимая, светло и дружески скажу словами св. Мирры: «Все то, что выше жизни, зовется сном...» Нежно и почтительно целую руки Ваши женственно-мужественные.

Душою Ваш неизменно Игорь.

P. S. Я пришлю Вам «Поэзу о Иоланте» в ближайшем времени, так как «Тоста» в настоящее время нет у меня в доме. Фелисса шлет Вам искренний привет.

Я хочу, чтобы Вы писали мне часто и много. С особенным удовольствием буду отвечать Вам: теперь я совершенно оправился от той жуткой нервозности, которая терзала меня жестоко в *иных* условиях, благодаря обществу иных людей. Моя жена действует на меня благотворно: я абсолютно свободен, она совсем не ревнива, современна, чутка, развита и талантлива. Все вместе взятое дает мне возможность петь, творить, поддерживать переписку с друзьями. Всего хорошего Вам. Пишите, пожалуйста. В сент<ябре> мы едем в Германию.

5

Берлин, 23 окт<ября> 1922 г.

Светлая Августа Дмитриевна!

4-го октября я покинул Эстию, а с 6-го нахожусь в Берлине. Мои концерты состоятся в первых числах ноября. Затем я еду, по всей вероятности, в Прагу и Белград, хотя один импрессарио зовет в Копенгаген, Стокгольм и Христианию. Но это еще не наверняка — он не уверен в сборах в Скандинавии. Мне безумно хотелось бы повидаться с Вами, мой друг: м<ожет> б<ыть>, Вы приедете в Берлин, если мне не удастся к Вам? Перед отъездом из Toila я получил Ваше письмо из Германии и пожалел, что опоздал своим приездом. Я рад за Вас, что Вы отдохнули хорошо: Вы заслужили — о, более, чем заслужили! — этот отдых. Берлин меня утомляет, после глуши моей эстийской мне здесь немного трудно.

---

* Далее часть письма отрезана.

Мой верный рыцарь — Принц Сирени — поэт Борис Никол<аевич> Башкиров-Верин — 8-го приехал из Ettal (около Мюнхена),— где он живет с композ<итором> С. Прокофьевым,— чтобы повидаться со мной. Он пробыл в Берлине 8 дней, и мы провели с ним время экстазно: стихи лились, как вино, и вино, как стихи. Я встретил здесь много знакомых: Минского, Зин<аиду> Венгерову, худ<ожника> Пуни, Василевского (Небукву), Маяковского, Виснапу и др. Раз пять был у Гзовской, с которой у нас установились с прошлого года сердечные и дружеские отношения. Она по-прежнему очаровательна целиком — эта лазурная художница! Устроились мы здесь, в смысле кварт<иры>, превосходно: у нас большая, светлая комната в семействе, все удобства, даже уют, если хотите. Моя Злата приготовила мне ее заранее. Это тем более мило с ее стороны, что теперь здесь острый квартирный кризис. Нам с женою было очень грустно и досадно, что мы, не зная возможности заочного крещения, не обратились к Вам с нежной просьбой быть крестною матерью нашего Вакха. Он, конечно, остался дома с бабушкой.

Мы просим Вас принять наши искренние приветы и лучшие мысли, к Вам направленные. Пишите по следующему адресу: Deutschland, Berlin N, Wolgaster Strasse, 6. Frau Eugenie Mennecke für Igor-Severjanin.

Целую Ваши ручки.
Душевно Ваш Игорь.

P. S. Мой сердечный поцелуй дорогому Макару Дмитриевичу.

6

10 янв<аря> 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Маргарита Карловна переслала мне Ваше письмо, за которое я не нахожу слов благодарить Вас. Спасибо Вам сердечное русское наше за обещание доброе выслать просимое. Получив от Вас сто крон в январе и столько же в феврале, я расплачусь незамедлительно с большей частью мучающих меня долгов, и, хотя Вы и не обязываете меня, в силу своих взглядов, отдачей,

почту за счастье вернуть, когда сумею. Своим присылом Вы дадите мне хорошее настроение, а следовательно, и новые стихи, т. к. я могу работать только в светлом и спокойном настроении.

Мы с женой приехали в Эстонию только 24-го утром на пароходе «Wasa». До сих пор устроить ни одного здесь вечера не мог, т. к., во-первых, все время отдыхал от мерзостного Берлина, а, во-вторых, не так-то легко найти и здесь устроителей. На днях мне обещали устроить в Ревеле вечер, веду переговоры с Юрьевом и Валком. Как только растает снег, мы с женой уедем на ст<анцию> Sonda, в 36-ти верстах от Тойлы, где наймем маленькую хижину на берегу очаровательного озера Uljaste (Ульястэ). Мы проведем там все лето, ловя рыбу и занимаясь поэзией. Там всего четыре избушки, от станции 3 версты по лесной тропинке. Озеро 12 верст в окружности. Высокие лесистые берега. Ни души. Масса грибов, ягод, рыбы. Продукты очень дешевы и свежи. Но для этого я должен теперь много работать, чтобы скопить к лету необходимую для проведения его сумму в 15 т<ысяч> эст<онских> м<арок>. Повторяю, работы я не страшусь, но, к сожал<ению>, ее нет почти из-за отсутствия настоящего импрессарио. Часто с отрадою вспоминаю Долидзе: вот это был энергичный человек! Осенью мы поедем в Россию.

Вы нас очень обрадовали, дорогая и милая Августа Дмитриевна, своим обещанием приехать к нам в Тойлу на Пасху. Ждем Вас с искренним и восторженным нетерпением. Напишите, когда выедете, я приеду в Ревель Вас встретить. В настоящее время я готовлю к печати новый сборник — «Литавры солнца». Вскоре пришлю Вам только что вышедший в свет альманах «Via Sacra», где помещены три мои пьесы. Альманах издан в Юрьеве изд<ательст>вом Бергмана. Я был так рад, так доволен получить от хорошего Макария Дмитриевича такое чудное письмо. Передайте же ему мои самые сердечные воспоминания. Завтра я пошлю ему на Москву большое письмо.

Жена моя просит передать Вам ее признательный привет и благодарность за Вашу отзывчивость. Маленького Асафа мы целуем. Примите от меня маленький дар — стихи, возникшие сегодня внезапно в моей душе и немедля запечатленные мною для Вас и Вашего сына.

Душевно Ваш Игорь.

P. S. Что касается перевода на Кайгородову, лучше всего чеком на Eesti Bank, но я, право, плохо осведомлен — кронами или марками это возможно. Думаю, что выдадут марками, по примеру других стран. Из Германии, напр<имер>, выдавали эст<онскими> марками.

Иг<орь>

Продолжайте писать пока, пожалуйста, на Кайгородову. Иг<орь>.

7

Toila, 13.II.1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

В великолепный морозный солнечный день пишу Вам грустные и мрачные новости. Как это досадно! Как хотелось бы сообщить что-нибудь бодрое, хорошее, но, увы!

Я съездил в Юрьев, оттуда в Ревель,— третьего дня вернулся в нашу любимую мною глушь, вернулся обескураженный людской черствостью и отчужденностью, вернулся со станции пешком, восемь верст неся чемодан с концертным костюмом и проч., изнемогая от усталости...

Никто и нигде не может теперь же устроить ни одного вечера — вот результат моих хлопот. Один не имеет средств для начала, другой не имеет времени, третий не имеет желания, четвертый... Одним словом — удачей моя поездка не сопровождалась.

Многие обещают, оттягивают, что-то мямлят. Но я так хорошо знаю цену этим обещаниям!.. А жизнь не ждет. Что мне пришло в измученную нуждой голову, которая, при малейшей неудаче, могла бы быть такой ясной и творческой *всегда*: не сумели бы Вы поставить «Плимутрок» в Вашей библиотеке, приняв участие в этой комедии и раздав роли своим сослуживцам? Надо думать, что сбор дал бы несколько сот крон, а это так меня выручило бы из моего мрачного положения. Как был бы я рад, как счастлив хоть временно передохнуть от одолевающей меня безработицы, чтобы отдаться всецело творчеству и природе! Забыл Вам сказать в прошлом письме, что за последнее время от всех непри-

ятностей и тревог у меня развивается болезнь сердца, и по ночам, в бессоннице, я испытываю едкие муки, трудно передаваемые словами. А как все могло бы быть славно, ведь я, в общем, здоров и бодр! Ведь я певец солнечной ориентации, я по существу не нытик. Как, кстати, нравится Вам мой «Плимутрок»? Меня очень интересует Ваше мнение, ибо Вы — женщина чуткая, большая интуитка. В ближайшие дни, по совету одного доброго знакомого эстонца, занимающего в Ревеле крупный пост, я думаю приступить к переводу книги эстонского народного эпоса — «Калевипоэг». В ней — 18 000 стихов, так что работа эта явится капитальным, как видите, трудом, и на это потребуется не меньше шести-восьми месяцев. Тогда я получу очень крупную сумму, но до того времени... страшно и подумать! Да и вообще трудно работать, когда душа омрачена. А я так близко принимаю все к сердцу, да и как могло бы быть иначе: острые переживания дают острые произведения, не так ли?.. Напишу Вам как-нибудь более в бодрых, весенних тонах, а пока целую Ваши ручки, от всего сердца приветствую Вас, дорогая Августа Дмитриевна. Feliss просит сердечно кланяться Вам. Вот мой друг хороший и чуткий — моя жена! Как глубоко я ей за ее нежность и ободрения меня постоянные признателен, если бы Вы знали! Она воистину бережет меня, эта женщина-ребенок! Не дает унывать мне окончательно, спасибо ей. Только и есть у меня два друга истинных: Вы и она.

Напишите, Августа Дмитриевна, напишите мне что-нибудь бодрое, светлое, как Вы умеете,— и сколько новых стихов услышит мир!.. Не забывайте искренно к Вам расположенного, ценящего Вашу отзывчивость и ласку поэта, сильного в прошлом и — твердо верю в это! — в будущем!

Душевно Ваш Игорь.

8

Озеро Ульястэ, 1 июня 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

С дивного озера, на берегу которого расположен наш дом, я посылаю Вам свой привет и еще раз выражаю свою глубочайшую Вам признательность, памя-

туя, что благодаря Вам, ныне я пользуюсь всей этой благодатной красотою!

26 мая мы перебрались сюда. Нам посчастливилось найти здесь, в маленькой рыбачьей деревушке, у одного рыбака, комнату в новом хорошем доме. Комната обширная, высокая, светлая, идеально чистая. Внутри — белые сосновые бревна,— что может быть гигиеничнее? На окнах неизменные олеандры, резиновые деревья, кактусы, которые однако здесь «дела не портят»... В нашем полном распоряжении — лодка, с которой мы и начали ловить рыбу, выезжая за 3—5 верст от берега. До сей поры поймалы уже 36 окуней от 1/8 до 3/4 ф<унта> каждый. Надеемся на более крупных, когда, в июле, начнется дружный клев. Тогда же будут брать и лещи, достигающие, по словам старожил, до 25 ф<унтов>! Водятся и щуки, и угри. Теперь остается только держаться бюджета, чтобы сводить ежемесячно концы с концами. Хотя это и прозаично, но приходится. Комната обходится в 500 марок в месяц, дрова 300, табак 300, так что остается 1500 на стол, т. е. 50 м<арок> в день. На эту сумму, хотя и страшно трудно, кое-как все же просуществовать можно. Цены здесь не дешевле повсестранных, т. е. вообще стоящих в Эстонии. Для примера: 1 ф<унт> хлеба — 8 мар<ок>, 1 бут<ылка> молока — 10 м<арок>, 1 ф<унт> сала — 50 м<арок>, 1 ф<унт> масла — 70 м<арок>, 1 ф<унт> сахара — 32 м<арки>, десяток яиц — 40 м<арок> и т. д. Как видите, цены изрядные, но для иностранцев Эстия самая дешевая страна в мире.

Я так устал, мой друг, от вечной нужды, так страшно изнемог, так изверился в значении Искусства, что, верите ли, нет больше (по крайней мере, теперь пока) ни малейшего желания что-либо написать вновь и даже ценить написанное. Люди так бесчеловечны, так людоедны, они такие животные, говоря с грустной — щемящей сердце — откровенностью. Так не нужны они мне, так несносны, не меньше, о не меньше, чем я — им! Не сумели ценить и беречь своего соловья, и приуныл, и пригорюнился соловушко, такой еще недавно детски радостный, бездумно-восторженный, а теперь умудренный печальной явью, совсем обезголосенный людской черствостью, практичностью, пошлостью.

О, если бы Вы и озеро исцелили меня, вернули прежнюю *беспричинную жизнерадостность*, единственно истинное на этой Земле!

Нежно целую Ваши ручки, моя Feliss шлет Вам самые искренние глаза, самые скорбные улыбки. Она, маленькая, уже подстрелена обывательским кощунством в отношении Поэта!

Всегда Ваш Игорь.

9

9 июня 1923 г. Озеро Uljaste.

Извилистая тропинка вокруг прозрачного озера приводит Вас к янтарной бухте, на берегах которой так много морошки, клюквы и белых грибов. Мачтовые сосны оранжевеют при закате. Озеро зеркально, тишь невозмутима, безлюдье истое. Вы видите, как у самого берега бродят в прозрачной влаге окуни, осторожно опускаете леску без удилища в воду перед самым носом рыбы, и она доверчиво клюет, и Вы вытягиваете ее, несколько озадаченную и смущенную. Лягушки, плавая, нежатся на спинках, смотря своими выкаченными глазами прямо на Вас, человека, не сознавая ужаса этой человечности, им чуждой: они так мало людей видят здесь. Стада диких гусей и уток проносятся над озером, разом падая на его влажную сталь. Все это озеро и его берега, и весь колорит природы напоминают мне в миниатюре Байкал. Я говорю как раз об этом в одной из своих новых поэз. И я очень жалею, дорогая Августа Дмитриевна, что мы с Фелиссой лишены радости радоваться вместе в Вами созерцанием всей красоты этого лесного уголка Эстии!

Ваш Игорь.

10

Юрьев, 27 окт<ября> 1923 г.

Вы удивляетесь, мой друг, дорогая Августа Дмитриевна, удивляетесь Вы, что я, так часто ранее Вам писавший и поверявший в тяжких письмах своих все свои нужды и невзгоды, вдруг умолк и с 3 сент<ября> перестал писать вовсе? — Что же здесь удивительного? Разве я имею нравственное право постоянно расстраивать Вас, жалуясь на свои неудачи, на невозможную

безработицу, лишающую меня самого элементарного, что требуется для существования? разве мало я говорил, не желая говорить, на эту тему? разве Вам еще не окончательно ясно, что в положении, подобном моему, бодрые слова и яркие чувства органически немыслимы? Сколько раз хотелось писать Вам, сколько раз! И каждый — перо опускалось: зачем! — тревожить друга? вечно ныть? Не стоит, не хочется, постыдно и бестактно. А хорошего так мало я имел сообщить Вам. Получив Ваш последний чек и письмо о нем, я понял, что пора что-либо предпринять решительное и в городе, т. к. среди боготворимой мною природы, увы, я не мог ничего заработать. Сердечно, восторженно признательный Вам за лето (какой дивный несравненный дар!), за три месяца прозрачного озера, уединения и благости, я вынужден был круто, сразу, оторваться от Красоты и окунуться в прозаическую гнусь городскую. Послав 4-го сент<ября> из Jarve, куда мы зашли из Toila проститься с Александром Карловичем Эссеном, Вам открытку, 5-го мы проехали последний раз на Uljaste, проведя там целый день в милой лодке, ловя окуней и вдыхая Природу, а вечером, в темноте и под дождем, наш Kalamees, очаровательный хозяин хутора, отвез нас на ст<анцию> Kabala (5 верст от озера), и мы отправились в Юрьев «пытать счастья». Остановились у Правдина, я разменял кроны в банке, получил 2700 эст<онских> марок и с этими деньгами мы начали свою «жизнь» в городе. На другой же день нашли себе комнату с отдельным входом на Звездной около Лунной за 1500 м<арок> в месяц без дров, где теперь и живем. Я стал искать издателей. Их здесь мало, и все они эстонцы. Русских книг не жаждут. С трудом удалось продать Эдуарду Бергману новую поэму в 3-х частях «Роса оранжевого часа», которая выходит в декабре. Книга в 112 стран<иц>. Получил за нее... 7000 эст<онских> мар<ок>!.. Не подумайте, что шучу: до того ли мне? Одним словом, Вы понимаете, отдал даром. И как еще радовался и торжествовал при этом! Затем мне удалось продать изд<ательст>ву «Sõnavara» другую книжку: Мария Ундэр. «Предцветенье». Перевод с эстонского. Книга в 64 стран<ицы>. Получил я за нее... 3000 эст<онских> м<арок>!.. И на этот раз не шучу,— к сожалению! Зато уже больше мне ничего продать не удалось. Теперь у меня на руках имеется 3 рукописи, пристроить которые здесь уже не-

мыслимо. Поэтому нового ничего не пишу. Что же касается концертов, дело обстоит значительно хуже: в Юрьеве живу вскоре два месяца, и ни одного вечера организовать не удалось, несмотря на усиленные старания. Нет предпринимателя — вот и все.

Зато удалось устроить по концерту в Везенберге и Нарве. Нарва дала... 600 марок, а Везенберг... 1500 м<арок> убытку! Дождался, досиделся: *мои* вечера дают убыток! Это *мои-то* вечера! Нашлась в Финляндии одна старая петербургская поклонница, устроила мне в Гельсингфорсе 3 вечера подряд (17, 18 и 19 окт<ября>). Ездили мы с Фелиссой, успех имели выдающийся (как, впрочем, и везде!), прожили в Гельсингфорсе неделю, денег получили «в обрез», жизнь там безумно дорога, эмиграция нища. Рады были, что вернулись без убытка, еще осталось 3000 эст<онских> м<арок>. Приехали 21-го в Юрьев, и вот теперь проживаем эти последние деньги, страшась думать, что будет дальше.

А душа, между тем, рвется в природу, и с таким упоением бросил<ся> бы обратно в Uljaste! Но для этого нужно определенно 3 т<ысячи> в месяц, и их-то и нет, и скопить на пару месяцев не приходится, не имея возможности абсолютной. А жизнь на озере и прекраснее, и дешевле!

Сирота, импрессарио Смирнова, явился в Гельсингфорс на мой первый концерт, наговорил комплиментов и пригласил в первых числах ноября в Берлин и Прагу. Если не обманет и сдержит слово, прислав аванс на дорогу, может быть, и воспряну немного. Только плохо что-то во все это верится, ибо многие меня обманывали за эти годы.

Видеть Вас, Августа Дмитриевна, мне и жене моей очень хочется. Видеть, говорить с Вами, читать Вам новинки. С наслаждением приехали бы к Вам погостить на недельку-другую, да денег нет, конечно. Живем теперь по заграничному паспорту, визу получил — дело легкое: дают сразу. Если бы было возможно Вас повидать! Но дорога стоит дорого для нас: тысяч десять, вероятно. Были бы рады, конечно, если бы Вы сами приехали, да Вы заняты постоянно. Я думаю, что наша дорога могла бы окупиться, если бы я прочел в каком-нибудь салоне в Стокгольме свои поэзы. Прибыли я не ищу, когда могу видеть Вас. Подумайте и напишите. Сколько лет я уже не видел Вас!

Адрес мой теперь на Правдина. Целую Ваши ручки, жду сообщений о Вас. Жена Вас искренно приветствует.

Душевно Ваш Игорь.

11

Toila, 5.I.1925

Дорогая Августа Дмитриевна!

Правдин переслал мне Вашу открытку, чем доставил искреннее удовольствие. Я очень удивился, не имея от Вас больше года писем, и даже думал, что Вы куда-либо перевелись. Не писал Вам именно потому еще, что полагал о Вашем переезде на другую квартиру. Впрочем, я послал Вам открытку к прошлому Н<овому> Г<оду>, и не получил ответной. С большим удовольствием возобновил бы еженедельную — субботнюю — переписку, но, к сожал<ению>, это *теперь* трудно будет провести в жизнь, ибо я все время в разъездах. Лучше поступим так: буду писать Вам обязательно каждое пятое число закрытое письмо, Вы же мне каждое пятнадцатое.

В первых числах февраля еду в Берлин, Париж и Прагу, до этого времени буду в Юрьеве, Ревеле, Jõgewa и др<угих> местах. В ноябре был в Риге, Двинске, Либаве. В октябре вернулся из большого турнэ, уехав 8-го августа. Побывал в Берлине, Штеттине, Данциге, Цопоте, Варшаве, Лодзи, Вильне, Белостоке, Бресте, Пинске, Луцке и Ровне. Везде давал концерты, кроме Берлина, т. к. летом был там разъезд публики. Заработал настолько удачно, что смог отдать кредиторам 36 000 эст<онских> м<арок>, чем сильно сократил сумму долгов. Рад этому в высшей степени... Пришлось и купить кое-что. В общей сложности получил около 700 долл<аров>, но, к сожал<ению>, жизнь в Польше и Германии очень дорога, и львиная доля заработка пошла на отэли и пр.

Теперь везу книги на продажу (8 рукописей!). К 1-му февраля (день двадцатилетней моей литерат<урной> деятельности, т. к. первое стихотв<орение> было помещено 1-го февраля 1905 г.) изд<ательст>во Бергман выпускает в свет две новые книги. Если удастся, вышлю и Вам. Говорю: «удастся», т. к. наши из-

датели не очень-то обращают внимание на просьбы авторов.

Теперь жду от Вас сообщений, как Вы прожили этот год. Весьма жалею, что и прошлым летом не побывали у нас на озере и на море. М<ожет> б<ыть>, удастся в это лето? Пишите пока на Тойлу. Следующий адрес сообщу 5.II.

Жена Вас приветствует и поздравляет.

Адрес Мак<ара> Дм<итриевича> потерял. Сообщите, пожалуйста.

Опять в Берлине виделся с Костановым и его семьей всей. Милейшие люди они, его же трагедия всегда печалит меня: такой одаренный!

Целую Ваши ручки. Ваш Игорь.

12

Järve, 5.II.1925 г.

Я очень благодарен Вам за телеграмму с приветствием к моему юбилею и милое письмо. Я рад, что у Вас все благополучно и что Вы чувствуете себя хорошо. «Солнечной женщине» было помещено осенью во «Времени» (Берлин). Стихотворение это вошло в сборник моих стихов 1922-23 гг. «Литавры солнца», имеющий выйти в свет до осени. «Поэзу о Иоланте» я вышлю Вам в ближайшие дни. Сейчас я пишу Вам из Järve, от Эссена, куда пришел из Тойлы сегодня. Завтра утром еду в Ревель. Дней через десять-пятнадцать еду в Берлин — Париж — Прагу. Юбилей прошел более, чем тихо. Этот день провел в Тойле. Служили на могиле мамы панихиду и молебен. Никого из городов не приглашал. Тем более своих «односельчан». Получил пять телеграмм и семь писем, в четырех газетах меня вспомнили немного. Вот и все. Да, впрочем, иначе и быть в наше время не может... Офокстротились все слишком. Жена шлет Вам свой искренний привет. Целую Ваши ручки, жду письма. Поцелуйте от нас Асю.

Всегда Ваш Игорь.

13

5.III.1925. Toila

Дорогая Августа Дмитриевна,

пусть прежде всего этот месяц ознаменуется присылом мною Вам давно обещанной «Поэзы о Иоланте»! Наконец-то я, выбрав свободную минуту, переписал ее для Вас! И только для Ва[с], переписывать не люблю и не имею времени, ибо работаю теперь во многих изданиях (Ревель, Рига, Берлин, Варшава и Париж), еженедельно посылая туда стихи, рассказы и статьи об искусстве. Дело наладилось. На днях в Юрьеве вышли в свет новые поэмы. Т. к. теперешние издатели экземпляров автору, кроме одного, не дают (экономия!), авторы же зарабатывают так мало, что о покупке не может быть и речи, сообщаю Вам, думаю, что Вам небезынтересно ознакомиться самой и ознакомить с моими книгами милого Макария Дмитр<иевича>, адрес издателя: Estland, Tarty, Jaani uul, 26 — Vadim Bergmann. Книга каждая стоит меньше 1/2 доллара. Конечно, после Парижа (поездка наша туда пока отложена несколько) я смог бы прислать Вам и сто экземпл<яров>, но, думается, Вам интересно прочесть теперь же и не откладывая. Поэтому-то я и сообщаю адрес Вадима Эдуардовича.

В настоящее время я пишу новый роман онегинской строфой из жизни России периода 1890—1917 гг. Написал уже ровно 2 части (80 строф по 14 строк). Предвидится еще столько же, если не больше. Надеюсь к маю закончить труд. Эта работа, собственно, и заставляет меня несколько отложить поездку, хотя есть и иные причины.

Идея Ваша — разговор по телефону — выполнима, думается, и теперь: Toila соединена телефоном с Ревелем, а Ревель, вероятно, со Стокгольмом. Если Вы хотите стихов, вызывайте,— я к Вашим услугам. И мне будет приятно — очень приятно — читать для Вас, *Вам*... Предполагаю, когда поеду во Францию, побывать и в Италии, где мы, м<ожет> быть<>, встретимся. А если не там, возможно, и в Эстии: м<ожет> б<ыть>, Вы поедете через Ревель? Если я Вас очень попрошу об этом?

У нас выпал глубокий снег, и Toila приняла совсем зимний вид: снова салазки, лыжи, лунные ночи... Хоро-

шо! Живем мы очень уединенно и, кроме как у Эссена, ни у кого больше не бываем: люди *вне* искусства,— что может быть с ними общего? Всюду политика, а я ее органически не выношу. Читаем всю изящную литературу, какую только удается доставать, а это очень трудно.

Целую Ваши ручки, знакомые с шелестом вешних страниц сборников поэз. Жена свидетельствует Вам свое внимание.

Ваш неизменно Игорь.

14

Toila, 22.VI.1925 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

На днях вернулся из-за границы. 35 дней пробыл в Берлине, 14 — в Праге. За все это время дал (удалось дать) 2 вечера. Оба в Берлине только. Первый вечер дал 100 нем<ецких> марок, второй... 10 м<арок>! Антрепренер Бран. Та самая Мэри Бран, которая надула Липковскую и пробовала надуть Прокофьева. Других импрессарио вовсе не нашлось. Положение ужасное. Думал заработать, но оказалось все иначе. Пришлось брать субсидии в союзе журналистов и у Чехо-Слов<ацкого> правительства. Пришлось брать, чтобы кое-как прожить в Берлине и Праге, чтобы кое-как вернуться. 1-го октября еду снова — пробовать, и все уверяют, что будет все отлично. Пока же на мели. До осени. Причины? Их много: позднее время, экзамены, разъезд на курорты, жара. Издательства до осени книг не покупают.

Не писал Вам с дороги — рука не поднималась, так я был расстроен и измучен. Уж простите, дорогой друг, не сердитесь. Вы — чуткая, Вы поймете. Поэтому и долг свой я, к крайнему огорчению, не смогу вернуть раньше зимы. Но зимою не сомневаюсь, что удастся. Мало того — у меня к Вам мольба: поддержите до осени, посылая ежемесячно по 10 хотя бы крон. Каких-нибудь четыре месяца. Иначе я погиб. Я сижу теперь буквально без марки. Ужасно! Гонораров из газет хватает в лучшем случае на 2 недели в месяце. При самой скромной жизни. В Берлине виделся почти ежедневно с Липковской, и Лидия Яковл<евна> предложила мне в октябре устроить совместно с нею концерты в Па-

риже и Бессарабии, где она постоянно живет. Мне это весьма улыбается. Часто виделся с Юрьевской, Аксариной, Чириковым, Немировичем-Данченко, Гзовской, Гайдаровым и др.

Все они надавали мне своих портретов, книг, всячески обласкали, помогали и письмами, и денежно, и приемами скрашивали грустное. Морально я доволен поездкой. И даже очень. Но материально — тихий ужас.

Приветствую Вас, целую ручки.

Жена просит передать Вам сердечный поклон. Мы оба целуем Асю.

Ваш Игорь.

P. S. В довершение всех невзгод у меня появилась странная болезнь желудка. Возможно, что язва. Докторов здесь нет и денег на них тоже. Ну, посмотрим...

15

Toila, 5.X.[1925]

Дорогая Августа Дмитриевна!

Только теперь, когда уже алеют, лимонея, клены, когда мелкий дождь непогожей осени льется с неба, как слиянные слезы всех обездоленных и тоскующих, в маленькой избушке, куда мы на днях перебрались после лета, только теперь я нахожу в себе силы и не могу бороться с неодолимым желанием написать Вам, своему другу, первому человеку, кому вообще пишу за последние три месяца. Я много раз, не хотя никому, Вам хотел написать и столько же раз отказывал себе в этом, боясь огорчить Вас огорчительными сведениями о своей жизни, боясь омрачить Вас той неизбежной мрачностью, меня окружающею, где все, казалось бы, предназначено для восторгов жизни и радости ее восприятья, чья милая душе и сердцу русского природа говорит и напоминает о родной природе, чьи благостные озера исполнены нашей грустью — беспричинною и величавою, очищенною устремлениями нашего духа в надземное, грезами о всеобщем братстве народов, может быть, утопическими, но зато такими упоительными в своей — пусть тщетной! — вселенности.

Но что и как мог я писать Вам, когда ежедневно, почти ежечасно, я был поглощен все лето в мерзостные

расчеты денежные, в думы об ежедневном добывании буквально куска черного хлеба на свое пропитание и на пропитание болезненной и хрупкой жены с ребенком? Я не мог в достаточной мере насладиться божественным днем и не менее божественной земною ночью человеческой, данными нам на краткий срок нашего гощения на этой очаровательной, изумительно прекрасной все-таки планете. Встать утром, впивая его красоту до болезненности полно и остро, и не знать, как прожить зачинающийся дивный день, что есть, чтобы мочь ощущать последовательную красоту дневных часов и оранжевого повечерья — ведь это так обидно до слез, так нелепо и оскорбительно для поэта, о, дорогая моя! Тем более, что для поэта,— я подчеркиваю: для *поэта* именно, а не для писателя,— так действительно немного нужно, чтобы быть сытым и, следов<ательно>, безоблачным. На шведские деньги — всего одна крона на весь день с семьею! И как страшно, когда и ее нет, и неоткуда ее взять, тем более, что в столе много рукописей для издания, в горле — голоса для эстрады, в груди — вдохновения для творчества! И все тщетно, ибо ничего никому в это гнусное реалистическое время не нужно. Теперь, когда современная, с позволения сказать, цивилизация воздвигла вертикальную кроватку Shimmi и Fokstrott'а, есть ли людям надобность в чистой лирике и есть ли людям дело до лирических поэтов — как они живут, могут ли они вообще жить. Положение же мое ухудшилось за последнее время — все лето — по той причине, что ревельская газета «Последние Известия», дававшая мне прожиточный ежемес<ячный> минимум, просто-напросто умирает от худосочия и не в состоянии впредь давать мне даже тех грошей, на какие мы кое-как перебивались. Другие же эмигрантские газеты дают так мало, что хватает лишь на неделю в месяце, и это в лучшем случае. Никакими же полочными способами я заработать не могу, ибо болен теперь окончательно: постоянные головокружения от плохого питания, ночные изнурительные поты, хронический кашель, лихорадка и одышка после ведра — одного ведра! — воды.

Что же, сознаемся без страха: близка, очевидно, гибель, т. к. нет *никаких* доходов, в долг же брать не у кого. И без того должен всем и каждому, больше не у кого брать. Да, надвигается гибель. Вы прислали мне все, что могли,— я благодарю Вас, благодарю. Конечно, ес-

ли бы Вы могли посылать мне ежемесячно 20—30 крон, я был бы спасен. Но для Вас это трудно, и я не вправе просить их у Вас, ни пользоваться ими. Ревельская же местная русская колония настолько бессердечна, хотя и весьма денежна, что зимою еще уморила с голоду Крыжановскую-Речестер. Когда писательница умерла, у нее не было... рубашки, и для гроба дала рубашку эстонская крестьянка. Запомните этот случай: он характерен и весьма показателен.

Так вот, в результате я сижу в курной избушке,— часто без хлеба, на одном картофеле,— наступают холода, дров нет, нет и кредита, и пишу Вам. Я хочу сказать раз навсегда: не оттого я редко пишу Вам, что мне не хочется,— мне не хочется расстраивать Вас, не расстраивать же мне не удастся: я — поэт интимный, искренний, мне не удастся лгать и не хочется. Я и стихов-то полгода писать не могу. Спасибо Вам за все сердечное. Пишите иногда,— мне приятны Ваши письма. У меня же и на марку часто нет. Асю поцелуйте милого. И сама Вы — милая и хорошая для меня всегда. И знаете: такая нужда, а злобы нет ни к кому. Уж такова, видно, душа поэта. Жена Вам очень кланяется, благодарит за все доброе. Ручки Ваши целую.

Ваш Игорь.

16

Toila, 10.VII.1929 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Я только вчера вернулся из Luunja, где с 25.VI гостил на даче у Виснапу. Почты там вблизи нет (3 версты, а я целодневно сидел на Эмбахе и не мог оторваться от своей рыбы). Вот этим и объясняется запоздание этого письма, что очень обидно для меня, поверьте.

Время провели приятно, я ловил много окуней, подлещиков и ершей, ездили с «дорожкой», на которую попадались изрядные щуки. По Эмбаху большое движение: пароходы, баржи, лес, лодки, парусники. Много русских — причудских — рыбаков. Над рекой стоит русская речь, иногда весьма рискованная, и это несколько странно в европейской цивилизованной стране. Я как-то основательно отвык от этой «русскости» за эти 12 лет. Вообще в Причудье народ дик и темен, и эстам

приходится много прикладывать труда в борьбе с косностью края.

На днях в Юрьеве вышла моя новая книга «Поэму Эстонии» (переводы из 33 поэтов). Издатель прислал мне всего один экземпл<яр>, мотивируя дороговизной издания (1 доллар). Поэтому я лишен удовольствия выслать Вам книгу. Если пожелаете приобрести, адрес: Estland, Tartu, Jaani uul. 15, Vadim Bergmann.

Сейчас тороплюсь закончить письмо, т. к. меня ждут на озере. Надеюсь в будущем письме побеседовать с Вами подробнее. Фел<исса> Мих<айловна> просит передать Вам ее искренний привет, целую Ваши ручки.

Ваш Игорь.

17

Toila, 5.IV.1931 г.

Дорогая Августа Дмитриевна! Получил Ваши открытки. Рад, что все выяснилось. Итак, каждое пятое пишу Вам впредь. Да, мы с женой жалели, что, проезжая Берлин, не могли с Вами повидаться, но мы не были в городе, а просто пересели из поезда в поезд в Шарлоттенбурге. Ехали через Аахен, Ганновер, Кельн, Эссен. В Париже еще было тепло, шли все время дожди, а уж в Германии было много снега. Да, поездка наша была весьма длительной: с 21.X по 4.III. За это время дал концерт в Варшаве, три в Белграде, два в Париже, два в Дубровнике (Рагуза), два в Горажде. По одному в Суботице, Любляне, Сараево. Державная комиссия предложила мне дать вечера в женских инст<итутах> и кадетских корпусах. Таким образом, мы побывали в Горажде, Белой Церкви, Великой Кикинде и Новом Бечее. В Научном Инст<итуте> в Белграде, при Палате Академии Наук, я прочел две лекции: «Первая книга Фофанова» и «Эстляндские триолеты Сологуба» и свой роман в стихах «Lugne». Держ<авная> ком<иссия> приобрела у меня три книги моих стихов: «Классические розы» (1922—1930), «Медальоны» и «Lugne». Первая книга на днях выйдет в свет (я уже читал дней пять назад корректуру) и поступит всюду в продажу. Весною выйдут и другие.

Неделю провели мы на Адриатике. (У нас были бесплатные билеты 1 класса на три месяца по всей Юго-

славии). Жили в Рагузе на берегу моря. Чудесная вилла в саду. Апельсины, лимоны миндаль, розы, глицинии. И это 18—24 января. 28—30 на солнце, 15—16 в тени! В открытом авто совершили дивную поездку в Цетинье через Ерцеговни, Зеленику, Пераст, Каттаро. Перевалили хребет (1700 метров), видели близко Ловчен (2300). В Каттаро изнывали от тепла, через час, поднявшись по 28 серпантинам в гору, зябли от холода. Как красива Югославия! Я говорю о Боснии, Герцеговине и Далмации. Да и Монтенегро прелестно.

Когда из Любляны альпийским экспрессом ехали около восьми часов по Швейцарии, это нас уже оставляло холодными. Ни в какое сравнение Югославия идти не может. В ней все так величественно-примитивно, дико и потрясающе. 36 часов от Белграда до Рагузы поезд извивается в скалах над безднами. Более 300 тоннелей. Цвет рек изумительный: не малахит, не изумруд, не бирюза,— невыразимо-зеленый, ядовито, яростно! Как обозначить его точно? Нет слов, нет красок. Такова, напр<имер>, Дрина в Боснии. Поезд долго идет вдоль ее извилин. Между Вишеградом и Усти-Прача. Уже несколько стихотворений написал я в пути. Но, конечно, это почти невозможно передать.

Успех был всюду выдающийся, но доро́га (отэли, поезда и пр.) очень дорога́, так что материально мы пока что не разбогатели, но до окт<ября> кое-как продержимся и — снова в путь. Маршрут намечен следующий: Ковно, Берлин, Брюссель, Париж, Ницца, Югославия, Болгария, Румыния. В последних двух странах мы еще не были. Кроме того, не были в Сербии в Мариборе, Сомборе, Загребе, Нише, Скоплье и Новом Саду. Между тем, многие из этих городов звали дать вечера. Придется и повторить в некоторых, как, напр<имер>, Париж, Любляна, Сараево, Белград, Суботица, Горажда, Рагуза. В Ковно не был с 1921 г., в Берлине с 1925 г. Как Вы думаете относительно Берлина? Много ли сейчас русских, не отражается ли кризис на посещаемости театров и концертов? Если посоветуете, остановимся и дадим вечер, если нет — проедем мимо, повидавшись денек с Вами. Впрочем, до осени времени еще много, и неизвестно *многое*... В Париже встретили Ремизова, Тэффи, Оцупа, многих старых знакомых, в том числе Анаиду и Петра Костановых. У них и жили последние 10 дней. Сначала жили в Boubgne, на Denfert Rocherau, у леса Булонского, куда часто ходили гулять. Встреча-

лись там и с Юсуповыми, у которых бывали иногда. И они были у меня на концерте. Княгиня Ирина все еще очень интересна и красива, хотя 22.II было 17 лет, как она замужем. Милые, простые люди, очень любящие искусство вообще, мои стихи в частности. Петр Маркович все хворает, нервничает. Жаль его. И заработки скверные совсем.

А мы встречаем весну. 3 градуса в тени, и таянье дружное. С таким удовольствием пойдем, как только вскроется лед, на речку ловить лососек. Читать ничего не хочется, когда чувствуется весна, да и книг нет. Все, что привезли с собою, прочитано давно. На днях у нас был гость — директор Госуд<арственного> Завода инженер А. К. Эссен, наш друг с 1920 г. Провел два дня. Погуляли в парке у моря, почитали многих поэтов. А так мы месяцами никого не видим, да и не очень грустим об этом: зимою столько всегда вокруг людей в путешествии! В Белграде все дни были расписаны дней за 10—12 вперед. Принимали всюду воистину по-царски. В одном Белграде более 80 чел<овек> *хорошо* знакомых, а сколько мельком!

Итак, жду от Вас 15.IV письма. Сообщил Вам все новости. Теперь очередь за Вами. Фелисса Мих<айловна> и я Вам, Вашему мужу и Асе сердечные шлем приветы. Прошлой осенью послал Вам стихи для М<акария> Д<митриевича> «Ночь на Алтае». Получили ли? Целую Ваши ручки.

Всегда Ваш Игорь.

18

Toila, 5.IX.31 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, вот и еще одна осень в нашей жизни — желтеют и алеют листья, серые деньки, бури на море, холодный воздух по утрам. Гости наши все разъехались — и прив<ат>-доц<ент> из Юрьева, и маг<истр> фил<ософии> из Праги, и барышня из Гунгерб<урга>, и вдова художника из Ревеля, и еще одна дама из Юрьева, и супруги из Нарвы. Дня через два приедет один поляк из Варшавы — и вновь никого, если не считать Эссена, живущего тут же, так как расстояние в 16 килом<етров> для нас не более, чем горожанам окраина города. Между 1—15

окт<ября> мы, с Божией помощью уезжаем на заработки — в Югославию, Болгарию и Румынию. Возможны три маршрута: 1) Ревель — Рига — Варшава — Будапешт — Суботица — Белград. 2) Варшава — Вильна — Любляна — Белград. 3) Ревель — Рига — Ковно — Берлин — Брюссель — Париж — Любляна — Белград. Все будет зависеть от графини К<арузо> в Брюсселе и от одной дамы в Париже: если удастся там сорганизовать вечера, мы поедем через Берлин. И тогда уж, конечно, будем очень рады с Вами повидаться на денек, тем более, что в Берлине пересадка обязательная. Хорошо было бы и выступить где-либо попутно, хотя бы и в небольшом зале. Или даже где-либо в салоне у какой-нибудь меценатки, если такие еще не перевелись.

Книга моя на днях только вышла из печати, но я еще ни одного экз<емпляра> не получил. Как Вы живете? Что нового у Вас? Как Ася?

А пока, в ожидании скитаний, мы целодневно в парке, где удим форелей и окуней. В это лето я написал всего 4 стих<отворения> — необходимо дать отдых и сердцу, и мозгу. Фелисса Мих<айловна> и я шлем Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе наши искренние приветы. Нас очень тянет Далмация на Адриатике, где мы провели в январе неделю. Там, около Каттаро, в 18-ти от него кил<ометрах>, есть прелестный городок Ризан, где, возможно, мы поселимся недели на две, и я напишу стихи несколько иной тональности, ловя в бухте кефалей.

Ваш Игорь.

19

г. Казанлык, 5.XII.1931 г.

Дорогая Августа Дмитриевна! Пятое декабря застает нас в Болгарии, в городке, расположенном в знаменитой долине роз у подножья Балканских гор. Сегодня даем концерт. С 12.XI мы обретаемся в Болгарии, встречая повсеместно самый сердечный, самый воистину братский и восторженный прием. Дал в Софии два концерта, в Пловдиве два, один в Стара Загора. Отсюда едем в Сливен, Рущук, Тырново, Варну, Шумен, Плевну и Ловеч. Вернемся в Софию около 15.XII, где

предположен третий концерт. А потом, с Божией помощью, в Белград и дальше. 24—25.XI ездили с начальником культ<урного> отдела и его женой в автомобиле мин<истерства> нар<одного> просв<ещения> за 136 килом<етров> от столицы в тысячелетний мужской Рильский монастырь, расположенный среди отвесных гор со снежными вершинами на высоте более 1500 метров. Поездка оставила глубокое впечатление. В Софии встречаемся ежедневно с Массалитиновым, Краснопольской, Любовью Столицей, А. М. Федоровым, вдовой Нест<ора> Котляревского и мн<огими> дру<угими>. Болгарское общество приглашает на обеды и ужины, мин<истерство> оплачивает отэль. Все это очень мило и трогательно, но не менее утомительно. Часа нет свободного. С утра фотографы, интервью, редакторы, почитатели. А в провинции, во всех городах, ходят барабанщики, сзывают грохотом барабана толпу и громогласно объявляют,— просто кричат,— о моем концерте! Так что имя мое звучит повсюду, даже на перекрестках улиц. Нельзя сказать, чтобы мне это было приятно. Но что поделать: надо зарабатывать свой покой! Покой, заработанный шумом — какая ирония!..

Ф<елисса> М<ихайловна> и я шлем Вам и Ф<едору> Ф<едоровичу> наши искренние приветы. Целую Ваши ручки. Где-то будем 5 янв<аря>?

Всегда Ваш Игорь.

20

Toila, 5.X.1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

очень порадовались мы за Вас, что так удачно путешествовали этим летом, что Ася был с Вами и что его успехи радуют Вас. А помните, было время, когда Вы были сильно обеспокоены его судьбой. Но у каждого юноши бывает такая полоса, когда он временно слабо учится, с годами — иногда с месяцами — это проходит. Так и у Аси: кризис миновал и, уверен, впредь все пойдет благополучно. А мальчик он, видимо, способный, раз мог поступить в лучшее учебное заведение Стокгольма. Помогай ему Бог в его занятиях! Что касается нас с Фелиссой Михайловной, я могу Вам сообщить, что

в конце октября мы предполагаем отправиться в путь на всю зиму на заработки. Принимая во внимание, что в Югославии и Болгарии мы уже были, причем в первой два года подряд, на этот раз раньше всего мы хотим посетить Румынию, а оттуда, при благополучном стечении обстоятельств, возможно, вновь поедем в Югославию, на Адриатику, в Рагузу. Но пока это только мечты, тем более, что Мария Андреевна Сливинская писала мне на днях, что они с Александром Влад<имировичем> собираются уехать из Рагузы навсегда. Не мыслим себе пребывания в Далмации без их общества; это на редкость обаятельная чета. Если они уедут, мы, пожалуй, и не поедем туда вовсе. Но пока что они усиленно к себе приглашают. Однако нам больше смысла ехать сразу в Бессарабию, где столько русских и где, значит, можно так или иначе рассчитывать на заработок. Дела наши, как и каждую осень, слабы, мы заняты теперь выискиванием средств к движению. Но теперь достать деньги чрезвычайно затруднительно, благодаря милой мировой ситуации. И нужны-то гроши: каких-нибудь 50—60 долларов, но достать их нам, повторяю, не так-то просто. Я разослал уже по Европе 345 экз<емпляров> «Адриатики», отовсюду пишут об удачной продаже, но, к сожал<ению>, деньги переводить почти немыслимо. Эстония и отчасти Латвия целиком окупили мне стоимость издания, и я уже не в убытке, но прибыли пока нет, т. к. нельзя достать денег из-за границы. Поэтому я пошел на явный риск, прося всех знакомых, продающих любезно мои книжки, посылать деньги в простых письмах. Из Варшавы получил на днях таким способом 25 злотых. Теперь жду из Югославии, Болгарии, Литвы и друг<их> мест. Вот и Вы, дорогой друг мой, если Вам посчастливилось продать несколько экз<емпляров>, не откажите в любезности послать до нашего отъезда немецкие марки в *простом* письме: перед отъездом, сами знаете, каждый грош имеет громадное значение. Но лучше всего послать одной аккредитивой, при том не очень новой, дабы избежать хруста, свойственного всем ассигнациям. Впрочем, м<ожет> б<ыть>, Вы найдете какой-нибудь другой способ пересылки? Если же нет, рискуйте, прошу Вас, тем или другим способом. О получении немедленно извещу. Самое позднее, конечно, около 15—20 окт<ября>, т. к. после 20-го мы думаем сразу же уезжать. С пути и из Румынии я буду писать Вам

обязательно, и, если к январю-февралю попадем в Рагузу, м<ожет> б<ыть>, и Вы с Фед<ором> Фед<оровичем> проедете туда? Это было бы упоительно! Все наши гости уже разъехались. На днях уехала от нас жена поэта Виснапу, пробывшая две недели, а вчера уехала в городок Иеве (в 12 кил<ометрах> от нас) и missis Brathwaite, проведшая у нас 2 1/2 мес<яца>. Она будет теперь давать в Иеве уроки итал<ьянского> языка. Имеет их уже 7. По субботам будет приходить к нам. Жаль, что это продлится недолго, т. к. мы вскоре уезжаем. Ей будет скучно среди чужих. Осень с каждым днем все больше и больше вступает в свои права: листья желтеют и алеют, море бурно, в саду астры и георгины, но еще много солнца и очень тепло. Иногда я хожу ловить окуней и щук за 6 кил<ометров> в леса к Иеве — я очень люблю прогулки пешком, и мне было приятно узнать из письма Вашего, что и Вы с Фед<ором> Фед<оровичем> совершали легко и бодро большие «проходы», а еще лучше по старинке: «переходы»... Мы с Фелиссой Мих<айловной> теперь много читаем. «Атлантида» и «Иисус Неизвестный» Мережковского, «Отчий дом» Чирикова, несколько книг Ремизова, Зайцева, Бунина и «Трагедия адм<ирала> Колчака» в 5 т<омах> Мельгунова. Но все это не то, что хотелось бы прочесть и чего нет под рукой. По обыкновению!.. Я целую Ваши ручки. Сердечный привет Вам и Фед<ору> Фед<оровичу>.

Эссен приветствует и благодарит за память. На днях мы виделись тут с ним, и я передал ему привет от Фед<ора> Фед<оровича>.

Неизменно Ваш всегда Игорь.

P. S. Когда будете писать Асе, скажите ему, что я вспоминаю его и приветствую.

21

28.VI.1933 г. Замок «Храстовац». Словения.

Дорогая Августа Дмитриевна! Сегодня ровно неделя, как мы приехали сюда, в старинный (600 л<ет>) замок в 120 комн<ат> гр<афини> Герберштейн, чтобы провести здесь несколько недель при русской

школе. От Марибора (Марбурга) 18 кил<ометров> автобусом, от Вены четыре часа в поезде, от Белграда 12 ч<асов> езды в скором. Легкий горный воздух, прекрасный стол. Вокруг поля, буковые леса, река, горы. Вдали синеют Альпы. В Румынии мы провели два месяца, из них три дня в Аккермане и четыре в Бухаресте. Остальное время ушло на Кишинев, где я дал три концерта. Месяц прожили в Белграде, три дня в Дубровнике и восемь в Сараеве. Сборы везде хорошие, но денег не остается никогда: слишком низкие цены на билеты, все поэтому уходит на отэли и поезда. В Тойле растет с каждым месяцем долг по содержанию Вакха. Домой возвращаться без определенных результатов мы не можем. Не знаем, как все устроится, пока же живем здесь, по предл<ожению> Держ<авной> Комиссии, для отдыха, в котором и Ф<елисса> М<ихайловна>, и я сильно нуждаемся: не забудьте, что мы уже четыре месяца скитаемся, а при теперешних условиях это очень ведь утомительно. Ф<елисса> М<ихайловна> так измучилась и устала, что большую часть дня проводит в постели. В сумерки идет на прогулку в лес. Есть здесь и речка, где мы иногда ловим рыбу. Письмо Ваше на Кишинев получил своевременно,— благодарю Вас. Но с тех пор я вообще никому не писал, был слишком озабочен и омрачен. Только теперь принимаюсь за письменную работу. Напишите нам сюда, что Вы поделываете, где думаете провести лето. Нас с Вами разделяет одна лишь Австрия. Хорошо было бы, если бы Вы с Фед<ором> Фед<оровичем> приехали в пограничный Марибор с нами повидаться, вместе погулять и побеседовать. Это прелестный город, очень благоустроенный. Автобус ходит из него к нам и обратно трижды в день. Жду Вашего письма поскорее. Ф<елисса> М<ихайловна> и я сердечно Вас, Фед<ора> Фед<оровича> и Асю приветствуем. Целую Ваши ручки. В Мариборе мы были уже в 1931 г. и имеем знакомых, кот<орые> приглашают к себе и собираются к нам. Я давал там вечер. От Любляны (Лайбах) часа два езды. От нас близко и Триест, и Фиуме. Пятое мая?.. В этот день мы покинули Кишинев. А пятого июня были в Дубровнике. Побывали и в Бургасе на Черном море (в 4 часах от Одессы!).

Ваш неизменно Игорь.

22

Белград, 15.XII.1933 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,
с 18 ноября живем здесь. Прочел одну лекцию и дал концерт. Были пущены в ход оба раза приставные стулья и многие стояли. Но цены до смешного низкие: от 20 до 5 дин<аров>. Ежедневно десятки визитеров, интервьюеров, фотографов и пр. Почти всегда у кого-нибудь обедаем и ужинаем. Одна почитательница даже ананасы в шампанском на десерт устроила!.. Были на «Онегине» и «Вертере». Ни мига свободного. Пишу в пальто: идем на вернисаж выставки А. Ганзена. Часто-часто Вас вспоминаю. Целую ручки. Вскоре пришлю адрес. Фелисса Мих<айловна> и я приветствуем Вас и Фед<ора> Фед<оровича>.

Ваш Игорь.

Завтра покидаем Югославию. В Сараево были 15 дней.

23

Кишинев, 19.I.1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,
редакция «Золотого Петушка» очень просит Вас не отказать в любезности посодействовать распространению среди Ваших знакомых первого номера нашего журнала. Со своей стороны полагаю, что почетную попытку молодого энтузиаста Леонида Евицкого стоит всячески поощрить и поддержать: это ведь героизм — в наше трудное и неблагодарное время пробовать организовать вестник Чистого искусства! Если Вы возьмете на себя труд по распространению и Вам удастся распродать экземпляры, деньги соблаговолите перевести на имя Леонида Григорьевича: Leonid Evitski. Str. Dm. Kantemir, 10 «A». Chisinau. Basarabia. Roumanie. На его же имя пишите письма и мне. 2-го ноября мы уехали из замка Hrastovac в Sarajevo, где пробыли, как я Вам писал оттуда, две недели. Затем мы проехали в Белград на три недели. Прочел лекцию и дал вечер, а также читал по радио. Вечера прошли с аншлагом. В Софии пробыли 27 дней. Дал там четыре вечера.

Сутки провели в Бухаресте. Обедали у Л. Я. Липковской, ужинали с Е. И. Арцыбашевой. Сюда приехали 5 янв<аря>. Наняли особняк в одну большую теплую комнату. В центре города. Пробудем до весны.

При редакции открываются курсы версификации, и я приглашен преподавателем. Думаю, кроме того, объездить всю Бессарабию, читая лекции о русской и эстонской поэзии и устраивая вечера своих стихов.

Как только устроюсь, напишу Вам более подробно и детально. Пока же у нас страшная горячка: журнал только что вышел, и мы заняты рассылкой его по всем центрам Европы и Америки. М<ожет> б<ыть>, наладите нам какую-нибудь связь с русскими книжными магазинами Берлина? Будем крайне обязаны. Мы не знаем, к кому в Берлине можно обратиться. Знаю только, что Вы — мой испытанный друг, и верю, что охотно пойдете встречно. В Кишиневе журнал пошел очень успешно. Расходы большие, средства ограниченные. Надо во что бы то ни стало поставить его на ноги. Фелисса Мих<айловна> и я шлем сердечные наши приветы Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе. Целую Ваши ручки. Ежедневно Вас вспоминаем. Напишите поскорее. Теперь уже переписка наладится, т. к. будем сидеть на одном месте.

Ваш неизменно Игорь.

24

Кишинев, 5.III.1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

искренне спасибо за Ваше исчерпывающее вопрос продажи в Берлине письмо от 14.II и за обычное — всегда милое сердцу! — от 15.II. Сегодня ровно два месяца, как мы здесь. За это время я дал (24.II) один закрытый вечер. Второй предположен около 15.III. 9.III состоится второй вечер в Бухаресте, куда мы поедем на два дня, и снова сюда, вероятно, вернемся. Во всяком случае, жду Вашего письма на Стодульского. Срок нашей визы кончается 3.IV. Здесь снег почти весь растаял, часто стоят солнечные дни, но бывают и морозы. Ежедневно у нас собирается по несколько человек: читаем, беседуем. С курсами ничего не вышло: для турнэ по стране нет ни импрессарио, ни средств. Журнал может

быть выйдет, а м<ожет> б<ыть> и нет, т. к. Евицкий ухлопал много денег на первый номер (27 т<ысяч> лей!), а вернул пока около трех!.. А денег у него вообще нет. Но возможно все же, что найдет соиздателя. Все это, конечно, очень грустно и даже безнадежно, т. к. дома нас не ждут никакие заработки. 1.III исполнился год, как мы выехали из дома, и до сих пор едва концы с концами сводим, и часто не знаем, как проживем завтрашний день. Из Софии мне пишут о скоропост<ижной> кончине Любови Столицы. Было ей 53 года, и она была веселая и цветущая женщина. Мы часто встречались с ней у Массалитиновых и Разгоневых и бывали у них в доме. В день смерти она принимала участие в литер<атурном> вечере, сама играла в своей пьесе, много танцевала и через 15 минут, по возвращении домой, умерла. Это производит тяжкое впечатление на недавно ее видевших. Умерла и А. Н. Игнатовская, у которой мы часто бывали в Белграде. Ее муж — известный профессор, имеет клинику. 6.XII я был у них, она была немного больна, а 7-го, на другой день после нашего отъезда в Софию, скончалась (нарыв в желудке, о котором еще накануне не подозревали врачи и муж). Письмо мое, как видите, не из веселых, таково время, видимо. Фелисса Мих<айловна> и я шлем Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе приветы искренние. Я рад, что у Вас все, слава Богу, благополучно, что Вы довольны своей жизнью, рад, что у Аси хорошие друзья. Мои «Медальоны» вышли в свет. В настоящее время получены здесь и поступили в цензуру. Когда освободятся, вышлю Вам. Целую Ваши ручки.

Ваш Игорь.

25

Toila, 5.VII.1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, 12-го июня мы, наконец-то, вернулись на милый север, пробыв в отсутствии 1 год, 3 месяца и 12 дней. 7 месяцев пробыли в Югославии, 1 месяц в Болгарии и 7 месяцев (2 в 1933 и 5 в 1934) в Румынии. Поездка не дала в мат<ериальном> отношении ровно ничего: все заработки сразу же улетучивались. В Кишиневе всего прожили полгода и месяц в Бухаресте. Всего везде дал 20 концертов и лекций. По-

следний был 2-го июня, с участием Л. Я. Липковской в Бухаресте. Мне так грустно, что переписка наша опять временно прервалась, но на это были веские причины: меня закружил «проклятый» (по Пушкину) Кишинев, и в его обольщениях я (буквально) чуть не сложил головы... Чудом спасенный, с радостью и упоением вернулся домой. Пробудем до осени, а там опять в скитания. Что делать — таков удел горестный лирического поэта! Куда? И сами еще не знаем. М<ожет> б<ыть>, в Париж и Брюссель, м<ожет> б<ыть> — в Грецию и Турцию. А у нас снова уже гости. Приезжала из Ревеля Грациэлла с подругой-англич<анкой>, только что прибывшей из Лондона, приезжал на гоночном велосипеде из Ревеля (220 кил<ометров>) молодой баритон-поэт, приезжал с озера Uljaste наш хозяин с детьми, а на днях ждем из Юрьева эст<онского> поэта Вильмара Адамса. № 2 «Золотого петушка» печатается в Бухаресте и вскоре выйдет в свет. Цена та же, но в нем более 60 страниц и масса иллюстраций. Издание перенесено в столицу и половина текста идет по-французски. Дай Бог успеха Евицкому и его детищу! Его любовь к искусству положительно трогательна.

Когда мы ехали со станции в белую холодную ночь, в лесу в открытом экипаже было очень холодно (9 град<усов>), и Ф<елисса> М<ихайловна> получила ангину. Неделю пришлось пролежать и вызвать врача. Вакх собирает теперь марки, и, если у Вас имеются какие-либо, пришлите, пожалуйста: будет крайне признателен. В Бухаресте 800 т<ысяч> жителей, и город этот элегантен и параден. У нас там появилось много интереснейших знакомых. Мой роман в сент<ябре> будет печататься именно там. А «Медальоны», выш<едшие> в свет в феврале в Белграде, почти уже все распроданы. Имеется ли у Вас экземпляр? Напишите, как проводите лето, о своих планах и самочувствии. Целую Ваши ручки. Сердечный привет от Фел<иссы> Мих<айловны> и меня Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе. Наша Toila очаровательна!

Ваш Игорь.

26

Toila, 1.II.1935 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, пишу Вам в день своего тридцатилетнего юбилея. Статьи в газетах некоторых уже появились. Общ<ественные> организации устраивают в середине месяца мой концерт и банкет в Ревеле. Да, как видите, постарел я. Одно утешенье, что дебютировал семнадцати лет... На этих днях (25.I) послал Вам 10 экз<емпляров> новой книги в надежде, что не откажете в любезности ее распространить: мы ведь живем исключительно этими изданиями. Ольга Леонт<ьевна> Мими издала роман на свой счет, оставив себе на покрытие расходов 200 экз<емпляров>, а мне прислала 800. Любезность, конечно, редкостная. И еще большая сердечность, не правда ли? Ей 29 лет, золотая красавица, поэтесса, жена директора банка. Пишет часто то из Констанцы, то из Синаии, то откуда-то из Трансильвании: вечно путешествует. В Бухаресте они нас заласкали и катали в авто всюду. В особенности дивные поездки по шоссе, построенному русским генералом Киселевым: десятки километров «стрелы»! И уютные рестораны над озерами. Недавно был в Ревеле, где провел три с половиной дня. Вернулся вместе с редактором «Вестей дня» Шульцем. Он погостил у нас два дня. Приезжал и беллетр<ист> из Нарвы — Волгин. Они взяли у меня сведения и фотографии. Вчера одна из них и статья Пильского появилась уже в «Сегодня». Думается, роман можно продавать по одной марке. Деньги можно послать почтовыми купонами. Кстати: и Вакх, и мы сердечно тронуты Вашим «шоколадом» и приносим искреннюю свою благодарность. Вы такая всегда милая, Августа Дмитриевна, право. Спасибо Вам за все. Приехал ли уже Ася?

Сейчас приехал опять Шульц из Ревеля, а через 1/2 часа из имения в 12 кил<ометрах> «Онтика» наш сосед-помещик флаг-капитан адм<ирала> Рожеств<енского> в Цусимском бою на «Князе Суворове» капит<ан> 1-го ранга Конст<антин> Конст<антинович> Клапье-де-Колонг. Ему 76 лет, и дворец его на побережье славится на весь округ: громадный дом Николаевской эпохи. Мы все страшно тронуты его вниманием, тем более, что вьюга и мороз. Вскоре садимся обедать. Спешу послать эту открытку. Целую Ваши

ручки. Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе Фелисса Мих<айловна> и я шлем искренние свои приветы, как и Вам.

Всегда Ваш Игорь.

27

Toila, 30.IV.1937 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

не осуждайте меня, пожалуйста, за мое, столь длительное, молчание: за эти годы я *вообще* никому не писал, и да послужит это обстоятельство мне в оправдание. Нечеловеческих, воистину титанических усилий стоит существовать, т. е. получать *хлеб и одежду*, за последнее время зарубежному поэту. Ни о каких заграничных поездках не может быть и речи: при громадных затратах денег, нервов и энергии они *вовсе* не оправдываются. Не может быть речи и о творчестве: больше года *ничего* не создал: не для кого, это во-первых, а во-вторых — душа петь перестала, вконец умученная заботами и дрязгами дня. Живу случайными *дарами* добрых знакомых Белграда и Бухареста. Конечно, все это капля в море, но без этой «капли» и жить нельзя было бы. И всегда хронически ежемесячно не хватает, т. к. самая убогая даже жизнь стоит денег, а их, увы, очень немного присылают. Фелисса Михайл<овна> получила, год проработавши на заводе, злокачественное воспаление почек, и вот уже больше года нигде не работает, предоставленная целиком — можете себе представить это? — *моим* беспомощным о ней заботам. А откуда же мне-то взять и на ее прожитие, и на образование Вакха, и на собственную жизнь?! Вакх учится в Ревеле в ремесленной школе, и только чудом Господним можно объяснить, что откуда-то достаются гроши на все это. Но как все это трудно и тяжко! Через 4 года, если я сумею продержаться, он окончит училище с дипломом заводского мастера и сразу же встанет на ноги: 50 долларов в месяц обеспечены! Но каково *это* время пережить! Как-то Вы, Федор Фед<орович> и Ася поживаете? Не перестаю никогда думать о всех вас. Самые лучшие чувства с вами. Напишите нам о себе, пожалуйста. Ф<елисса> М<ихайловна> очень просит Вас поискать у букинистов книгу В. Брюсова «Последние меч-

ты» (советск<ое> издание), Ахматовой «Anno domini» и мою «Тост безответный». Если бы нам удалось найти их: ведь все же, перестав творить, мы не перестали, как это ни странно, боготворить поэзию. Деревня — вот единственное, что дает силы еще жить. К сожалению, месяцами мне приходится проводить в Ревеле, где я всю зиму продавал даже незнакомым свою новую книгу, беря цену по желанию покупателей. Это немного поддерживало.

16-го мая исполняется 50 лет со дня моего рождения. Грустная дата... Если бы от<ец> Сергий Положенский и Вы могли бы собрать какую-нибудь сумму среди знакомых для меня, сына и Ф<елиссы> М<ихайловны>, мы были бы так светло Вам признательны, всегда дорогая Августа Дмитриевна! Неужели никто не поможет гибнущему поэту в уже погибшем мире? Есть же люди, хочется верить! Наш сердечный и теплый привет Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе. И Серг<ею> Серг<еевичу>. И его помним и любим постоянно. Целую Ваши ручки.

Всегда, всегда Ваш Игорь.





ПИСЬМА К СОФЬЕ КАРУЗО

1

Париж, 25.II.1931.

Светлая София Ивановна!

Только вчера мне удалось получить Ваше письмо. Я искренне рад, что Вы спаслись, что Вы живы. Я часто за эти годы вспоминал Вас, мне очень хотелось Вас найти.

Теперь я еду домой, к себе в Эстонию, где живу в приморской глуши, между Везенбергом и Нарвой, с янв<аря> 1918 г<ода>, лишь изредка выезжая в Финляндию, Германию, Польшу и др<угие> края.

Я живу в прелестной местности на берегу залива и впадающей в него горной форелевой речки, в сосновом лесу, изобилующем озерами.

9 килом<етров> до ближайшей станции, 45 до Нарвы, 43 до Гунгербурга, 220 до Ревеля.

Впрочем, я напишу Вам, вернувшись домой, обо всем подробно. Надеюсь, и Вы расскажете мне побольше о себе, обо всех этих годах ужаса.

К сожалению, я не еду сейчас в Брюссель: идет пятый месяц, как я путешествую, наступает весна,— меня влечет природа моего севера. Но осенью я поеду в Болгарию и вновь в Югославию и тогда обязательно дам вечер в Брюсселе, чтобы повидаться с Вами.

Еще прошлым летом я писал о Вас стихи. Целую Ваши ручки, Господь с Вами. Ярко рад был узнать, что Вы живы!

Душевно к Вам окрыленный

Игорь.

P. S. Уезжаю из Парижа 28.II и буду дома 5.III.

2

Toila, 12.VI.1931.

Светлая София Ивановна! Сажусь писать Вам, предварительно распахнув окно в сад, напоенный цветущей сиренью. У Вас уже давно отцвела, у нас в полном расцвете. Вот вишни и яблони уже отцветают, как и рябина. В лесах позванивают бубенчики ландышей, на скалах шелковеют японские анемоны, так что Фелисса Мих<айловна> положительно не знает, что раньше собрать. Весь дом наш утопает в цветах. Все канавки полны незабудок и золотой купальницы. На клумбах готовятся к расцвету душистый горошек, левкои, резеда, цветут «Иван да Марья». Весна кончается. Сорок четвертая в моей жизни, двадцать девятая в жизни моей жены. В природе настает лето, в моей жизни — осень, поздняя осень, предзимье. Не знаю, как-то плохо все это чувствуется. Разве — иногда, минутами. А так бодрости и оживления хоть отбавляй! Молода душа, живуча, несмотря ни на какие невзгоды. И часто такое «выкидываешь», что потом сам изумляешься: уж очень это несовместимо с амплуа «монаха зеленого монастыря»... Правда, это случается редко и, чем дальше, тем все реже, но все же и теперь, два-три раза в год, на меня что-то находит. Тогда я бегу куда-нибудь в леса, на озера или в Гунгербург (ближайший курорт). После «встряски» делаюсь еще спокойнее и мудрее, и примитив жизни становится еще дороже, еще ценнее и прекраснее. Да, человеку необходимы контрасты, и с этим ничего не поделаешь. Но Ф<елисса> М<ихайловна> — враг всяких «срывов» и весьма болезненно на них реагирует. Чтобы ее не огорчать (я очень дорожу ее спокойствием), я все реже и реже «уединяюсь». Дома мы ведем очень нормальный образ жизни, а вино, на-

пример, даже и на стол никогда не подается: Ф<елисса> М<ихайловна> его не признает абсолютно. Исключенья не делаются даже и для пьющих гостей: «в чужой монастырь» и т<ак> д<алее>. Я совершенно согласен с нею в этом отношении и признателен за ее заботы о моем здоровьи, т<ак> к<ак> частое питье мне чрезвычайно вредно. Как, впрочем, и большинству людей. Но ведь это же аксиома. Но все-таки иногда я «схожу с ума»!.. Я человек большой веротерпимости, и меня нисколько не удивили Ваши «городские» вкусы. И я придерживаюсь того же взгляда, что люди должны быть, по возможности, разнообразнее. Я люблю Вагнера, но люблю и Россини, и Грига. Люблю Гумилева и одновременно Гиппиус. Нахожу ценное в Лохвицкой, но не отвергаю и Ахматовой. И разве это не ясно? Но жить постоянно в городе, повторяю, не мог бы: слишком многое открылось мне в природе, она меня успокаивает, вдохновляет, отвлекает от мишуры и того отвратительного — весьма разнообразного,— что является неотъемлемой принадлежностью только города, т<о> е<сть> места чрезмерного скопленья людей. Я люблю людей, мне интересных, все же остальные действуют на меня, в лучшем случае, удручающе. Вы говорите, что я религиозный человек. На мой взгляд, да, хотя я в церкви почти никогда не бываю и молюсь, большей частью, дома. Но и молитвы мои не только общепринятые,— я часто молюсь стихами. Я всегда чувствую крепкую связь с Подсознательным, с Высшим, и в этом никто, ничто не может меня разубедить. Я стараюсь не причинять боли людям близким да и вообще. Вы пишете, Игорь не любит модных танцев. Они и мне совсем не нравятся, тем более, что последнее время это стало каким-то психозом и очень отвлекает людей от искусства, а я, как представитель его, не могу, конечно, этому радоваться. Я очень рад, что Ваш муж такой достойный и хороший человек, что поддерживает Вас и помогает в трудностях жизни. Одной Вам было бы неизмеримо хуже переносить все невзгоды. Эмигрантскую литературу я почти не вижу: книги очень дороги, но все же иногда приходится познакомиться то с той, то с другой. Эренбурга почти не читал. Хорошая книга — «Грамматика любви» Бунина, «Оля» Ремизова. Советских читаю больше. Нравится мне П. Романов, Катаев, Лавренев, Шишков, Леонов. Гладкова не читал. Пильняка знаю ограниченно. Есенина лично не знал. Творчество

его нахожу слабым, беспомощным. Одаренье было. Терпеть не могу Есенина, никогда книг в руки не беру после неоднократных попыток вчитаться. Он несомненно раздут. Убийственны вкусы публики! Да и в моих книгах выискивалось всегда самое неудачное. Все «тонкости» проходили — и проходят — незамеченными. Нравится ли Вам Гумилев, Гиппиус, Бунин, Брюсов, Сологуб — как поэты? Это мои любимейшие. Не знаю, писал ли я Вам, что, в сотрудничестве с женою, перевел «Антологию эстонской поэзии за сто лет»? Книга вышла в 1928 г<оду> в Юрьеве. Но теперь такие милые порядки, что я не получил ни одного экз<емпляра>, хотя автору полагается, по крайней мере, от 10 до 25 экз<емпляров>. Жена купила мне нашу книгу!.. Вы слышали что-либо подобное? А «Классические розы» все еще печатаются... Это уже похоже на анекдот: с января! В ночь на Ивана-Купала,— это уже вскоре,— у нас ежегодно устраивается народное празднество: на лужайке над морем, на высоте 50 метров, жгут костры, играет духовой оркестр, составляемый из рыбаков, молодежь танцует модные и старые танцы. Местные девушки и женщины одеваются в праздники по-городскому и строго придерживаются моды, да и кавалеры от них не отстают в этом отношении. Вообще, надо сознаться, далеко нашему крестьянину до эстонского. Все выписывают газеты, покупают журналы, дома содержат в поразительной чистоте, многие играют на пианино Сибелиуса, Листа, Бетховена, едят превосходно и вкусно, устраивают часто любительские спектакли, играя подчас даже Шиллера, обязательно ходят на лекции приезжающих из городов докладчиков, знают и чтут своих писателей, поэтов и художников, по праздникам посещают церковь (они лютеране). Народ трудолюбивый, честный, сдержанный, упорный, приветливый. Во всяком случае, более приветливый, чем финны, родственные ему, как и венгры. Страна преимущественно земледельческая, мелкособственническая. Коммунизм имеет успех лишь у безземельных крестьян и у городских рабочих, как, впрочем, и везде. Даже в армии, кстати сказать небольшой, но устроенной по последнему слову техники, солдаты живут по-человечески, у каждого свой прибор, перед обедом должны мыть руки, и традиционный русский траур ногтей здесь строго преследуется. Полное перепроизводство высшего образования, так что даже

многие урядники окончили университет! Сильно развито автомобильное сообщение,— дороги все время ремонтируются и поддерживаются,— и экскурсии учащихся, весьма здесь распространенные, пользуются автокарами, автобусами и просто приспособленными для этой цели грузовиками. А о дешевизне можете судить хотя бы по тому, пансион (полный, с постельным бельем) на лучшей даче в дивном парке стоит 70 эст<онских> крон в месяц, т<о> е<сть>, 19 долларов с человека! Мы же проживаем все вместе — жена, я и содержание Вакха у бабушки — 15—16 долларов в месяц. И, благодарение Богу, с голода не умираем. Где можно найти такую дешевую страну? Эстония и Латвия. Меня очень интересует Ваша девическая фамилия. И, вообще, если бы Вы написали мне подробнее о своем детстве и юности, Вы доставили бы мне большое удовольствие. Вот Вы равнодушны к природе, но все же, вероятно, грустите иногда о своем именьи? В какой губернии было оно, в каком уезде? Была ли река, парк? Напишите мне, дорогая София Ивановна. Кто из родных и родственников остался у Вас в России? Из какой национальности Ал<ександр> Гр<игорьевич>? Жизнь человеческая часто интереснее самой увлекательной книги, тем более жизнь человека, который тебя интересует. Иногда по маленьким штрихам каким-нибудь восстанавливается главное и значительное.

Вскоре я жду к себе из Праги своего давнишнего приятеля — эст<онского> видного поэта и магистра философии Вильмара Адамса, и тогда мы с ним предпримем прогулку в Пюхтицкий монастырь, расположенный в озерном лесу, в 35 верстах от нас. Адамс пробудет, как пишет, у нас около месяца. Это очень талантливый и милый человек, идеально знающий русский язык и русскую литературу, хотя его специальность — скандинавская. Одни гости на днях уже уехали от нас, вскоре приедет жена другого эст<онского> поэта — самого модного — из Юрьева. Но она в последнем градусе чахотки, эта обреченная, чуткая, изумительно красивая женщина. «Я приеду, если жизнь моя не облетит вместе с лепестками яблони», как недавно писала она мне. Фелисса Мих<айловна> шлет Вам искренний привет. Нежно целую ручки Ваши, ярко вижу Харьков.

Игорь.

3

Toila, 17.IX.1931 г.

Светлая София Ивановна!

Пишу Вам в день Вашего Ангела — приветствую Вас! Ваше письмо я получил на днях. Благодарю за хлопоты и советы. Пока не получил письма из Парижа и Берлина, подожду писать в «Баян». Относительно Югославии имею уже два предложения: из Белграда и Любляны (по два вечера). Если Париж отпадает, поедем на Варшаву — Вену — Любляну и, значит, в эту осень с Вами не удастся повидаться, что для меня крайне досадно. Ваши карточки я своевременно получил,— неужели же я забыл поблагодарить Вас тогда же? Простите мою рассеянность, пожалуйста. Одна из этих фотографий живо напомнила мне Вас в харьковский период — догадайтесь, какая?.. То, что и Вы, и А<лександр> Г<ригорьевич> лишаетесь в ближайшее время работы, положительно страшно в наше время, но я твердо знаю, что вам обоим удастся что-нибудь найти,— я так чувствую. Надо только верить в светлое, и оно будет непременно: беда властна исключительно при сомнениях. Сама жизнь в наших руках: «Жизнь в нашей власти»... «Смерть — малодушие твое»... Мы с женою хотели бы, чтобы Игорь приехал на будущее лето к нам. Нам хотелось бы лично с ним познакомиться, просмотреть его, познать. Этот приезд не был бы ни в каком отношении лишним, ненужным. Но только, как знать, что будет с нами и со всей Европой через год? Эта безработица, эти крахи, эти взрывы поездов — симптомы угрозные. «Коммунизму» и «капитализму» — этим двум понятиям, этим двум мироощущениям — никогда не ужиться вместе. Их столкновение — ужасающе-страшное — в конце концов совершенно неизбежно, и у меня нет ни малейшей уверенности в победе капитала. Собственно говоря, жестоки и бессердечны обе системы, и я не приверженец ни одной из них. Остается надеяться лишь на то обстоятельство, что коммунизм в Европе выразится в более культурной и терпимой форме, нежели там, на востоке... Но сперва будет и в Европе отталкивающе, это ясно, и пережить это время не так-то просто и легко. Сколько будет невинных жертв, недоразумений всяческих и недоумений. Я — индивидуалист, и для меня тем отчаяннее все это.

Затем я никогда не примирюсь с отрицанием религии, с ее преследованиями и гонениями. Но не скрою, много правды и у «коллектива». Как все это сочетать, сгармонировать — вот вопрос.

Разрушение Храма Христа Спасителя производит на меня отвратительное впечатление. Я все время жду чуда, которое потрясло бы русский народ, заставило бы его очнуться. Но священники, в своей массе, сделали, кажется, в свое время, все от себя зависящее, чтобы поколебать народную веру... И вот теперь результаты. Все это так тоскливо и безнадежно, что даже говорить подробно об этом не хочется...

Вчера от нас уехал последний гость — молодой поэт из Варшавы. Он пробыл у нас неделю, и совершенно очаровался здешней природой. Славный мальчуган, но круглая бездарность. Как и большинство русской поэтической молодежи, впрочем. Все эти «Числа», «Соврем<енные> записки» — сплошное убожество в смысле поэзии. А какой апломб! Какая наглость! Какая беззастенчивость! Иногда меня эти «поэты» положительно возмущают. И как непоправимо они бездарны!.. На днях я получил из Белграда от Палаты Академии Наук целый ворох книг — все издания «Русской библиотеки». Сюда вошли и Куприн, и Шмелев, и Бунин, и Мережковский, и Гиппиус, и Лазаревский, и Зайцев, и др<угие>, и др<угие>. Я очень тронут этой любезностью. Теперь мы на много недель обеспечены чтением. Только когда же читать, если уедем? Впрочем, несколько книг я уже успел прочесть, так, напр<имер>, «Синюю книгу» Гиппиус (дневник дней революции). Нахожу ее взгляд совершенно правильным. Всецело к ней присоединяюсь. Вы читали? Прочтите непременно. А какая тонкая и прелестная книга Тэффи — «Книга июнь». Это бесспорно лучшая из ее книг. В ней столько своеобразной, глубокой и верной лирики. Да и стихи Тэффи иногда очаровательны: недаром она сестра своей Сестры — Мирры Лохвицкой. У нас стало уже заметно холоднее, желтеют слегка деревья, воздух прозрачнее с каждым днем, на море часто штормы. Я так люблю северную осень и так рад, что начало ее еще застану на севере. Не понятно Вам все это, к сожалению. Вот и стихи мои в «Числах» Вам не нравятся, а, между тем, это одни из лучших моих стихов последнего времени. А мне кажется, непонимание Вами природы, неуменье проникнуться ею у Вас происхо-

дит оттого, что Вы бывали в ней не в той среде, в какой было бы нужно. Не может быть, чтобы в Вас не жило к ней предрасположения. Это дремлет в каждом человеке. Нужно уметь только пробудить. А для этого необходима соответствующая обстановка, чувствования,— мало ли еще что.

Целую ручки Ваши, любящие перелистывать иногда томики стихов, нежно думаю о Вас, от всего сердца поэта желаю Вам радости и блага, почти болезненно хочу порой видеть Вас — существующую и мечтанную, угадываемую, но и «городскую», т<о> е<сть>, такую, какая Вы сейчас, со всеми Вашими срывами, болезненными изломами, как Вы сами говорите, столь близкими мне, «здоровому»!..

Ваш Игорь.

P. S. Искренний привет от Фелиссы Михайл<овны>.

4

Toila, /июль 1932 г./

Дорогая София Ивановна,
вот уже и опять половина лета прожита, вот уже и опять дни стали короче, а ночи длиннее и темнее. Отцвели яблони, сирень и сливы. В полях скрипят коростели. Соловьи еще, правда, слышны, но пенье их не так уж нетерпеливо-страстно. Пропала нежная зелснизна зелени. Вскоре сенокос, грибы и ягоды вскоре, а там уж и яблоки созреют — осенью сразу дохнет. И снова осень, и снова зима, а с ними и еще год к нашим кратким человеческим летам прибавится и, значит, еще на год поубавятся эти самые краткие лета...

А сколького не выполнено! а сколького не видано, не испытано! Кто осудит нас за нашу грусть человеческую, за нашу бессильную, жалкую такую, жалобу, за нашу любовь к этой прекрасной, людьми,— о, лишь людьми! — оскверняемой земле?!.

И, может быть, нам никогда не дано больше на этой Земле увидеться, хотя расстояние между нами исчисляется всего четырьмя днями нашей жизни. Как все

это странно, право, как никогда нельзя ко всему этому — непривычному, непривыкаемому — привыкнуть. А между тем...

Я за память Вас благодарю: это положительно трогательно в наше время: кто кого помнит? кто кого поздравляет? Я благодарю Вас, София Ивановна. Не позабудьте свой новый адрес сообщить, а то опять прервется наша печальная, но очень хорошая, добрая переписка, прервется, как встречи наши, лет на... 16! Как страшно: 16! Нет, я никогда к этому не привыкну. Сердце щемит ужас, чувствуете ли Вы это, понимаете ли то тайное, что я хочу сказать и вот не умею найти подходящих слов и оттенков? Мучительная жуть, но есть в ее безнадежности что-то чарующее. Не выразить этого.

Вам не понравилось то мое письмо? Тон не «тот»? Возможно, да: все от настроенья. Так все это изменчиво. Одно лишь неизменно: — мое к Вам влечение. Тяга. Сочувствие. Сожаление, что Вы не здесь. Досада, что не могу ничем облегчить Вашей безвыходности. Кроме слов, кроме чувств. Надвигается нечто и на нас. Сбережений от последней поездки хватит на июль и август. Ровно до 1-го сент<ября>, ибо Ф<елисса> М<ихайловна> все точно всегда распределяет. Дальше? Жутко думать, что дальше, т<ак> к<ак> раньше 1-го ноября нет смысла ехать в турнэ, да и ехать-то в этом году не на что. А в банках теперь почти невозможно брать, имея даже солидных жирантов: отсутствие наличности, сугубая осторожность. Болгария, в бытность мою в ней, обещала прислать прозаические переводы лирики, дабы я перекладывал прозу на стихи. Обещано было от мин<истерства> нар<одного> просв<ещения> 50 000 лева за книгу. Однако, несмотря на мои напоминания, переводов не шлют, ссылаясь в изысканно-вежливой форме на,— конечно,— кризис. Это осточертевшее слово, надо признаться, чрезвычайно удобно во многих случаях. Впрочем, дела там, как и повсюду, действительно, скверны. Мережковский, Куприн, Зайцев и еще четверо уж давно получают субсидии от Югославии (1000 фр<анков>) ежемесячно, получают и из Чехо-Словакии. И вечно жалуются на безденежье. Что касается меня, я получал только одно время от Эстонии (около 100 долларов в год). Но вот уже три года ни гроша, и надежд никаких в этом смысле. В декабре я имел разговор на эту тему с предс<едателем>

Державной Комиссии в Белграде — с акад<емиком> А. И. Беличем. Ныне получать уже поздно: опять-таки этот «кризис». Мы с Ф<елиссой> М<ихайловной> решились на рискованный шаг: печатаем сейчас в Нарве (от нас 40 кил<ометров>) книгу последних моих стихов на свой счет. В магазины отдать ее нельзя: денег не добудешь, надуют. Хотим посылать знакомым с просьбой распространять по рукам. Печатаем 500 экз<емпляров> по цене 8 фр<анцузских> франков за экземпляр. Распродав все книжки, просуществуем 6 месяц<ев>. Удастся ли только? Называется книжка (в ней 32 страницы) «Адриатика». Может быть, и Вы не откажетесь попробовать предложить несколько? Были бы Вам очень признательны. Если позволите, пришлю бандеролью столько экземпл<яров>, сколько надеетесь продать. Но не знаю, разрешено ли переводить из Бельгии деньги за границу? М<ожет> б<ыть>, узнаете? Да, издание книжки автором — единственный более или менее приличный выход из положения. Хочу послать и в Париж, и в Берлин, и в Болгарию, и в Югославию, и в Польшу. М<ожет> б<ыть>, на скопленную сумму проживем сентябрь и октябрь, и даже в Румынию поедем, а, м<ожет> б<ыть>, еще отсрочим гибель на полгода в Тойле. Да, гибель, ибо я — поэт. Только поэт.

Ваша открытка прелестна, но моя паутина, к счастью, не столь цепка: меня паучок не погубит все же.

В следующем письме я много напишу Вам, дорогая, интимного, откровенного, сердечного — с Вами это дивно! Вы так хорошо все воспринимаете, что ничего не хочется от Вас скрывать, прикрашивать. Я писал, что гибну от «нее». Так ли это, все же? Ф<елисса> М<ихайловна> сама отчасти слегка повинна во всем. Повинна без вины. Впрочем, до следующего письма. Наш искренний привет Вам, А<лександру> Г<ригорьевичу> и Игорю. А наша англичанка все еще не едет: ее задерживает болезнь сестры.

Целую Ваши ручки нежно.
Ваш Игорь.

5

Toila, 18.VIII.1932 г.

Дорогая София Ивановна,

Ваше длительное,— как впоследствии выяснилось, такое понятное,— молчание, говоря откровенно, меня крайне беспокоило, и я тщетно силился найти ему какое-либо объяснение. Меня оно положительно пугало, тем более, что я знал, в каком ужасном состоянии духа Вы все это последнее время находились и находитесь. Поэтому, когда я получил на днях Ваше письмо, я очень ему обрадовался, хотя, увы, радостного у Вас немного, и я искренне, всей душой, опять и опять соболезную Вам. Но успехи Игоря — это уже из области явно отрадного, и я спешу поздравить Вас и порадоваться Вашей радостью. Верю, что Вам крайне тяжело и горько, но не теряйте бодрости: жизнь так часто неожиданно и круто меняется, и то, что вчера еще могло показаться совершенно невозможным, завтра делается простым, ясным и доступным. У нас, по крайней мере, так почти всегда, и это дает мне смелость бодрить и друзей своих. В настоящее время мы готовимся вновь вступить в полосу испытаний, и вся надежда, как я Вам уже и писал, на распродажу новой книжки, вышедшей в свет только 5 авг<уста>. Я разослал уже по Европе и Америке 250 экз<емпляров>, т<о> е<сть> половину всего издания. Недели через две—три начнут постепенно выясняться результаты. Пользуясь Вашим добрым разрешением, послал 16-го и Вам 15 экз<емпляров>. Вот Бельгия, напр<имер>, такая страна, перевод денег из которой разрешается. Но есть страны, напр<имер> Германия, Польша, Латвия, Болгария, Югославия, из которых никак и ничего не получить. Но я все же послал книжки и туда, в надежде каким-либо чудом получить и оттуда!.. Как-нибудь через Эст<онское> посольство или иным способом. Каким — пока сам не знаю. О моей «Адриатике» вчера в рижской газете «Сегодня» появилась прекрасная статья Пильского, и это заменит мне объявление о книге. 24-го июля приехала к нам, наконец, из Лондона Грациелла Брейтвейт и внесла в нашу глушь свежую струю и оживление. Это молодая, очень деловая и энергичная женщина, которая сразу же стала звать нас на осень в Англию, чтобы дать там один-два концерта, о чем немедленно

же написала своей сестре, и та охотно идет навстречу в смысле содействия своего по устройству вечеров. Но, хотя там и 30 т<ысяч> русских, мы все же еще не решили, ехать ли нам туда, т<ак> к<ак>, говоря по правде, эта страна, во-первых, не очень-то нас к себе влечет, а во-вторых, и на успех как-то не рассчитываешь в тех чуждых — во всех отношениях — краях. А мы думали уехать из Тойлы между 20—25 октября прямо в Рагузу и пожить там месяц-другой, а уж потом что-либо предпринимать в Югославии и Румынии. В это лето у нас особо много людей — и в Тойле, и в нашем доме. А на днях приедет из Берлина эст<онский> поэт с одной дамой, и инженер Эссен на 6 дней из соседнего местечка, расположенного от нас в 16 километрах. Сейчас он поехал на яхте в Финляндию, в воскресенье же ждем его к себе. Фелисса Михайловна чрезвычайно притомилась, т<ак> к<ак> на ней лежит все хозяйство. С этой стороны в приемах есть свои отрицательные стороны. Но мы любим, когда к нам приезжают. Было уже 18 человек. И большинство из них жило по несколько дней. 31-го июля у нас в Тойле состоялся большой музыкальный праздник. Пел хор в 650 человек, играл духовой оркестр в 135 инструментов. Съехалось со всего округа более трех тысяч. Вечером был спектакль и, конечно, танцы. Такие развлечения, как музыка и пенье, я приветствую: они говорят о музыкальности и культурности народа.

Как мы проводим время? Много гуляем, много читаем, дамы ездят иногда с рыбаками в море сети осматривать.

Стоят дивные дни, лунные мягкие ночи. Сырости у нас не бывает, но влаги достаточно: мы живем высоко над морем (30 саженей). Я очень сожалею, что не мог сделать на романах надписи: книги лежали у приват-доцента Б. В. Правдина в Юрьеве, откуда он, по моей просьбе, и переслал их непосредственно Вам. Вы не горюйте, София Ивановна милая, вот увидите — все будет хорошо. Я так хочу для вас счастья и радости светлой. Я так хочу, что это сбудется. Не улыбайтесь, это совсем серьезно.

За последнее время я совсем отошел от всяческих «соблазнов». Все это настолько пусто, мелко и ненужно (ни мне, ни другим), что нашел глупым длить неоправдываемое. И чувствую себя значительно приятнее, както свежее и облагороженнее. Сам удивляюсь, а как лег-

ко это было сделать. М<ожет> б<ыть>, давно уже нужно было поступить так. Да, Фелисса Мих<айловна> достойна лучшей участи. Я очень виноват перед ней. Мне так трудно теперь вернуть ее безоблачность. Это более всего меня мучает. Одно лишь время покажет ей многое.

Нежно целую ручки Ваши. Ф<елисса> М<ихайловна> и я шлем Вам, А<лександру> Г<ригорьевичу> и Игорю наши искренние приветы и лучшие пожелания.

Ваш неизменно
Игорь.

P. S. Я давно написал бы Вам во время Вашего молчания, но Вы писали, что меняете квартиру, нового же адреса я не знал.

Иг<орь>.

Если Вас не затруднит, черкните, пожалуйста, открытку о получении книжек и не очень ли они смялись и испачкались в дороге.

Иг<орь>.

6

Toila, 6.X.1932 г.

Дорогая София Ивановна,

16 авг<уста> я послал Вам, пользуясь Вашим любезным разрешением, 15 экз<емпляров> «Адриатики», а 18 авг<уста> — длинное письмо. И вот до сих пор не имею от Вас ни строчки.

Меня это крайне беспокоит: что с Вами, как Ваше здоровье, все ли у Вас благополучно? Напишите, пожалуйста, сразу же хотя бы открыточку. Дело в том, что в конце этого месяца мы уезжаем в Румынию, конечно, только в том случае, если соберем на дорогу денег. А это очень теперь трудно. Приходится собирать буквально по грошам. Книги мои успешно всюду продаются, и я получаю отовсюду крошечные суммы, кот<орые> должны в конце концов дать возможность тронуться в дальний путь. К сожал<ению>, не из всех стран разрешена пересылка валюты. Самое позднее, если будете добры ответить мне 20 окт<ября>, иначе

вряд ли я получу от Вас письмо. Впрочем, пишите и после этого срока: мне всюду перешлют. Но мне хотелось бы знать о Вас до отъезда. Напишите о себе подробнее.

Гости наши все разъехались. У нас осень. Рамы вставлены.

Если у Вас есть в Румынии знакомые, м<ожет> б<ыть>, найдете возможным сообщить некот<орые> фамилии и адреса: у меня нет там ни одной души знакомой. С дороги буду, конечно, писать Вам. Трудная осень в этом году, и на душе не очень-то радостно. Целую Ваши ручки. Фел<исса> Мих<айловна> шлет Вам свой искренний привет. Привет А<лександру> Г<ригорьевичу> и Игорю.

Ваш всегда
Игорь.

Издание окупилось уже полностью, что меня весьма радует. Хоть это...

7

Toila, 1.I.1936 г.

С Новым Годом, дорогая София Ивановна! Не удивляйтесь ничему: я вне законов. Если не писал, были серьезные причины. Очень серьезные, поверьте. Не хотелось расстраивать кошмарами переживаний. Ваши письма все получил,— очень признателен Вам. Всегда помнил. Часто-часто. Но меня ведь почти не было здесь. Почти все время был в Ревеле. Вернее — вынужден был быть. Следов<ательно>, не жил, ибо город для меня не жизнь: ненавижу институт городов. Бедная Ф<елисса> М<ихайловна> с 3 апр<еля> живет в Ревеле: работает на фабрике шелковой. Один скелет остался. И очень нехороший кашель (кашелёк)... Я то здесь, то там. Иногда один, иногда нет. Заработков лично у меня никаких. За весь прошлый год всего три концерта: в Печорах, Валке и Гунгербурге. Полные залы все-таки. Удивлены? Чем объяснить? Не знаю. Публика ведь отошла от поэзии. И все же везде переполнено. А денег мало. До смешного. По 8 $ за вечер!.. И вдобавок свои расходы: поезда, отэли. Роман «Рояль Леандра» лежит на складе. Из тысячи продано экземпл<яров> 25. Куда идти? Что делать? А теперь вот

на Праздники приехали с Ф<елиссой> М<ихайловной> на десяток дней домой. Как хорошо здесь! как благочестиво! Сегодня Ф<елисса> М<ихайловна> уезжает снова в кабалу. Вам это известно. Вы сами в таком же положении. Зарабатывает она 1/2 $ в день. У машины. В сентябре приезжала знакомая из Кишинева. В гости. Пробыла 18 дней, из них 12 в Тойле. Ездил с ней сюда. Весною снова приедет. М<ожет> б<ыть>, Вы ее знаете. Она о Вас помнит. Некто Лидия Тимофеевна Рыкова, рожденная Адам. У них дом на Федоровой, около Мещанской. Великанша. Красавица. Умница. Любит искусство. Поет. Рисует. И Липковская поселилась в Кишиневе на Немецкой.

Приветствую Вас, А<лександра> Григ<орьевича> и Игоря. Целую ручки Ваши. Напишите мне, не считайтесь письмами. Скверно мне, дорогая и милая София Ивановна, очень плохо на душе. Невыносимо.

Ваш Игорь.





ПИСЬМА К ГЕОРГИЮ ШЕНГЕЛИ

1

Toila, 12 сент. 1927 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

Я испытал действительную радость, получив Ваш «Норд»: через 11 лет Вы вспомнили меня,— спасибо.

Из книжки Вашей узнал о смерти Юлии Владим<ировны>, такой всегда хрупкой, так всегда мучившейся. Нежно жму руку Вашу. Но ведь Вы были давно подготовлены к этому, не правда ли? Я тогда же видел ее обреченность. Бедная маленькая женщина, девочка на вид.

В 1925 г. в Праге мы вспоминали Ю<лию> В<ладимировну> и Вас, гуляя по парку с Евг<ением> Ник<олаевичем> Чириковым.

В каждом году — перемены. Сколько же их в одиннадц<ати> летах, к тому же таких, как эти?

В 1921 г. умерла мама моя. В том же году я расстался,— наконец,— с М<арией> В<асильевной>. И это было предначертано, как Вам, думается, известно. Теперь она где-то в СССР.

С 28 янв<аря> 1918 г. я живу постоянно на берегу Финского залива. Мой адрес неизменен: Eesti, Toila. Postkontor. Igor Severjanin.

Иногда выезжаю на Запад. За эти годы побывал трижды в Берлине, где жил от месяца до трех, давая вечера.

Встречался там с Кусиковым, Пастернаком, Маяковским, Толстым, Шкловским, Минским, Венгеровой и др.

Ездил в Финляндию, Латвию, Литву, Польшу (13 городов), Чехо-Словакию. Везде вечера, иногда очень шумные и многолюдные. К сожал<ению>, расход больше прихода, поездки обходятся очень дорого, почти ничего не остается. Поэтому вот уже два года на месте. Эстийская природа очаровательна: головокружительный скалистый берег моря, лиственные деревья — Крым в миниатюре. Сосновые леса, 76 озер в них, трудолюбиво и умело возделанные поля. Речки с форелями. Да, здесь прелестно. У меня своя лодка («Ингрид»), я постоянно на воде, ужу рыбу. В 1921 г. женился на эстонке. Ее зовут Фелиссой, ей 25 лет теперь, у нас пятилетний мальчик — Вакх. Она пишет стихи и по-эст<онски>, и по-русски, целодневно читает, выискивая полные собрания каждого писателя. Она универсально начитана, у нее громадный вкус. Мы живем замкнуто, почти никого не видим, да и некого видеть здесь: отбросы эмиграции и рыбаки, далекие от искусства. За эти годы выпустил 13 книг. К сожал<ению>, в наст<оящее> время у меня нет ни одного своб<одного> экз<емпляра>, но я пришлю Вам что-либо в ближайшие недели.

Теперь Вы сообщите мне все, касающееся Вас. Судя по Вашей книге, Вы печальны и утомлены, милый. Мы с женою воздаем должное стилистике Вашей книги. Приветствуем Вас. Напишите поскорее. Еще раз благодарю за память. Я часто вспоминал Вас.

Всегда Ваш Игорь.

2

Toila, 22.XII.1927 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

Не особенно давно я вернулся из поездки по Латвии: гастролировал семь дней подряд в Риге, дал вечер в Двинске, по пути в Латвию — в Юрьеве. Успех всюду прежний — залы переполнены. Пробыл в отсутствии двадцать шесть дней. Письмо Ваше ожидало меня дома, и мне было радостно его прочесть. И я рад, что Ю<лия> В<ладимировна> жива, пусть отчуждена

она от Вас, пусть не в Вашей жизни оказалась, но ведь жива она, и это как-то бодрит: за эти годы столько смертей знаемых, и каждая из них — отмирание частицы самого себя. М<ожет> б<ыть>, вскоре уже нечему будет отмирать, и это будет смертью собственной: пожалуй, единственная собственность, свойственная живущему.

Смерть Ф<едора> К<узмича> — сильный удар для меня. Сбылись предчувствия. Иначе, впрочем, и быть не могло: теория вероятности. Теория, страшная своей непреложностью. Леденящая. Я написал четыре статьи, очень обширных: «Сологуб в Эстляндии», «Эстл<яндские> триолеты Сол<огуба>», «Салон Сол<огуба>» и «Умер в декабре». В последней я цитирую его стих: «В декабре я перестану жить». Это воспринято было им 4.XI.1913 г. Кстати: Лесков («Обойденные») говорит: «Замечено, что день 5.XII — день особенных несчастий». Сол<огуб> умер 5.XII. Вы видите? Когда приедете ко мне, я покажу Вам статьи: все вырезки у меня хранятся, конечно. А приедете Вы непременно: мы оба хотим этого, а это повелительно. Знайте путь: ст<анция> Певе (пятая за Нарвой). Известите заранее — пришлю лошадь. Поезд из СССР приезжает в 10.55 веч<ера>.

Мне отрадно, что Ваша спутница «интеллектуальна». Я могу то же сказать о своей. В наши дни,— как это ни странно,— это редкостно. Нам надо ценить милость, нам ниспосланную. Беречь надо подруг.

Да, лирическое не в чести, и мы, вероятно, последние. На вечера ходят, как в кунсткамеру. Так надо думать: тиража книг нет. Аплодируют не содержанию, не совершенной стилистике,— голосу: его пламени, его негодованию, его нежности беспредельной, всему тому, чего сами не имеют, перед чем подсознательно трепещут, чего боятся. Двуногое зверье...

Я жду Вашего отклика: я буду знать, что письмо это Вами прочтено,— в пустоту говорить тяжко. Хотя бы кратко скажите о получении. Тогда вышлю Вам свою поэму «Роса оранжевого часа», тогда напишу Вам подробнее.

Так Вы понимаете «отшельничество» мое? Так Вы ему сочувствуете? Тем ближе Вы мне.

«...И вновь о солнечном томится Крыме
С ума сводящая меня мечта!»

Ҡ счастью, моя Тойла — Ҡрым в миниатюре: море, нависшие отвесные скалы над ним, леса. И в них — 76 озер. А на них — я в своей «Ингрид».

Любящий Вас Игорь.

3

Toila, 10.III.1928 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

«Драмы» очищают, углубляют, возносят, проясняют смутное и — я «не боюсь смелости» сказать — *обожествляют*. Не забудьте, что в «драме» всегда страдание, оно в ней обязательно, на нем основана она,— и что пленительнее него? В каждой драме есть частица счастья: вновь получить или сохранить теряемое. Сколько «драм» испытал я, но они — этапы в *Божественное*: я благодарю их. Я жму Вашу руку, ясно и прямо смотрю в глаза Ваши.

Пятого марта я вернулся из Польши — этим объясняется несвоевременный мой ответ на Ваше письмо. Поездка длилась полтора месяца и утомила меня и жену. Я дал три вечера в Варшаве, прочел в Польском Литер<атурном> о<бщест>ве доклад об эстонской поэзии, дал один вечер в Вильно и выехал в Латвию, в Двинск, к одному местному поэту (русскому), человеку обязательнейшему, усиленно меня звавшему к себе. Попутно, погостив у него четыре дня, я выступил на ученическом закрытом вечере, прочитав «детворе» (от 14 до 18 лет) десятка два новейших стихов о лесах и озерах эстийских. В Варшаве мы пробыли ровно три недели, гостя у одного весьма популярного в Польше адвоката — поэта, переводчика «Евгения Онегина» (целиком, конечно). В Вильно оставались девять дней. Заезжали еще на два дня в Ревель, где был объявлен мой очередной вечер, на день в Юрьев к милому поэту Правдину — лектору университета — и на день на курорт под Юрьевом — Эльва — навестить угасающую в чахотке (лилии алой...) очаровательную жену видного эстонского лирика, с которым нас связывают,— вот уже десять лет,— дружеские отношения.

Было радостно вернуться к своим осолнечным в марте снегам под настом, и легкокрылые — такие женственные — метели вот уже несколько дней, сменяя

одна другую, слепят наши глаза своими южными прикосновениями, лаская лица мягковьюжными пушистыми руками. Но весна неотвратима,— это так ясно чувствуется, и в миги затишья дали так бирюзовы, воздух так весел и прозрачен. Сиреневый снег сумерек призрачен и предвешне тенист.

Благодарю Вас за стихи Ваши: счастье, м<ожет> б<ыть>, не в горах... Мы здесь теряем представление о «нежности изабеллы» и не видим «ореховых садов». Нежность парного молока, шорохи сосен — вот удел наш. Во всем надо находить очарование,— ибо оно повсюду. Жить же не очаровываясь (хотя бы иллюзиями) поэт не может, человеку не рекомендуется.

Фелисса Михайловна Вашей жене (Вы не сообщаете ее имени-отчества) и Вам, как и я, шлет свой искренний привет.

Дружески Ваш, Вас любящий Игорь.

4

2.IX.1940 г.

Дорогой мне Георгий Аркадьевич!

Ваше письмо, сердечное и дружеское, меня искренне обрадовало: спасибо Вам за него. Оба экземпляра я получил. Сообщаю Вам свой адрес с 1 апр<еля> 1939 г. Из Toila уехал 7.III.1935 г.

И я очень рад, что мы с Вами теперь граждане одной страны. Я знал давно, что так будет, я верил в это твердо. И я рад, что произошло это при моей жизни: я мог и не дождаться: ранней весной я перенес воспаление левого легкого в трудной форме. И до сих пор я не совсем здоров: постоянные хрипы в груди, ослабленная сердечная деятельность, усталость после небольшой работы. Капиталистический строй чуть совсем не убил во мне поэта: последние годы я почти ничего не создал, ибо стихов никто не читал. На поэтов здесь (и вообще в Европе) смотрели как на шутов и бездельников, обрекая их на унижения и голод. Давным-давно нужно было вернуться домой, тем более что я никогда врагом народа не был, да и не мог быть, так как я сам бедный поэт, пролетарий, и в моих стихах Вы найдете много строк протеста, возмущения и ненависти к законам и обычаям старой и выжившей из ума Европы.

Я не ответил Вам сразу оттого, что ездил в Таллин по делам, побывал в полпредстве, и там справился о возможности поездки в Москву, дабы там получить живую работу и повидать Вас и некоторых других своих друзей. Этот вопрос, однако, пока остается открытым, но мне обещали вскоре меня известить.

Положение мое здесь из рук вон плохо: нет ни работы, ни средств к жизни, ни здоровья. Терзают долги и бессонные ночи. М<ожет> б<ыть>, Вам легче собраться сначала навестить меня и мою верную спутницу? Приезжайте, дорогой: квартирка у нас небольшая, но очень милая, и для Вас местечко найдется.

Простите, что задержал ответ,— причину я объяснил. Вы же ответьте, по возможности, сразу.

Примите наши приветы вам обоим.

Крепко жму Вашу руку. Всегда помню и люблю.

Игорь Северянин.

Очень рад буду иметь Ваши новые книги.

5

Усть-Нарова, 12 сент. 1940 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

3 сент<ября> послал Вам большое письмо, а сегодня лишь несколько строк и два стихотв<орения>: м<ожет> б<ыть>, отдадите их куда-либо, напр<имер>, в «Огонек» или др<угой> журн<ал>,— этот гонорар меня весьма поддержал бы.

Мне здесь сообщили, что в «Литературной газете» (от 1 сент<ября>, кажется) были помещены мои стихи, переданные в августе лично одним знакомым, который заходил ко мне. Не сумеете ли Вы достать этот № и мне выслать, кстати, разузнать о гонораре. Буду Вам чрезвычайно обязан. Ежедневно жду ответа Вашего на свое письмо от 3.IX. И обещанных книг. Спешу отправить это письмо. Сердечный привет, добрые пожелания, надежда вскоре увидеться. Ответ из Москвы еще не получен.

Всегда Ваш Игорь.

P. S. В Таллине и Нарве «Лит<ературная>

газ<ета>» продается, но в очень ограниченном количестве экземпляров, так что сразу же бывает вся распродана.

Вы себе и представить не можете, мой милый Георгий Аркадьевич, как мне хотелось бы повидаться с Вами. Немудрено: ведь столько лет мы не виделись, не перекликались, ничего не знаем друг о друге, между тем как жизни уже заканчиваются, и так мало дней впереди...

И все-таки я полон энергии, вдохновения, желания работать на пользу Родины — самой умной, мирной и порядочной из стран мира!

Иг.

Генрих Виснапу (очень известный эст<онский> поэт) просит Вашего резрешения на перевод Ваших стихов.

6

<09.10.40>

Дорогой мне Георгий Аркадьевич!

27 сент<ября> переехали до весны в Пайде (б. Вейсенштейн): Верочка получила в здешней школе место препод<авателя> русского языка. Она окончила университет в Дерпте, ее специальность — русский и французский. Городок расположен в центре страны. Климат сырой: вокруг болота. Для здоровья моего (да и ее тоже) это, конечно, гибельно. Но что делать! Отсюда до Усть-Нарвы более 200 кил<ометров>, от Таллина около 100. Мне и Вере было так больно покидать наш милый уголок в прелестной местности у моря и двух рек... К счастью, мы оставили квартирку за собою, и, когда Вы через два месяца приедете к нам, я сначала приму Вас у себя в Усть-Нарве, а потом уже мы поедем сюда к Верочке.

Ваше письмо я получил только сегодня, а книгу еще 2 окт<ября>. Я так и думал, что Вы одновременно написали мне, и поэтому медлил с ответом на книгу. А книга на меня произвела большое и из ряда вон выходящее впечатление: я два часа просидел в туманный день у распахнутой форточки и... не заметил, пока не стал сильно кашлять! Книга глубокая, интересная и

предельно легкая. Вы — чудесный мастер и проникновенный *большой* поэт. Поэт *вдохновенный*, умный, блистательный. Я горжусь Вами. Верочка очарована «Барханами»! В особенности меня пленили отрывки из «Пиротехника» (*все!*), а некоторые строфы гениальны: «...Это — Жизнь! Бы-ти-е!», «...А вечер весенний сиренев»... А какая лепка эпохи «Ушедшее в камень»! Непревзойденно. Еще мне нравятся «Пять лет», «Ода унив<ерситету?>», «Александрия», «Бетховен», «Державин» и др. и др. При встрече отмечу еще много. На портрете Вы выглядите великолепно: светлый, возмужалый, свой, милый... Спасибо Вам за книжку, спасибо самое восторженное! Своих Вам прислать сейчас, к сожал<ению>, не смогу: их у меня вообще нет, а переводы с эст<онского> остались дома. Около 20 окт<ября> надеюсь там побывать на денек-другой: тогда вышлю две книжки Раннита и одну Виснапу. (Кстати, передам ему Ваши слова относительно переводов. М<ожет> б<ыть>, Вы пошлете ему свою книгу? Его адрес: Эст<онская> ССР, Tallinn. Nômme. Orava, 4-10, Henrik Visnapuu.) Вы меня, дорогой друг, просто тронули своими заботами и вниманием. Я обязательно сделаю так, как Вы советуете: я и сам подумал об этом.

В скором времени я напишу Сталину, ибо знаю, что он воистину гениальный человек. И пошлю ему некоторые новые стихи. Что же касается credo моего, посылаю Вам стихи, написанные еще в октябре 1939 г. Из них Вы узнаете мои мысли и думы. Кроме того, посылаю Вам два стих<отворения>, написанные этим летом. Все три стих<отворения> были помещены в нарвской газете «Советская деревня» и, кроме того, взяты у меня спецкором «Правды» П. Л. Лидовым и В. Л. Теминым, когда 11 авг<уста> они посетили меня в Усть-Нарове и долго беседовали со мною, сделав более десяти снимков с меня дома и на реке. Когда я узнал впоследствии от знакомых, что все 3 стих<отворения> были помещены в «Литгазете», я подумал, что их туда передал Лидов. Но вот Вы пишите, что их там не было. Возможно, знакомые спутали с «Сов<етской> дер<евней>». Относительно денег — как я могу принять их от Вас, когда не знаю сроков получек своих? Во всяком случае, не нахожу слов благодарить Вас, верного своего друга. Посылаю Вам и четвертое стихотворение — «Старый Лондон». Думается, его следовало бы поместить именно теперь, иначе

оно устареет. Впрочем, поступайте как найдете нужным, стихи оставьте себе на память и мне не возвращайте.

Я почти три года ничего не писал вовсе, и только это лето, когда бойцы и краснофлотцы освободили нас от реакционных мертвецов, оказалось для меня плодотворным, и я написал целый ряд стихов, ожив и воспрянув духом.

Вера Борисовна и я шлем наши самые сердечные приветы Нине (отчество?..) и Вам. Мы благодарим Вас, помним и любим.

Я жду от Вас, Георгий Аркадьевич, скорого ответа на это письмо.

А к Новому году и Вас самого.

Paide, 9.X.1940

Ваш Игорь.

P. S. Пожалуйста, не осудите меня за плохие, водянистые чернила: в этом «городе» трудно что-либо достать. Поэтому и рукописи получились не в моем стиле. И еще один вопрос: видели ли Вы *своими глазами* № 46 «Литгазеты» от 1 сент<ября>? Или Вам кто-либо говорил о ней? Люди так настойчиво меня уверяли, что читали именно в «Лит<ературной> газ<ете>» мои стихи. И вдобавок прибавляли, что статья обо мне была там помещена!..

И. С.

7

5 декабря 1940 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич, как Ваше здоровье и отчего Вы давно ничего о себе не пишете? Я послал Вам 10 окт<ября> заказное большое письмо и вложил в него 4 новых стих<отворения>, а 12-го переслал зак<азной> банд<еролью> книгу переводов с эстонского, как Вы просили. Около 20 окт<ября> я серьезно заболел: сердечная ангина. Это — следствие весеннего воспаления легких, т<ак> к<ак> температура более месяца была тогда 38—39. Болезнь, чрезвычайно мучительная, продержала меня около месяца в постели. Перемежающиеся боли в левой руке и колики в области сердца, «шумная» одышка, мгновенная утомляемость, невозможность сгибаться. Теперь несколь-

ко лучше, но все же глухие боли в сердце. Собственно я не лечусь, только капли принимаю: здесь нет ни подход<ящих> врачей, ни средств на них. Все это очень скучно и отражается на психике, не давая работать. Стремлюсь всей душой быть полезным родине, и меня все это тяготит. Хотелось бы повидаться с Вами. Дайте отклик. Привет жене и Вам от Веры Борис<овны>.

Ваш Игорь.

На полях открытки приписано: Отвечайте на мой адрес (после 20-го буду дома): ЭССР, Narva-Jôesuu, Vabaduse, 3.

8

Paide, 20 дек. 1940 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич,
7 дек<абря> послал Вам открытку, а на другой день в школе у Веры Борисовны прекратились на 10 дней занятия (грипп), и мы в тот же день уехали, конечно, в Усть-Нарову, где так всегда очаровательно и бодряще. 16 дек<абря>, перед отъездом, я получил пересланные отсюда два томика Байрона, а 17 дек<абря> уже здесь и Ваше письмо. Благодарю Вас за все. Здоровье мое, к сожал<ению>, совсем испорчено, и это меня омрачает и тяготит. Для меня легче отвечать и писать по пунктам. Простите.

1) Какую работу может мне предоставить Союз эст<онских> писат<елей>? Думаю — никакой. На единовр<еменную> субсидию надежд нет: у них мало средств, да и нет мотивов. Попробую, однако.

2) Книги все распроданы. Постараюсь найти две-три. Трудно.

3) Из примечаний к «Шильонскому узнику» выяснилось, что Вы побывали в Швейцарии. В котором году это было? Я ехал через Швейцарию (Белград — Загреб — Любляна — Инсбрук — Базель — Париж) в 1931 г. в конце января. Отчего не заехали в Тойлу, как обещали?..

4) 163 разных типа катрена — это восхитительно! Спасибо за работу и за выяснение.

5) Ваши указания дельны и дружественны. Самое интересное — это то, что решительно все задевали дав-

но и меня, но вот не исправил почему-то раньше. Теперь все исправлено. Ознакомлю Вас.

6) Жаль, что в Союз Советских писателей послал через Союз Эст<онских> писат<елей> в прежней редакции (10 дек<абря>).

7) Очень просим Вас приехать в Усть-Нарву между 1—8 января. Я хотел бы повидаться с Вами, дорогой и верный друг. Здоровье мое побуждает просить Вас. У нас есть один свободный диван в моей рабочей комнате. Чисто, светло, тепло.

8) Мы уезжаем в Усть-Нарву (на новог<одние> каникулы) 30 декабря. Пишите на этот адрес (Narva-Iõesuu. Vabaduse, 3. ЭССР).

[Приписка на полях:] Мне очень хотелось бы иметь какую-либо книгу о Маяковском, где, вероятно, есть строки и обо мне: интересно, как пишут обо мне (в каком тоне, и много ли истины)? О М<аяковском>, я наслышан, имеется целая литература.

9) Сообщаю Вам, на всякий случай, перечень книг моих, вышедших в зарубежьи:

Кн. 7 — «Миррелия». 1916—1917
Кн. 9 — «Соловей». 1918
Кн. 11 — «Вервена». 1918—1919
Кн. 12 — «Менестрель». 1919
Кн. 14 — «Фея Eiole». 1920
Кн. 21 — «Классич<еские> розы». 1922—1930
} стихи

Кн. 22 — «Адриатика». 1930—1931
Кн. 16 — «Роса оранжевого часа». 1923
Кн. 17 — «Падучая стремнина». 1922
Кн. 18 — «Колокола собора чувств». 1923
Кн. 24 — «Рояль Леандра». 1925
} поэмы и романы

Кн. 23 — «Медальоны». (Сонеты — характеристики поэтов, писателей, композиторов. Всего 100.)

Рукописи:

Кн. 8 — «Литавры солнца». 1922—1930
Кн. 10 — «Настройка лиры». 1896—1930
Кн. 25 — «Очаровательн<ые> разочарования» 1931—1940
} стихи

Кн. 19 — «Солнечный дикарь». (Утопич<еская> эпопея.) 1924

Кн. 20 — «Плимутрок». (Пьесы и рассказы в ямбах.)

Кн. 27 — «Теория версификации» (стилистика поэтики). 56 стран<иц>.

Кн. 28 — «Уснувшие весны». (Критика. Мемуары. Скитания.)

Книги 13, 15, 26, 29, 30, 31 — переводы с эстонского (все вышли в свет).

10) Получили ли Вы в свое время «Росу оранжевого часа»?

11) Вышлю Вам с Устья «Рояль Леандра», «Адриатику», «В оконном переплете» (Раннит), «Полевую фиалку» (Виснапу). Есть по две-три.

12) Переводите ли Вы остальные поэмы Байрона: «Чайльд-Гарольд», «Манфред», «Каин», «Дон-Жуан»? Последняя меня особо интересует из-за Суворова.

13) Не пришлете ли мне еще каких-либо своих (или переводных) книг? Буду очень обязан.

14) Ваше послесловие показательно и доказательно. Да, в Ваших переводах читать и можно, и даже интересно порой: они изумительны: какой русский язык!

Нине Леонтьевне и Вам Вера Борисовна и я искренне шлем приветы.

Всегда Ваш и с Вами Игорь.

[Приписано на полях:] Не пришлете ли нам книжку стихов Нины Леонтьевны?

<к письму от 20.12.40>

Не пригодится ли перевод «Моего завещания» Юлиана Словацкого? Есть еще два перевода из Евг<ении> Масеевской. Есть с румынского, болгарского, сербского, еврейского.

Есть еще вся «Меланхолия» (5 стихов) Верлэна.

...Сижу в валенках и шубе и пишу эти строки. Верочка в школе. Она так рада была, увидев мою радость, когда Вы прислали работу. У меня, к сожал<ению>, почти ежедн<евно> мигрени; периодически, несколько лет. Приму порошок. И сердце болит сегодня особенно: новости, волнения.

За окном 24 гр<адуса> мороза. День и ночь горит «Грэтц». Я когда-нибудь воспою этого чудного, милого друга!

Если бы работа стала постоянной! Мы могли бы жить в Усть-Нарве,— это же мечта!

Только там можно работать с упоением: тепло, светло, чисто.

9

Начало января 1941 г.
<Не позже 17.01.41>

В стих<отворении> «Старый Лондон» после слов «аббатством» следует: «подсобить разветрить флаг,
флаг, где серп, и флаг, где молот,
флаг, возникший над Невой,
флаг, который вечно молод —
бодрый, гордый, огневой» и далее, как раньше.

После слов «британский брат» следует новая строка: «Восстановит новый Лондон, победив, пролетариат».

Еще раз: получили ли Вы в свое время «Росу оранжевого часа»? Если нет, я имею *один* свободный экземпляр и могу Вам его выслать. Но все в Усть-Нарве.

В стих<отворении> «В наш праздник» десятая строка читается: «Мы верим в свое торжество».

Не возьмете ли Вы на себя труд отстукать на машинке те стихи, которые найдете более подходящими, и передать их в Союз Сов<етских> писат<елей>. Был бы Вам весьма обязан, т<ак> к<ак> теперь выяснилось, что Союз Эст<онских> писат<елей> стихов не выслал 10 дек<абря>, как собирался.

Высылаю Вам «Рояль Леандра».

За книгу Гюго большое спасибо. Я ее внимательно прочту, совсем мало его зная.

Лиля Брик, говорят, поместила интересную статью «Маяковский и чужие стихи» в № 3 «Знамени» за 1940 г. Мои знакомые ни в Таллине, ни в Тарту, ни в Нарве, однако, этого номера, к сож<алению>, не нашли. Не пришлете ли его мне? Пожалуйста, очень прошу.

И не найдется ли книга Бенедикта Лифшица «Полутораглазый стрелец»? Что было в «Литер<атурном> обозреньи» (окт<ябрь>, или ноября, или же сент<ябрь> 1940 г.)?

В Эстонии, увы, ничего купить попросту нельзя. Я читаю только «Правду», «Огонек», иногда «Октябрь», «Вокруг света», «Вожатый», «Наша страна».

Вообще, если Вы иногда пошлете нам какую-либо книгу, мы с Верочкой будем в восторге, ибо, повторяю, здесь ничего не достанешь. М<ожет> б<ыть>, можно наложенным платежом? Иначе стыдно беспокоить.

Прилагаемые стих<отворения> Веры Бор<исовны>, может быть дадите в какой-нибудь журнал, если представится случай.

Фото вышлю из дома: здесь, к сожал<ению>, нет.

Пишу воспоминания о Маяковском. Около 500 строк уже есть. Больше, пожалуй, и не будет: все запечатлено.

10

Paide, 17.1.41 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич, сегодня получил Ваше письмо, а третьего дня мы вернулись сюда из дома. Жизнь наша грустна и тягостна, дорогой друг, ибо мы должны жить в жутких условиях общежития, в комнате ледяной и сырой, оторванные от условий, в которых я мог дышать, творить и мыслить. Климат Paide ужасен: всегда сырость болотная, удушающая и давящая. Даже при 20 гр<адусах> морозов ясно ощущается сырость! Ни одного знакомого человека, ни театра, ни радио, ни книг, ни доктора, которому можно довериться. У В<еры> Б<орисовны> слабые легкие, она вообще хрупче хрупкого, вся из Матэрлинка, а я еще года нет как перенес воспал<ение> левого легкого, а с октября приобрел болезнь сердца. Можете себе представить, как «хорошо» мы себя чувствуем. Школа совершенно убивает моего друга: 4—5 уроков ежедневно, да работа дома, да тетради, да подготовка, да постоянные

заседания, так что она в тень на моих глазах (а это очень ведь тяжко!) превратилась. И я ничем-ничем не могу ей помочь, ибо с июля заработал всего, дико вымолвить, 12 р<ублей> 50 к<опеек>!.. Минутами я чувствую, что не вынесу безработицы, что никогда не оправлюсь в этом климате, в этой комнате, вообще — в этих условиях. Душа тянется к живому труду, дающему право на культурный отдых. Последние силы иссякают в неопределенности, в сознании своей ненужности. А я мог бы, мне кажется, еще быть во многом полезен своей обновленной родине! И нельзя жить без музыки, без стихов, без общения с тонкими и проникновенными людьми. А здесь — пустыня, непосильный труд подруги и наше общее угасание. Изо дня в день. Простите за этот вопль, за эти страшные строки: я давно хотел сказать (хоть сказать!) Вам это. Моя нечеловеческая бодрость, выдержка и жизнерадостность всегдашняя порою (и часто-часто) мне стали изменять. Я жду труда, дающего свои деньги, и отдыха заслуженного, а не бессмысленного.

Любящий Вас Игорь.

P. S. Несколько слов по поводу стихов, переданных Вами в редакцию «30 дней». Я был бы крайне заинтересован в их помещении, и в оплате, т<ак> к<ак>, прямо скажу, весьма тяжко не иметь своего заработка. Вообще, отдавайте стихи куда только возможным найдете. В<ера> Б<орисовна> напрягает последние силы, но большая часть ее жалования уходит на уплату давнишних долгов. Еще раз скажу: если бы я поскорее мог получить постоянную работу! Болезнь моя более чем серьезна, но я часто стараюсь ее убавить, чтобы не разорять друга на лекарства, доктор же у меня в Усть-Нарве давнишний приятель и денег за совет не берет. Но здесь, в Пайде, я к врачам не обращаюсь. Безработица — одна из главных причин моих сердечных припадков.

Роман свой я Вам вышлю только через несколько дней.

«Мазепу» Гюго нахожу гениальным произведением. Еще раз спасибо за книгу.

Если встретите Пастернака и Асеева, передайте им мой искр<енний> привет.

Видитесь ли с А. Н. Толстым, В. Каменским и Бриками? Если видитесь, пожалуйста, приветствуйте и их.

Давно я не видел Толстого (с Берлина!). Постарел ли он? Мы так дружно тогда и весело проводили время с ним и покойным Маяковским.

11

Paide, 22 янв<аря> 1941 г.

Дорогой мой Георгий Аркадьевич, в добавлении к своему письму от 17 янв<аря> я хочу в кратких словах описать Вам Усть-Нарову и ее окрестности, чтобы Вы с исчерпывающей ясностью представили себе наше душевное состояние и поняли, как нам безумно тяжело было лишиться моря, рек, озера, дивного воздуха и уюта сухой и солнечной квартирки. Усть-Нарова — маленький изящный городок, расположена при впаденьи широкой и многоводной Наровы в Финский залив. Напротив наших окон впадает в нее Россонь, река тоже достаточно большая, извилистая, с живописными берегами. Вытекает она из реки Луги (редкий случай, не правда ли?). В $2^{1}/_{2}$ кил<ометрах> от городка на правом берегу Россони, в лесах хвойных, находится деревушка Саркуль, где в маленькой избушке (кухня и комнатка) мы прожили со 2 апр<еля> 1938 г. по 1 апр<еля> 1939 г.— ровно год. Это было чудесно, и жаль, что из-за лавок и почты пришлось все же переехать оттуда, но опыт показал, что в бурю, метель или осенние дожди мы буквально были отрезаны от хлеба, папирос и прочего. Купить же или занять в деревне было немыслимо. В хорошую погоду мы ездили в лавки на лодке, и это было большим удовольствием. Если бы мы, конечно, были богаче, мы могли бы запасаться тогда и табаком, и мукой, но в том-то и беда, что при капиталистическом строе мы всегда очень нуждались и доставали деньги по мелочам. Да и В<ера> Б<орисовна> $2^{1}/_{2}$ года была лишена службы (из-за плохого здоровья). И вот 1.IV.1939 г. нам пришлось переехать в городок, где удалось подыскать на берегу Наровы прелестную, крохотную, очень теплую и сухую квартирку, похожую на каюту, по очень дешевой цене (8 р<ублей> 75 к<опеек> в месяц). Мы, люди бедные, ее любовно и по нашим грошовым получкам тогдашним ее омеблировали, причем большинство вещей было сделано по моим рисункам саркульским столяром-любите-

лем, крестьянином Петром Ивановичем. Все это обошлось крайне недорого, но выполнено было изящно и чисто. Красил вещи я сам. Когда наконец был создан элементарный уют, я целиком мог отдаться творчеству. Все эти годы мы мечтали обзавестись радио, но, увы, достичь этого не смогли из-за неимения средств, и это тем печальнее, что мы обожаем серьезную музыку, а В<ера> Б<орисовна> — человек музыкальный и прелестно играет на пианино, которого, кстати сказать, у нас тоже нет... Итак, откинув музыку, перечислю достоинства Усть-Наровы:

1. Прекрасный морской, бодрящий климат.

2. Очаровательные реки, тихое озеро, леса, поля, луга, море.

3. Лавка, почта, аптека, доктор.

4. Уют и тепло помещения.

Всего этого мы абсолютно лишены в нашем болоте (во всех смыслах!) — в Пайде. Как же нам не печалиться, что не удалось Вере Бор<исовне> получить место учительницы в Усть-Нарве или хотя бы в красивой Нарве, куда могла бы ездить ежедневно на службу? Езды ведь всего 25 минут.

Я хотел бы следующего: 5—6 месяцев в году жить у себя на Устьи, заготовляя стихи и статьи для советской прессы, дыша дивным воздухом и в свободное от работы время пользуясь лодкой, без которой чувствую себя как рыба без воды, а остальные полгода жить в Москве, общаться с передовыми людьми, выступать с чтением своих произведений и совершать, если надо, поездки по Союзу.

Вот чего я страстно хотел бы, Георгий Аркадьевич! Т<о> е<сть> быть полезным гражданином своей обновленной, социал<истической> родины, а не прозябать в Пайде.

Мы с Верочкой очень просим Нину Леонт<ьевну> и Вас все же, в конце концов, собраться к нам, в Усть-Нарву, предварительно нас за недельку известив. Тогда я один (Вера из-за службы сможет приехать на один-два дня только, к сожал<ению>) выеду домой и приму вас обоих, как родных. Заранее извините за скромность приема, но зато он будет сердечным. С голода вас не уморю, ибо готовить необходимое умею в совершенстве сам. Моя рабочая комната с двумя диванами, простыми, но чистыми и удобными, в вашем распоряжении.

Мне просто необходимо повидаться с Вами и обо всем переговорить. Я жажду живой и продуктивной работы. Единственное, что меня удручает — мое здоровье.

Но не будем об этом говорить, сами все увидите. М<ожет> б<ыть>, получив работу, я оживу еще раз.

По моим шестилетним наблюдениям, глубоким и продуманным, состояние здоровья Верочки таково, что ей служить не следовало бы ни в каком случае; с нее совершенно достаточно и забот по хозяйству. Из этого вывод: я должен встать на ноги и продолжать, как и раньше, содержать и себя, и ее. Невыносимо видеть, как любимый человек, порядочный и бескорыстный, прямо убивает себя непосильной работой. Так что и служба в Нарве даже, в итоге, конечно принесла бы ей вред.

Мучает Веру и то, что ее ребенок, девочка девяти лет от первого мужа, разлучена обстоятельствами с нею: в Пайде русских школ нет, а дочь учится в русской школе в Таллине и живет у бабушки вот уже вторую зиму. (До осени 1939 г. ребенок был при нас.) На новогодние каникулы девочку В<ера> Б<орисовна>, конечно, брала в Усть-Нарву. Что касается Нины Леонтьевны и Вашего приезда, я полагал бы так: приезжайте сначала на недельку теперь же (в феврале), а потом на более продолжительный срок летом, когда можно будет пользоваться лодкой, когда откроется морское купание и проч<ее>.

Посылаю Вам стих<отворение>, написанное Вашей ритмикой («Барханы»), и еще два, что составит весь цикл пьес, созданных от июля до окт<ября> включительно (т<о> е<сть> 11), а также три строфы из «Рояля Леандра». Верочка и я Нине Л<еонтьевне> и Вам шлем самые дружеские приветы и ждем с гром<адным> удов<ольствием> к себе.

Всегда Ваш Игорь.

12

31 янв<аря> 1941 г.

Дорогой мой Георгий Аркадьевич!

Вчера в 9.15 у<тра> получил Ваше письмо и материалы. Сегодня к 10 ч<асам> у<тра> работа была

выполнена. Я потратил на нее сутки,— лучше я выполнить при всем старании не смог бы. Я благодарю Вас так, как только способен художник благодарить художника: вдохновенно! От этого «экзамена» зависит слишком многое, поэтому будьте в оконч<ательном> редактировании беспощадно строги: исправляйте все, что найдете нужным. Я после болезни слишком сдал: рассеянность, м<ожет> б<ыть>, недомыслие, мгновенная усталь. Не судите калеку очень, поймите. «Мое о Маяковском» (запоздалые записи) я систематизирую и Вам недели через две вышлю, сделав копию, а Вам предоставлю опять-таки перечеркивать лишнее: Вам виднее. И фамилии заменять инициалами, если надо. У меня ведь сырой материал. Книги высылаю. Простите за невольную задержку. Если увидите Вад<има> Габр<иеловича>, скажите ему, что я прошу его выслать мне на прочёт «Стрельца». Верну, конечно. Письмо И<осифу> В<иссарионовичу> С<талину> у меня уже написано давно, но я все его исправляю и дополняю существенным. Хочется, чтобы оно было очень хорошим. Спешу выслать Вам письмо и перевод. Обнимаю Вас горячо, наш привет Н<ине> Л<еонтьевне> и Вам, дорогой, верный друг. Жду обещанного скорого письма. Мы переехали на днях напротив, наняв на чердаке кухню с отд<ельной> винтовой лестн<ицей> со двора. До потолка от моего темени ровно два вершка... Возможно, здесь теплее и суше, но печка держит тепло только... $1^1/_2$ часа! Да...

Всегда Ваш Игорь.

Нужно ли высылать Вам переводы в прозе?

13

Paide, 6.II.1941 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

Я решил приналечь на работу и выслать Вам «Мое о Маяковском» поскорее, ибо обстоятельства не терпят... Сделайте из материала, что найдете возможным. Роман вышлю из Усть-Нарвы, а пока высылаю другие книги. Мицкевича послал 31 янв<аря> и трепещу за участь переводов: слишком много с этим связано. В<ера> Б<орисовна> и я совсем расхворались на

своем чердаке: у нее бронхит, у меня кашель, насморк, бессонница, и сердце таково, что ведра поднять не могу: задыхаюсь буквально. Спешу послать.

Обнимаю Вас крепко.
Наши вам обоим приветы Сердечные.
Всегда Ваш Игорь.

P. S. Жду обещанной весточки.

14

Усть-Нарва, 24 февраля 1941 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич,
не получая от Вас ответа на три заказных письма из Paide, крайне обеспокоен Вашим молчанием и решаюсь еще раз написать Вам, чтобы выяснить некоторые непонятности.

Буду предельно краток. Переводы из Мицкевича я послал Вам сразу же, т<о> е<сть> 31 янв<аря>. Затем 5 февр<аля> послал материалы о Маяковском (15 страничек). Кроме того, 23 янв<аря> послал письмо с описанием Усть-Нарвы и прилож<ением> трех строф из романа и стих<отворения> «К английскому пролетариату».

Как я и предполагал, Верочка жестоко заболела: ровно 14 дней проболела в Paide, а потом врач, видя, что в болоте ей не поправиться, настоял на перемене воздуха и направил ее к морю еще на 10 дней. Завтра истекает срок, и мы обязаны вернуться. Думаю об этом с отчаяньем, т<ак> к<ак> боюсь, что болото сразу же ухудшит ее бронхит. А тут, уже на четвертый день, она почувствовала себя было совсем хорошо. Жалованья она, увы, не получает, а лишь 50 проц<ентов> на болезнь, да и то только тогда, когда совсем поправится, пока же мы задолжали кому только могли, и выпутаться будет крайне трудно. О своем здоровье утешительного ничего сообщить не сумею: колики в сердце, одышка, ночные ежедневные поты, отчаянье от безработицы и невыясненности положения и от ужаса перед необходимостью сидеть в пайдеском болоте. О, если бы я смог, пока жив, получить наконец более-менее постоянную переводную работу из Москвы! Кстати: что можете Вы сообщить по поводу сданной мною работы?

Приемлема она или вообще никуда не годится? Но я так старался, дорогой друг. Дней через 11—12 мы рассчитываем опять сюда вернуться на весенние каникулы (дней на 12). Поэтому убедительно Вас прошу, напишите ответ в Усть-Нарву. И вот еще один вопрос: не писали ли Вы мне на Paide после 25 янв<аря> (Ваше последнее письмо)? То, где были подстрочники. Получили ли Вы письмо со стих<ами> Верочки? Мне так стыдно отнимать у Вас деловое время вечными своими просьбами и вопросами, но, уверяю Вас, общее мое состояние (и моральное, и матер<иальное>) да послужит мне прощением. Я серьезно болен, Георгий Аркадьевич, и ежеминутно болею думою за свою подругу. Простите, не осудите, напишите. Наши самые искр<енние> приветы Нине Леонтьевне и Вам. Мы уже устали звать Вас обоих к себе.

Обнимаю Вас крепко.
Ваш всегда и всегда с Вами Игорь.

15

Paide, 7.III.41 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич!
с большим трудом (в разл<ичных> отнош<ениях>) «доставились» мы сюда 2 марта к вечеру. Дорога невообразима: три пересадки, сквозняки, переп<олненные> вагоны, стояние на холодн<ых> площадках. Всего на дорогу уходит более восьми часов! А расстояние пустяковое. 4 дня после этого лежал пластом, ночью приходилось менять по 3—4 рубашки: хоть выжми. Сердце — сплошная рана. Кашель, вызывающий рвоту. Куда я годен? На слом!.. Первое, что здесь выяснилось: на весенние каникулы отпустят лишь 20—22.III. Следов<ательно>, до 20-го пишите сюда. Вы напрасно, дорогой, пишите в двух экз<емплярах>: письма ведь немедленно пересылаются на другой же день — из Paide в Усть-Нарву и наоборот. Мы всегда подаем письм<енное> заявление. Спасибо сердечное за письмо: Вы столько хлопочете, столько участия во мне принимаете. Не всякий родной так поступил бы. Вообще я недолюбливаю «родных»: самые чуждые, самые чужие. Убеждался неоднократно. К счастью, я давно избавлен от этого элемента. Но вот Верочка...

Кстати: она, бедненькая, призналась мне, что в полном отчаяньи, под минутой написала Вам о наших горестях. Сначала я пожурил ее, а потом понял и оправдал. И Вы оправдайте ее срыв, дорогой друг мой: воистину тяжко ей приходится,— больные невыносимы иногда... Ничего-то скрыть от меня не может: чистая и честная. Ходит опять безропотно в школу, вдыхая болотные испарения. Директор советует сделать последний опыт: до 20.III походить, а если хуже станет, подать в отставку: и ее жалеет, да и больные педагоги только помеха. Посмотрим. Обидно, конечно, перед летом, но ни у кого из нас нет уверенности, что В<ера> Б<орисовна> в состоянии вынести Paide до 20 мая. Предвешние же месяцы здесь опасны для легочных,— это и сам директор говорит, да и врач обмолвился. У меня же еще появилась невралгия левой щеки, так что две ночи и спать не мог. Да и мигрени часты и жестоки. Как видите, все прелести. Хочу все же, чтобы Ваши две работы увенчались успехом и чтобы Вы с Н<иной> Л<еонтьевной> к нам приехали: сколько вопросов, сколько рассказов! Думаю, все болезни сразу от меня отскочат, лишь Вас, дорогого своего, увижу. Ведь в Вас кусочек моей юности, когда я был в периоде завоевателя, когда я весел был, был здоров и когда мне все удавалось. С нежностью вспоминаю иногда Гатчину, когда Вы сидели в моем вишневом кабинетике, пуская голубые кольца, такой внешне спокойный, уравновешенный, мудрый, кипящий внутренне. Я тогда уже знал, что Вам большой и прямой путь предназначен. А помните зайца моего? А лилию в красной узкой вазе? Стоп. Довольно. Не надо больше. Безнаказанно молодость не вспоминают: колики в сердце, поток слез, рука тянется к папиросе. Удивляетесь: па-пи-ро-са? Конечно же, запрещено, но как я могу без табака и без «крепчайшего» (по А. Белому) чаю? Кстати: читали ли Вы его «Первое свидание»? Местами гениально. Вообще же терпеть его не могу.

Теперь несколько слов деловых. Скучно, но нужно. Пришлите нам, пожал<уйста>, № 3 «Красной Нови»: здесь нигде ее нет, и никто про нее не слышал. (Я имею в виду Tallinn и Tartu.) Но я-то давно слышал. Еще лет 8 назад перелистывал у Правдина, лектора униве<рситета>. Тогда была, а теперь, удивительно, нет. Сколько плата за строку? Кто и когда перешлет зарплату? Материалы о Маяковском, понятно, вряд ли возможно напечатать из-за интимностей. Было бы чу-

десно продать в музей. Очень прошу. Жду с упоением франц<узских> поэтов. Но теперь буду работать чуть медленнее: прошлый раз повлияло на голову, а мне врачи запретили перегрузку еще в апреле прошлого года. Эст<онского> языка совсем не знаю. (Вообще на языки тупица!). От фольклора, к сожал<ению>, категорически уклоняюсь: не моя это сфера. От санатория (спасибо за Ваше доброе участие!) тоже уклоняюсь: лучшая для нас санатория — Усть-Нарва. Я привык жить совершенно самостоятельно, дорогой друг. Корку хлеба с солью и крепкий чай — да дома у себя. Характер у меня очень трудный и замысловатый. Постоянное общение с людьми меня сразило бы. Что касается остальн<ых> полит<ических> стихов, было бы хорошо разместить их по журналам.

Все-таки можно было бы кое-что подработать. Не прислать ли Вам статью «В лодке по Россони»? Там много выпадов против капиталист<ических> условий жизни. Написана она в дек<абре> 1939 г.

То, что стихи мои попали в «Кр<асную> Новь», меня радует чрезвычайно. Я благодарю Вас особенно за устройство их. Письмо от товарища Маркушевича еще не получено. Неужели же задержат перевод зарплаты? Это весьма грустно было бы. Значит, «30 дней» меня «не любит». Что делать? А что «Октябрь», «Молодая гвардия»? Верочка иногда покупала отдельн<ые> номера этих журн<алов>. А «Знамя»? Лидов прислал письмо — просит свед<ений> для «Правды». Ему заказана статья. Осенние свед<ения>, по его словам, устарели. Но ведь нового ничего нет. Позвоните ему, м<ожет> б<ыть>, по телефону в газету? Он и Темин и фото осенью несколько сделали у нас в кварт<ире> и в лодке на Нарове. Специально просили к воде спускаться. Писать же о болезни своей скучно, да и читателю безразлично. Мне очень хотелось бы после весен<них> каникул остаться уже в Усть-Нарове с Верушкой и ждать там вас обоих. Не знаю, удастся ли это. Поверьте, что поезда меня убивают, и эти постоянные метания из одного пункта в другой меня совсем затормошили. Шлем Нине Леонтьевне и Вам наши самые искренние приветы. Ждем к себе. Обнимаю Вас крепко и целую. Вы так и не ответили мне на просьбу прислать стихи Н<ины> Л<еонтьевны>,— разве у нее нет сборника? Или распродан?

Всегда Ваш Игорь.

P. S. Для Вас на Устье забандеролены две книжки. Вышлю около 24—25.III. Жду Верхарна. И вообще — книг. Не оставляйте без дух<овной> пищи. Прошу очень. И ответьте на это письмо, пожал<уйста>, 12 марта. Ну, милый, хорошо?.. 16-го ответ получу. Не откладывайте. Хотя бы несколько слов. Так томительно ожидание.

Что же касается «помощи» от Союза Эст<онских> пис<ателей>, могу сказать одно: до сих пор никто ничего не дал и даже не написал мне. Вряд ли и дадут, т<ак> к<ак>, в массе, терпеть меня не могут: я не усвоил языка и т. д. Вообще, за все 23 года я был в стороне от них, а они от меня. Исключение: Виснапу, Адамс, Раннит, отчасти Алле. Вот Иоганнес Барбарус — очень милый, культурный и чудесный человек. Он мне всегда и книги с надписью присылал, и вообще хорошо относился. Если буду в Таллине, повидаюсь с ними и переговорю. Жена его и жена Виснапу — подруги с детства и встречаются до сих пор очень часто. Раннит с осени переехал в Каунас, где получил место возле своего друга Людаса Гиры, женился на примадонне оперы. Пишет мне оттуда. Кстати, он — русский по национальности (Долгошев). Адамс (магистр филологии) читает в Tartu лекции и редактирует «Молот». Виснапу переводит Пушкина и Кудышева (?). Послали ли Вы ему свою книжку? Впрочем, он переменил адрес.

...Мне вдруг захотелось послать Вам два стих<отворения> из двух кишиневских циклов. Что Вы о них скажете?..

Беру из «Очароват<ельных> разочарований». (Рукопись.)

Отправку этого письма пришлось из-за денег задержать на сутки, а сегодня утром получил наконец письмо от тов<арища> Маркушевича. Он сообщает, что гонорар они сумеют выслать на днях. Меня только смутила сумма: 399 вместо 640. Что это, как Вы думаете, значит? М<ожет> б<ыть>, частями будут платить? Было бы так обидно, если так много убавлено: я так рассчитывал на полную сумму, у меня столько обяз<ательств> и долгов. Тов<арищ> Марк<ушевич> пишет, что в Москве сейчас нахо<дится> пред<седатель> Союза Эст<онских> пис<ателей> тов<арищ> Якобсон (мы не знакомы), и советует мне впоследствии связаться с ним. Что же, можно испробо-

вать, только вряд ли что выйдет. Итак, дорогой мой, теперь Ваш ответ жду уже, увы, только 17-го. Не мог ли бы Якобсон привезти гонорар из «Кр<асной> Н<ови>»? И перевести мне из Tartu?

16

Paide, 20.III.41 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич!

Получив 16-го Ваше письмо, я попросил на другой же день В<еру> Б<орисовну> справиться в банке о телегр<афном> переводе, и действит<ельно>, перевод уже, оказывается, давно лежал: извещенья здесь не приняты. Итак, я получил 17-го зарплату! Спасибо Вам еще и еще раз за все Ваши хлопоты. Теперь нам сразу полегчало в денежн<ом> отнош<ении>. Спасибо и за Верхарна, переведенного почти целиком Вами единолично, ибо Гатов, Брюсов и Волошин — это «капли в море» (простите за стереотип!). Читаю систематически. Хватит недели на полторы.

Сегодня получил письмо от тов<арища> Маркушевича. Он пишет, что мне платили по 3 р<убля> 50 коп<еек> за строку. (114 строк из 128, т<ак> к<ак> 14 из них (сонет) забраковано.) Все же, если Вам удастся 50 коп<еек> впоследствии отвоевать, мне придется дополучить, следов<ательно>, 57 рублей, а это для нас не шутка! У меня, напр<имер>, *единственный* пиджак (с 1.II.1936 г.), в котором без пальто даже на улицу не выйдешь: глянец повсюду, пятна, обшарпанный воротник и рукава. «По людям» хожу, но в театр нельзя. Люди-то знакомые поймут. А выйдешь на солнышко на улицу — и чужие узрят и, м<ожет> б<ыть>, не поймут. Из этого случая Вы видите, каково жилось нам при капиталистическом строе: оборванцами ходили. Франтить я никогда не любил, но некая опрятность в одежде, мне мыслится, обязательна, как вода и бритье, не правда ли? И вот ее-то и нет, увы.

Верочка благодарит Вас за сердечное и чуткое письмо. Вы — хороший, глубокий, чудный. Что касается «Светляков», если изъять три строки фона, ничего от них не останется. Пусть лежат у Вас в столе: когда-нибудь потолкуем. А пока посылаю Вам другие. Их у

меня не очень-то много найдется: везде испорчено мистикой и проч. Но все же сборничек страниц на 100—150 получится подходящий. При старом режиме писатель часто терял чувство внутренней дисциплины, похабно разволивал себя и впадал нередко в непереносимую пошлость и темы, и трактовки ее, и даже стиля. У советского же писателя есть целомудрие, благородство и отрадная скупость в словах и выражениях. Я надеюсь, что со временем освою все это в совершенстве: я ведь, в сущности, не «балаболка», и в сущности моей много глубинного.

21-го я уезжаю в 2.40 дня в Усть-Нарву, а В<ера> Б<орисовна> с тем же поездом (до Тапса) в Таллин за дочерью. Они приедут ко мне 23-го. Пробудем дома до первого апр<еля>. Спасибо за обещание выслать «Красную Новь». Жду с большим нетерпением. Маркуш<евич> сообщает, что мне дадут оттуда 250 р<ублей> (и вышлют их). Это очень мило. Передайте Асееву мои искрен<ние> поздравления с премированием его романа, который у меня имеется. (Там я и про себя нашел!) Что говорит музей? (Спасибо Вам за перепечатку материалов: это же большая работа получилась!)

<К письму от 20.III.41>

22.III.41 г.

...Школу лишь сегодня распустили на весенние каникулы, но мы, увы, вынуждены здесь остаться: мое здоровье не позволяет мне пускаться в такой трудный путь одному, а В<ера> Б<орисовна> едет завтра за дочерью и привезет ее сюда. Это так грустно, так обидно — сидеть здесь без цели, но ничего не поделаешь, да и дорога чрезвычайно дорога: около 120 р<ублей>. Сколько концов! В Таллин Вере, оттуда ей и ребенку в Нарву, из Нарвы ей и реб<енку> в Таллин, оттуда ей опять в Пайдэ, да мне два конца — в Нарву и обратно, да еще там автобусы. Нет, это невозможно. Да и плохо я себя чувствую.

...Спасибо Нине Леонть<евне> за переписку стихов,— мы очень тронуты ее любезностью.

...Итак, пишите на Paide. Если же написали уже на Устье, не беда: перешлют,— мы посылаем сегодня заявление. Вот только гонорар из «Красной Нови» (250

р<ублей>) пошлют, вероятно, на отдел<ение> банка в Нарве, т<ак> к<ак> я дал Маркуш<евичу> свой адрес другой на каникулы, и он пишет, что передал его редакции. Попробуем заявить в наше отд<еление>, чтобы затребовали из Нарвы сюда. Два адреса — всегда путаница.

...Лидов дал адрес «Правды». Я читал его статью осенью о Латвии, помещенную в «Сов<етской> Эстонии» (Таллин). Фото Темина (мост через Эмбах) видел в журнале. На вид оба симпатичные.

Сегодня Правдин, лектор унив<ерситета> в Тарту, пишет мне, что Л<идов> (они знакомы) уехал в Минск, и сообщает ему, что мои стихи идут в «К<расную> Н<овь>»: очевидно в курсе дел все-таки.

...Против юга я ничего не имею, но дорога меня прикончит. А раньше мы всегда зимами жили на юге: в Бессарабии, в Далмации и проч.

...А все-таки меня чрезвычайно интересуют мотивы браковки «К одиночеству»: нельзя ли увидеть текст с подчеркиваниями и пр. М<ожет> б<ыть>, я смог бы исправить? Или эта пиеса передана другому лицу, так сказать — «на отделку»? Вы сами видели сонет после профессорского «обзора»? И где он вообще, этот сонет?

Крепко Вас обнимаю, шлем искренние
Н<ине> Л<еонтьевне> и Вам приветы.
Всегда с Вами. Игорь.

27.III.

Умышленно позадержал отправку этого письма, ежедневно ожидая франц<узских> коммунаров, чтобы заодно известить Вас о получке материала. Однако присыл задерживается,— видимо, отбор еще не сделан, поэтому сегодня уже отправляю.

И. С.

17

Нарва-Иезу, 2 мая 1941 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич,
после Вашей телеграммы от 17 апреля (я благодарю искренне Вас за нее) все эти недели ждал от Вас

обещанного письма, но, увы, оно так и не пришло, поэтому пишу Вам сам, крайне обеспокоенный Вашим молчанием. О болезни своей я писать не стану, т<ак> к<ак> повторяться скучно, а мне еще и тяжело лишний раз говорить об этом. Достаточно сказать, что я вот уже вскоре месяц прикован к кровати, встаю только изредка на час-другой, после двух дня поднимается ежедневно температура (до 39,7), ночью (каждую ночь!) изнуряют поты, у меня найдено врачом расширение сердца ($2^{1}/_{2}$ с.), пью йод, и ничего, в общем, не помогает!..

...Итак, 18 апр<еля> мы переехали сюда. У Веры Борис<овны>, как показал рентген, легкие никуда не годятся, доктора прямо-таки погнали ее, как и меня, прочь из болота, и вот мы очутились здесь. Большое и сердечное спасибо Вам за ускоренную пересылку зарплаты из «Красной Нови», также благодарю и за журнал, полученный 30 апр<еля>. Какие стихи идут в «Огоньке», т<о> е<сть> на какую приблиз<ительно> сумму можно рассчитывать? Получили ли Вы мои книжки, посланные 20 апр<еля>? Не писали ли Вы мне письма после 17 апр<еля>, т<о> е<сть> не потерялось ли оно? Кто выпустил строфу в стих<отворении> «Привет Союзу!» и слово «вскоре» в последующей — Вы лично или редколлегия? Предпочел бы, чтобы *Вы*. Вот я уже и устал, простите меня, придется письмо закончить, а столько хотелось бы сказать! Но Вы, дорогой, меня отлично поймете и не осудите. Пока, благодаря гонорару из «К<расной> Н<ови>», мы еще живы, а что будет дальше — посмотрим. Одно только знаю: чрезвычайно Вам трудно наладить переводную для меня работу, и мне крайне больно (именно больно!), что Вы так хлопочете. Не стесняйтесь, прошу Вас написать обо всем откровенно: всякая правда легче недомолвок. Я ведь все смогу понять. <...>

Крепко обнимаю Вас, крепко целую, шлем Нине Леонтьевне и Вам наши лучшие пожелания.

Надеюсь, теперь Вы сразу напишите, не станете терзать меня молчанием.

Всегда Ваш, всегда с Вами Игорь.

Narva-Iõsuu, Vabaduse, 3
ENSV Нарва-Иезу, Вабадузе, 3,
Эстонская ССР.

P. S. Не думаете ли Вы, что правильнее писать «Нарва-Иезу» вместо «Усть-Нарвы», которой теперь фактически не существует? «Ериван»... «Тбилисси»... «Таллин»... Кажется, я прав.

18

Написано в период от 21.05 до 23.05.41 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич,
заставил себя сесть к столу и одним махом переписать десять стихотворений. Теперь у Вас, по крайней мере, будет выбор: что можно, возьмите для печати, остальное оставьте себе на память. Мне очень ценно было бы иметь Ваше мнение *о каждом в отдельности* (о всех пятнадцати). По два — по три слова хотя бы. Надеюсь, здоровье Ваше лучше и Вы уже встали. Напишите, если уже все прошло. Из «Огонька» до сих пор нет.

Я никуда не выхожу: температура, начиная с 4—5 дня, 38—39.

По утрам только и могу работать. А по ночам изнурительные поты.

Я спрашивал адрес Асеева. Но, м<ожет> б<ыть>, он меня не любит? Тогда не надо. Куда поехал Маркушевич? Когда его можно ожидать? Было бы хорошо познакомиться, поговорили бы о Вас. Нине Леонтьевне Верочка и я, как и Вам, шлем приветы. Верочке очень понравились стихи Н<ины> Л<еонтьевны>, в особенности ее любовь к детям.

Обнимаю Вас, целую, Ваш Игорь.

Светлая Нина Леонтьевна, спасибо Вам за стихи — грустные и трогательные, изысканные и хрупкие. Отчего Вы бросили писать? Такие стихи нужны для небольшого круга ценителей. Это тем ценнее.

Берегите моего и своего друга!

Всего хорошего от Верочки и меня.
Игорь.

19

Усть-Нарва, 23 мая 1941 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич,
из Вашей вчерашней открытки рад был узнать, что Вы поправляетесь. О себе, увы, сказать этого не могу...

Я просмотрел все книги, изданные за 23 года отсутствия. Просмотрел наистрожайше. Среди бесчисленного мусора и всякой гнили я отобрал около 80 стихотворений *безусловных.* И вот я решил постепенно их переслать Вам: пусть лежат у Вас,— так надежнее. Кое-что отдадите в журналы, по крайней мере выбор будет. Лучшие стихи оказались в сборнике «Классич<еские> розы». А из других по 2—7. Выходит, что я написал за эти годы очень и очень мало. При моей теперешней строгости мне мало что может нравиться. Но то, что я посылаю Вам, *я люблю,* и стилистически эти вещицы, возможно, *совершенны.* Из них со временем составится неплохой и́збранник (и́сборник).

Что касается слова «предажа», Вы, конечно же, пошутили, что не понимаете!.. (продать — продажа, предать — предажа...).

Только, пожалуйста, не подумайте, мой дорогой, что я послал стихотв<орение> о Н. Н. Гончаровой Вам как-нибудь в пику (Вы на нее ведь по-иному смотрите). Нет, уверяю Вас, я даже забыл о Вашем взгляде и только потом вспомнил. Откровенно говоря, никто из нас не знает *ничего.* Смотря кого читает, каким источникам вверяется. Очень возможно, что она была идеальной женщиной. Не спорю и не могу спорить. Но когда я это писал, мне казалось так (1924 г.). А теперь мне ничего не кажется. Если «предажа» противно звучит, можно всю эту строфу исключить: потеря не из больших. Итак, жду от Вас (когда будет время, конечно) мнения Вашего о каждом в отдельности. Теперь у Вас уже 20 лирических и 10 «портретов». А из тех десяти (политических) два напеч<атаны> в «К<расной> Н<ови>», некоторые отпадают, т<ак> к<ак> я усвоил их никчемность («К англ<ийскому> пролет<ариату>», «Старый Лондон»). А что «Красная страна»? Разве ее никто не берет? На мой взгляд, она неплохо сработана. Не послать ли ее мне Дунаевскому? Посоветуйте вообще, что ему послать. А Белосель-

скому дайте, пожалуйста, возможность скопировать, что ему пригодится.

Обнимаю, целую, люблю. Будьте здоровы. Приезжайте летом: не так уж и дорого обойдется, если купить только билеты.

Всегда Ваш Игорь.

[Приписка на полях:] Остальные 40 пиес я пришлю Вам значительно позже, т<ак> к<ак> переписка для меня крайне тяжела и кладет меня «в лоск».

20

Усть-Нарова, 15 июня 1941 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич,

ждал, ждал от Вас дополнит<ельного> письма, да так и не дождался! Или Вы очень снова заняты, или опять прихворнули. Лишь бы не второе, т<ак> к<ак> на опыте знаю, что это значит...

25 мая в 4 ч<аса> утра со мною произошел сердечный припадок. Верочке пришлось вызвать врача — актера Тригорина-Круглова, заним<ающего> здесь место *земского.* Уже много лет. Кое-как, с грехом пополам, оживил меня... К счастью, дня через два приехал докт<ор> Ривес из Tartu (Юрьева), оконч<ивший> Базе́льск<ий> унив<ерситет>. Он взялся за меня энергично, прописав ряд заграничн<ых> дорогих лекарств: за одну неделю на 42 р<убля>. Велел лежать 12 дней, экономя движения. Мне *чуточку* лучше. Это все... Докт<ор> заходит по средам. Он назначен директ<ором> водолечебницы в Усть-Нарве. Человек соврем<енный>, молодой, ироник и весельчак. И все-таки Вера хочет позвать на днях европ<ейское> светило — проф<ессора> Пуссепа, приехавшего на свою дачу. Вещи, правда, продаем полным ходом, но хватит ли их на светил — не знаю... Кстати, «Огонек» давно уже перевел 200 р<ублей>. Зарплата знатная: по червонцу строка! Жаль, что редко.

Переводы с туркм<енского> мне запрещены, как и вообще чтение и письмо. Но я не слушаюсь, иначе с голода помрем: продавать вскоре нечего будет. Работа, конечно, очень трудная и нудная, но она может дать деньги, и я энергично (понемногу!) работаю. Теперь

взялся за «Серго». Вы, со своей стороны, будьте строги и решительны: исправляйте все, что надо.

Изд<ательство> «Сов<етский> пис<атель>» обратилось ко мне с письмом, прося матер<иал> для № 2 «Ленингр<адского> Аль<манаха>». Я послал 4 сонета, из которых принято 3, «Чайковск<ого>» забраковали по понятным причинам: нытье. Кроме того, взяли с мал<енькими> выпусками «Красную стрелу» (не отдайте ее в какой-нибудь журнал!..).

С сегодняшним присылом стихов у Вас уже накопится 62. О, если бы хоть что-нибудь взяли куда-нибудь: невыразимо трудно болеть в безденежьи!..

Лето у нас кошмарное: холода, ветры, бури, дожди. Солнце пропало. Топим печь через день, готовит В<ера> Б<орисовна> на «Грэтц».

Нине Леонтьевне и Вам Верочка и я шлем сердечн<ые> пожелания. Пишите, очень прошу Вас: переписка с Вами большое для меня удовольствие. Мне кажется, что, получая столько стихов, Вы уже утомились от них. А они все идут... как дождь!

Обнимаю, люблю. Всегда с Вами, Игорь.



Комментарии

К прозаическим жанрам Игорь-Северянин обратился уже в эмиграции, в середине 1920-х годов. Его печатный список книг, изданных или готовящихся к изданию, приложенный к поэме «Колокола собора чувств» (1925) и состоящий из 23-х названий «томов», завершался пометой: «Спутники Солнца. Статьи об искусстве. (Рукопись)». Под статьями об искусстве в данном случае разумелись очерки мемуарно-биографического и критического характера, над которыми поэт начал работать в 1924 г.

В 1937 г., составляя список своего «Собрания поэз», оставшийся в рукописи (РГАЛИ. Ф.1152. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 200), Северянин включил в него две не изданные книги: «Уснувшие весны» (помечена как т. 28 — там же, ед. хр. 13) и «Теория версификации» (соответственно, т. 27 — там же, ед. хр. 12). Последняя рукопись никогда не была опубликована; некоторые фрагменты из первой — появлялись в виде заметок в эмигрантских газетах 1930-х гг. Именно по этим, рукописным, вариантам проза Северянина представлена в настоящем томе. Тексты приводятся по нормам современного правописания, с учетом особенностей авторской орфографии и пунктуации. Встречающиеся в текстах имена раскрываются по возможности при первом употреблении. Том сопровождается указателем имен, а также указателем (по названию и первой строке) всех произведений Северянина, включенных в настоящее издание.

В комментариях и указателях приняты следующие сокращения:

Критика о творчестве — Критика о творчестве Игоря-Северянина. М.: Изд. В. В. Пашуканиса, 1916.

О Игоре Северянине — О Игоре Северянине: Тезисы докладов научной конференции. Череповец, 1987.

Сочинения — Северянин Игорь. Сочинения./Сост. С. Исаков, Р. Круус.— Таллинн: Ээсти Раамат, 1990.

Письма — Северянин Игорь. Письма к Августе Барановой. 1916—1938./Сост. Б. Янгфельдт и Р. Круус.— Stockholm, 1988.

Нами использованы комментарии Р. Крууса в: Сочинения.

СБОРНИКИ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
(указаны тома настоящего собрания)

ГК — Громокипящий кубок (т. 1)
Зл — Златолира (т. 1)
АШ — Ананасы в шампанском (т. 1)
VR — Victoria Regia (т. 1)
Па — Поэзоантракт (т. 2)
ТБ — Тост безответный (т. 2)
М — Миррэлия (т. 2)
РЛ — Ручьи в лилиях (т. 2)
Сол — Соловей (т. 2)
Вер — Вервэна (т. 2)
Мен — Менестрель (т. 3)
ФЕ — Фея Eiole (т. 3)
РОЧ — Роса оранжевого часа (т. 3)
ПС — Падучая стремнина (т. 3)
КСЧ — Колокола собора чувств (т. 3)
СД — Солнечный дикарь (т. 3)
РЛеа — Рояль Леандра (т. 3)
РЯ — Плимутрок. Рассказы в ямбах. Пьесы в рифмах. (т. 3)
КР — Классические розы (т. 4)
ЛС — Литавры Солнца (т. 4)
Мед — Медальоны (т. 4)
Адр — Адриатика (т. 4)
ОР — Очаровательные разочарования (т. 4)

«УСНУВШИЕ ВЕСНЫ»

Печ. по рукописи РГАЛИ (Ф. 1152. Оп. 1. Ед. хр. 13), переданной в архив вдовой поэта В. Б. Коренди в 1946 г. В ряде случаев этот, последний авторский текст (подготовленный Северяниным в 1937 г.) отличается от текста первоначальных газетных публикаций. Не имея возможности проверить все случаи отличий, составители предпочли ограничиться рукописным источником, не указывая соответствующих разночте-

ний. Кроме того, рукопись «Уснувших весен», вероятно, не была полностью подготовлена к печати: ряд текстов, в нее вошедших, являются черновыми и не представляют литературного интереса. Поэтому из настоящей публикации исключены следующие письма в редакции прибалтийских газет: «Цветущая Бессарабия (Письмо из Кишинева)» (1933), «Письмо в редакцию» (1930), «Открытое письмо Игоря-Северянина редактору «Последних Известий» (1925), «Открытое письмо Казимиру Вежинскому» (1937). Очерк «Румынская генеральша», представляющий собой черновой вариант, оборван в рукописи на полуслове. Мы печатаем «Румынскую генеральшу» по полному тексту этого очерка, находящемуся в другой рукописи РГАЛИ (ф. 1152, оп. 1, ед. хр. 11, вместе с очерком «Гроза в Герцеговине»).

Название книги «Уснувшие весны» — заключено автором в кавычки; в рукописи — помета: *«Слова Лескова»*. Николай Семенович Лесков (1831—1895) был одним из любимых авторов Северянина (см. стихотворение «На закате», КР).

Из воспоминаний о К. М. Фофанове

Фофанов Константин Михайлович (1862—1911) первым оценил талант Северянина, который считал его своим главным учителем поэзии. Они познакомились 20 ноября 1907 г. Этот день потом Северянин ежегодно отмечал. Дружба поэтов продолжалась до смерти Фофанова. Ему Северянин посвятил одно из лучших своих стихотворений «Весенний день» (1911; ГК) и много других. *Башкиров-Верин* Борис Николаевич — поэт из дореволюционного окружения Северянина, который называл его «Принц Фиолевый Сирени», ему посвящен сборник Северянина «Соловей» и несколько стихотворений. После революции Северянин встречал его в 1922 г. в Берлине. В письме к А. Д. Барановой из Берлина (23 окт. 1922 г.) Северянин писал: «Мой верный рыцарь — Принц Сирени — поэт Борис Никол<аевич> Башкиров-Верин — 8-го приехал из Ettal (около Мюнхена),— где он живет с композ<итором> С. Прокофьевым,— чтобы повидаться со мной. Он пробыл в Берлине 8 дней, и мы провели с ним время экстазно: Стихи лились, как вино, и вино — как стихи». (Письма. С. 30). Башкиров-Верин был другом юности Прокофьева. 18 июня 1922 г. Прокофьев писал Э. Дамской из Эттале: «Я много работаю, меньше гуляю и по вечерам играю с Б. Н. <Башкировым-Вериным> в шахматы. Затеяли мы с ним конкурс: кто лучше переведет сонеты Эредия (J.-M. de Hérédia), в сонетной же форме. В этих сонетах сам черт ногу

переломит. В жюри выбраны Бальмонт и Северянин... Они ставят отметки и делают очень пикантные примечания» (Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева, М., 1973. С. 222—223). О Башкирове-Верине см. также: Рождественский В. Страницы жизни. М., 1974. С. 344—348.

Лохвицкая Мирра Александровна (1869—1905) — поэтесса, бывшая поэтическим кумиром Северянина. Ей посвящено множество стихотворений поэта («И она умерла молодой...», 1909 и «Рондолет», 1910 и др.) и сборник «Миррелия» (Берлин, М., 1922). *Миррелия* — страна поэтических грез, названная именем Лохвицкой, «Где нет ни больных, ни лекарств,/ Где люди не вроде людей». *Кульбин* Николай Иванович (1870—1917) — военный врач, художник и искусствовед, теоретик русского футуризма; принимал участие в поэзоконцертах И. Северянина. *Афанасьев* Леонид Николаевич — поэт из окружения И. Северянина. *Коринфский* Аполлон Аполлонович (1868—1937) — поэт, беллетрист, фольклорист. *Измайлов* Александр Алексеевич (1873—1921) — критик, беллетрист, автор выдержавшей три издания книги литературных пародий «Кривое зеркало». *Ясинский* Иероним Иеронимович (1850—1931) — писатель, журналист; издавал и редактировал журналы: «Новое слово», «Ежемесячные сочинения», «Беседа», «Почтальон». Ему посвящено стих. Северянина «Весенняя яблоня. Акварель» (1910; ГК). *Меньшиков* Михаил Осипович (1859—1918) — публицист, сотрудник «Нового Времени». *Лебедев* Владимир Петрович (1869—?) — поэт и беллетрист. Лебедев, Коринфский, Афанасьев, Величко были участниками сборника «Молодая поэзия», 1895. *Суворин* Алексей Сергеевич (1834—1912) — писатель и журналист, с 1868 г. издатель и редактор газ. «Новое Время», владелец издательства и драматического театра.

О творчестве и жизни Фофанова

Пашуканис Викентий Викентьевич (?—1919), известный книгоиздатель, много издававший И. Северянина. *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт, очень популярный в 1890-е гг. См. об отношении Северянина к Надсону в очерках «Цветы неувядные» и «Встречи с Брюсовым». *Голенищев-Кутузов* Арсений Аркадьевич (1848—1913) — известный в свое время поэт, Почетный академик. *Величко* Василий Львович (1860—1904) — популярный в 1890-е гг. поэт, лауреат Грибоедовской премии Академии наук. *К. Р.*— вел. кн. Константин Константинович Романов (1858—1913) — поэт и переводчик, лауреат Пушкинской премии.

Цветы неувядные (Лирика Фофанова).

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — литературовед и библиограф, профессор Петербургского университета.

Встречи с Брюсовым.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) одним из первых оценил творчество Северянина, он же в 1915 г. написал большую аналитическую статью, вошедшую в сборник «Критика о творчестве Игоря Северянина» (М., 1916). См. Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1975. С. 444—458. *И только две из тридцати вышли...*— Имеются в виду брошюры Игоря Лотарева «Гибель „Рюрика“» (Спб., 1904) и «Подвиг „Новика“» (Спб., 1904). *Соловьев* Сергей Михайлович (1885—1942) — поэт, переводчик, критик, биограф В. С. Соловьева. *Я послал нашедшиеся у меня брошюрки и написал в ответ.*— Полный текст письма Брюсову от 19 окт. 1911 г. приводится в кн.: Сочинения. С. 484. *«Строя струны лиры клирной, братьев ты собрал на брань»* — начало послания В. Я. Брюсова «Игорю Северянину» (Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М., 1973. С. 201—202). *Провозглашенный мною в ту пору Эго-футуризм.*— В январе 1912 г. Северянин вместе с несколькими входящими в его литературное окружение поэтами выпустил в виде листовки программный документ новой поэтической школы: Академия эгопоэзии (Вселенский Футуризм). См.: Сочинения. С. 485—486, а также: Курсанов А. В. Дороги и тропы русского литературного авангарда: эго-футуризм (1911—1922 гг.)//Русский разъезд, № 1, С.-Пб., 1993. С. 109—148. *«Король на плахе. Королевство — уже республика»* — начало стих. Северянина «На летуне» (17 февр. 1912), которое он послал Брюсову 20 фев. 1912 г. с припиской: «Ваша тонкая поэза, ко мне обращенная, вдохновила меня на отклик, который я и посылаю Вам при этом письме». *Издатель «Петербургского глашатая» И. В. Игнатьев.*— Изд-во поэта и критика Ивана Васильевича Игнатьева (1892—1914), одного из теоретиков и организаторов группы эго-футуристов, «Петербургский глашатай» (1912—1914) выпускало газету с тем же названием (всего вышло 4 номера) и альманахи эгофутуристов. См. о нем ниже очерк «Газета ребенка». *Приступая к набору альманаха «Орлы над пропастью», просил меня написать Брюсову и предложить ему сотрудничество.*— «Орлы над пропастью» — третий альманах «Петербургского глашатая», в который Брюсов дал стих. «Игорю Северянину

(Сонет-акростих с кодою)». В ответном письме от 10 окт. 1912 г. Северянин, поблагодарив Брюсова за его сонет, послал ему стих. «Валерию Брюсову. Сонет-ответ (акростих)», впоследствии вошедший в ЗЛ. *От Вольфа... от Карбасникова.*— Имеются в виду крупные книготорговые и издательские фирмы «Товарищество М. О. Вольф», основанное Маврикием Осиповичем Вольфом (1825—1883) и товарищество Николая Павловича Карбасникова (1852—1921). *Московский литературно-художественный кружок* существовал с 1898 г., с 1905 г. В. Я. Брюсов становится фактическим его руководителем. См.: Шик Н. Валерий Брюсов и Московский литературно-художественный кружок//Брюсовские чтения 1980 года. Ереван, 1983. *Иоанна Матвеевна* Брюсова (урожд. Рунт; 1876—1965) — переводчица. *Добролюбов* Александр Михайлович (1876—1944) — поэт-декадент, с конца 1890-х гг. ушедший в религиозное сектантство. *Джинджер* (англ. ginger) — имбирный напиток. *Мой дебют в «Эстетике»* — Общество свободной эстетики, основанное в 1907 г. *Гончарова* Наталья Сергеевна (1881—1962) и *Ларионов* Михаил Федорович (1881—1964) — художники-авангардисты, супруги. *Я прочел 30 стихотворений и был хорошо принят.*— Ср. анонимную заметку об этом выступлении в газ. «Голос Москвы» (1912. 21 дек.):

«Игорь-Северянин, выступивший вчера в кружке „Эстетика“,— „эго-футурист“.

Он грезит о чудесном замке, где „лиловеют разнотонами станы нежных поэтесс“ и где все прекрасно „оттого, что груди женские — здесь не груди, а дюшес“.

Современность ему противна: „Гнила культура, как рокфор“. Поэтому от лица „эго-футуристов“ он заявляет, что „потрясающих утопий мы ждем, как розовых слонов“. От слонов Игорь Северянин переходит к кокотке и предлагает ей где-нибудь на модном катанье остановить мотор, скинуть манто, белье и прочее и появиться нагой на удивленье „цилиндров“, т. е. буржуа.

Даже ко всему привыкшая публика „Эстетики“, слушая Игорь-Северянина, не могла удержаться от смеха, самого откровенного простого смеха, какой вызывает бессмыслица у людей здравомыслящих.

Следует прибавить, что все свои произведения г. Игорь-Северянин не читал, а пел или завывал на мотив какого-то вальса, покачиваясь из стороны в сторону. Смешно было с самого первого выхода, но все-таки вначале публика сдерживалась. Но когда поэт стал нараспев рекомендовать ка-

кое-то „мороженое из сирени“, заявляя, что крем-брюле уже надоел,— смех победил.

Общий смех вызвало еще одно стихотворение, где Игорь-Северянин от лица какой-то белолицей девушки рассказывает о том, как жила в тропических странах „с индианками плоскокурносыми“, как ее возлюбленный индеец был подстрелен каким-то скваттером, примчался в ранчо, покрытый ранами.

Обливал яркой кровию пол.
Я кормила индейца бананами,
Уважать заставляла свой пол.

Вообще кровь в Игорь-Северянине, несмотря на его псевдоним, тропическая: в его глазах „кострят экстазы“, кузине своей он обещает погрузиться в ее Ниагару, „сенокося твой спелый июль“.

Так как аплодисментов все же было очень мало, то поэт объявил:

Я сам себе боюсь признаться,
Что я живу в такой стране,
Где четверть века центрит Надсон,
А я и Мирра в стороне.

Однако и это не подействовало. Тогда Игорь-Северянин встал в позу и объявил, что настанет время, когда восторжествует

Моя двусмысленная слава и недвусмысленный талант.

Затем Валерий Брюсов прочел два стихотворения, посвященные Северянину, „старых граней разрушителю“.» (Цит. по: Сочинения. С. 488—490). *София Исааковна* Дымшиц (1886—1963) — художница, жена А. Н. Толстого. *Львова* Надежда Григорьевна (1891—1913) — поэтесса, дебютировавшая в 1911 г. в журн. «Русская мысль» (№ 11), лит. отделом которого заведовал В. Я. Брюсов. *Мы обменялись поцелуем с ней.*— Этому эпизоду посвящено стих. Северянина «Ее каприз» (1918; Сол). *Мой выпад в ямбах против Надсона.*— Северянин имеет в виду начальные строки своего стих. «Поэза вне абонемента» (1912; ГК). *Брюсов неоднократно давал в «Русской мысли» заметки о моих стихах.*— Например, Брюсов касается творчества Северянина в статье «Сегодняшний день русской поэзии. (50 сборников стихов 1911—1912 гг.)» (Рус. мысль. 1912. Кн. 7. Отд. 3). *Его заметка о моей «Златолире».*— В статье «Год русской поэзии. (Апрель 1913 — апрель 1914). Порубежники» (Рус. мысль. 1914. Кн. 6. Отд. 3) Брюсов критически отозвался о 2-й книге Северяни-

на, которая, по его мнению, не оправдала надежд, вызванных предыдущим сборником «Громокипящий кубок». *Отповедь в стихах* —«Поэза для Брюсова» (1915; VR). *Видно из его примечания к большой статье.*— В подстрочном примечании Брюсов отвергает заявления Северянина о том, что Брюсов ему завидует. См.: Гиндин С. Статья «Игорь Северянин» в эволюции и наследии Брюсова-критика//О Игоре Северянине. С. 27—31. *Мы сидели в отдельном кабинете какого-то отеля.*— Об этом эпизоде см.: Шенгели Г. Валерий Брюсов// Лит. Армения. 1980. № 9. С. 96—97. *Балкис Савская.*— Так Северянин называл Марию Васильевну Домбровскую (Волнянская; 1895—?). Ей посвящено 8-е изд. «Громокипящего кубка» (М., 1915) и др. стих. Домбровская выступала под этим именем на поэзоконцертах Северянина. Использование имени библейской царицы Сабейского царства связано с поэмой М. А. Лохвицкой «На пути к Востоку» (1897).

Беспечно путь свершая

Маринетти Филиппо Томазо (1876—1944) — создатель и теоретик европейского футуризма, в 1909 г. провозгласивший «Первый манифест футуризма»; в 1913 г. приезжал в Россию. *Я даже совершил турне по Крыму.*— Это турне в январе 1914 г. описано Северяниным в поэме «Колокола собора чувств». См. также: Поливанов К. М. Два турне Игоря Северянина зимой 1914 г.//О Игоре Северянине. С. 38—41. О встрече И. Северянина с В. Маяковским в Берлине в 1923 г. см. ниже его «Заметки о Маяковском». *Кусиков* Александр Борисович (1896—?) — поэт-имжинист.

Салон Сологуба

Тэффи (Бучинская Надежда Александровна; 1872—1952) — писательница; сестра поэтессы Мирры Лохвицкой. В библиотеке Северянина сохранилась ее книга «Городок. Новые рассказы» (Париж, 1927) с надписью: «Игорь Северянин! Помните синий тюльпан? Теффи». *Глебова-Судейкина* Ольга Афанасьевна (1885—1945) — драматическая актриса, танцовщица; жена художника С. Ю. Судейкина (1884—1946). Ей посвящено стих. Северянина «Поэза предвесенних трепетов» (3 л) и «Голосистая могилка». См.: Мок-Бикер «Коломбина десятых годов...» Париж — С.-Пб., 1993. С. 97—100 (1931). *Бестужев-Гиппиус* — Гиппиус Владимир Васильевич, (псевд. Вл. Бестужев, Вл. Нелединский; 1876—1941) поэт, критик, педагог, директор Тенишевского училища; Автор

статьи о Северянине «Русская хандра» (Критика о творчестве. С. 87—98). *К. Эрберг* — Сюннерберг Константин Александрович (псевд. Конст. Эрберг; 1871—1942) — поэт, критик, философ. *Щепкина-Куперник* Татьяна Львовна (1874—1952) — поэт, драматург, переводчик Ростана, Шекспира, Лопе де Вега и других. *В кабинете Чеботаревской* — Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876—1921) — писательница, жена Ф. К. Сологуба; издала книгу: О Сологубе. Критика, статьи и заметки (Спб., 1911), состоящую только из положительных отзывов. Ей посвящено стихотворение Северянина «Лучистая поэза» (1913; АШ). *И ныне в этой зале шумной* — из стих. Ф. Сологуба «Люблю я все соблазны тела...». *Брюсова, выпустившего книжку северянизированных стихов под псевдонимом моей героини Нелли.*— Стихи Нелли. С посвящением Валерия Брюсова М., Скорпион, 1913. 64 с. *Triple sec Couantreau* — сорт ликера. *Кто же был у Сологуба.— Арабажин* Константин Иванович (1866—1929) — критик и литературовед. *Аничков* Евгений Васильевич (1866—1937) — литературовед и критик. *Верховский* Юрий Никандрович (1887—1956) — поэт, литературовед. *Щеголев* Павел Елисеевич (1877—1931) — историк, литературовед, редактор журн. «Былое». *Философов* Дмитрий Владимирович (1872—1940) — литературный критик, публицист. *Рукавишников* Иван Сергеевич (1877—1930) — поэт и беллетрист. *Потемкин* Петр Петрович (1886—1926) — поэт, сотрудник журн. «Сатирикон». *Каратыгин* Вячеслав Гаврилович (1875—1925) — композитор и муз. критик. *Кречетов* (псевд.) — Соколов Сергей Алексеевич (1878—1936) — поэт, владелец изд-ва «Гриф», редактор журн. «Искусство» (1905), «Перевал» (1906—1907). *Тиняков* (псевд. Одинокий) Александр Иванович (1886—1932) — поэт, журналист, критик (псевд. Герасим Чудаков). См. о нем мемуарный очерк Г. Иванова в «Китайских тенях» (Г. Иванов. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С. 471—482). *«Заложники жизни»* — драма Ф. К. Сологуба, премьера которой в Александринском театре (режиссер В. Э. Мейерхольд) состоялась 6 ноября 1912 года.

Сологуб в Эстляндии

Как из Римского-Корсакова.— Здесь и ниже речь идет об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844—1908) «Садко» (1897). В автобиографической справке (Критика о творчестве. С. 5) Северянин называет Римского-Корсакова, наряду с Тома, Пуччини, Чайковским, своим любимым

композитором. Ему посвящено стих. Северянина «Памяти Н. А. Римского-Корсакова» (1908; П). *Тию* — эст. Tiiu. Так Северянин называл Фелиссу Круут (1902—1957), с которой обвенчался 21 дек. 1921 г. *«Миньона»* — «Миньон» (1866), опера франц. композитора Шарля Луи Амбруаза Тома (1811—1896). *Расхотел в Кутаисе продолжать с ним турнэ.*— О литер. турне Ф. Сологуба и И. Северянина по Грузии весной 1913 г. см.: Авалиани Л. «Грузия... навсегда останется в моей памяти...»//Лит. Грузия. 1981. № 3. *Леля* — Елена Яковлевна Золотарева, Северянин был отцом ее дочери Валерии, родившейся в 1913 году. *«Заветы»* — лит., научн. и политич. ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге (1912—1914); в февр. 1913 г. в нем были напечатаны стих. Северянина «Кузнец» и «В одиночестве». *Старый Перник* — фамилия почтальона в Тойла; ср. стих. «Почтальон» (1918; Püh). *Удреас* — Утриа (Utria) — курортный поселок между Тойла и Нарва-Йыэсу. *Мартэль* (фр. martell) — сорт коньяка. *Мэтерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский поэт и драматург. *Уайльд* Оскар (1854—1900) — англ. писатель. См. комментарий к «Блесткам». *Шницлер* Артур (1862—1931) — австрийский прозаик и драматург. *Передонов* — персонаж романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» (1905). *Играл, в бытность свою в Риге, Рихард Вагнер* — нем. композитор Р. Вагнер (1813—1883) был в 1837—1839 гг. в Риге музыкальным директором театра Холтея.

Эстляндские триолеты Сологуба

В своем «Соловье» я сказал о нем.— Имеется в виду стих. «Сологуб» (1918; Сол). *«Русский Бодлэр», называет его Ю. Айхенвальд.*— Рус. критик Юлий Исаевич Айхенвальд (1872—1928) в книге «Силуэты русских писателей». Вып. III (М., 1910. С. 110) в эссе «Федор Сологуб» писал: «Русский Бодлэр, он, подобно своему прототипу, тоже не мог осилить того первородного и прирожденного мещанства, которое заставляет нас, хотим мы этого или нет, с миром соглашаться и его принимать». Бодлер Шарль (1821—1867) — франц. поэт, которого Северянин называл в числе своих любимых поэтов и стихи которого переводил. *Портрет поэта работы Сомова.*— Портрет Ф. Сологуба выполнен Константином Андреевичем Сомовым (1869—1939) в 1910 г., репродуцирован в журн. «Аполлон» 1913, № 9. *Вертинский* Александр Николаевич (1889—1957) — исполнитель эстрадных песен (в том числе и на слова Северянина), популярных в русской эмигрантской среде и часто издававшихся в 1920-е гг. *Я перечту*

вслух из его «Очарований земли».— В библиотеке Северянина сохранилась книга Ф. К. Сологуба «Очарования земли» (Спб., 1914) с дарственной надписью «Милому Игорю Васильевичу Северянину Федор Сологуб». Далее Северянин приводит отрывки из стихотворений этого сборника. *Венден* — Цесис (Cesis), *Зегервольде* — Сигулда (Sigulda) — города в Латвии. *Леонид Андреев в своих путевых заметках говорит, что остзейские немцы испакостили ее... чистотою.*— В очерке «Путевые впечатления.— Рига.— Балтийское море» Л. Н. Андреев пишет: «Самыми обильными по количеству камней и наиболее красивыми по виду являются развалины замка Зегевольд, но и тут немец напакостил по-своему: чистотой. Посреди развалин разведен прекраснейший цветник, каждый камушек пригнан к камушку и чуть не заномерован, зубья стены, несомненно, вычищены порошком, на видном месте доска: „Здесь запрещается производить нечистоту“ — и где уж тут ютится баронский дух, понять трудно». (Андреев Л. Полн. собр. соч.: В 8 т. Спб., 1913. Т. 6. С. 247). *В 1912 году, когда и написал два стихотворения.*— Имеются в виду стих. «Морская памятка» и «Морской набросок». *Габриеле* Д'Аннунцио (1863—1939) — итал. писатель.

Умер в декабре. (Памяти Ф. Сологуба)

Я спрашивал себя в моем «Менестреле».— Имеется в виду стих. «Поезда душевной боли». *Виснапу* Хенрик (1890—1951) — эстр. поэт, был в дружеских отношениях с Северяниным, который, начиная с 1919 г., переводил на рус. яз. его стихи. *А письмо его было ответом на мое.*— См. отрывок из этого письма: Сочинения. С. 495.

Осиянный. (О творчестве Алексея Масаинова)

Масаинов Алексей Алексеевич — поэт из окружения Северянина. Печатался в изданиях эго-футуристов, например в совместных, в том числе и с Северяниным, альманахах 1915 г. «Очарованный странник» и «Винтик»; около 60 стих. Масаинова вошли в поэзоальманахи «Мимозы льна» и «Острова очарований» (1917). В эмиграции вышло несколько его книг, в том числе сборник «поэз» «Отходящие корабли» (Париж, 1924). Ему посвящено Лэ II (Вер). *Назову фамилии докладчиков.*— *Виноградов* Андрей — поэт из окружения Северянина, автор книг стихов: Мои стихи. Вятка, 1911; Птица Радости и Птица Печали. Спб., 1913. Ему посвящены стих. Северяни-

на «Весенние триолеты» (1913; VR), «Эстляндская поэза» (1914; Püh). *Закржевский* Александр Карлович (1886—1916) — литератор и художественный критик (псевд. А. Днепровский), автор книги «Лермонтов и современность». Киев. 1915. *Ховин* Виктор — поэт из окружения Северянина, редактор альм. «Очарованный странник». Альманах интуитивной критики и поэзии. № 2. Спб., изд-во О. М. Вороновская-Ховина. 1913. 16 с. *Крючков* Дмитрий Александрович (1887—1938) — поэт, участник альманахов эго-футуристов, автор книг стих.: Падун немолчный. Пг., «Листопад», 1913. 24 с.; Цветы ледяные. Вторая книга стихов. Пг., «Очарованный», 1914. 16 с. Ему посвящено стих. Северянина «Грандиоза» (1911; АШ). *Ходасевич* Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, критик, литературовед, мемуарист. *Рубанович* Семен Яковлевич (?—1932) — поэт, участник многих альманахов и сборников; автор статьи об И. Северянине «Поэт эксцессер» в: Критика о творчестве. С. 61—73. *Королевич Вл. В.*— поэт, автор сборников: «Смуглое сердце». М.: «Единорог». 1916. 16 с.; «Сады дофина». М.: тип. «Синема». 1918. 32 с., участник нескольких альманахов. *Шенгели Г. А.* См. примечания к письмам Шенгели к Северянину. *Я выпустил с ним два альманаха («Мимозы льна» и «Острова очарований»).*— Мимозы льна. Поэзоальманах 2-х. И. Северянин «Амфора Эстляндская». А. Масаинов «Новые поэзы». Пг., «Амис», 1916. 77 с.; Острова очарований. Альманах 2-х. И. Северянин: Поврага. Койт и Эмерик. А. Масаинов: Колдовство. Пг., «Ариэль», 1917. 77 с. *Он принимал участие в альманахе «Винтик».*— Винтик. Альманах новых поэтов. И. Северянин, А. Масаинов, А. Виноградов, А. Толмачев. Пг., «Венера», 1915. 79 с.

Успехи Жоржа («Сады» Георгия Иванова)

Иванов Георгий Владимирович (1894—1958) — крупный поэт рус. эмиграции, прозаик. *Устроенном журналом «Gaudeamus».*— «Gaudeamus» — еженедельный лит.-худож. журнал для студенчества, издавался в Петербурге с янв. по апр. 1911 г., вышло 11 номеров. Редактором стихотв. отдела журнала был поэт-акмеист Владимир Иванович Нарбут (1888—1938). В журнале были напечатаны 3 стих. Ахматовой. *Всего в нем было четверо: Я, Иванов, Арельский и Олимпов.*— Г. Иванов был членом ассоциации эго-футуристов, первая его книга была издана под маркой изд-ва «Ego»: Г. Иванов. Отплытие на о. Цитеру. Поэзы. Книга первая. Спб., «Ego», 1912. Грааль Арельский (С. С. Петров; 1889—?)

выпустил книгу «Голубой ажур» (Спб., 1911). Впоследствии вместе с Ивановым отошел от эго-футуризма, стал членом «Цеха поэтов». Позже вернулся к своей основной профессии — астрономии. Граалю Арельскому Северяниным посвящены стихотворения: «Грандиоз» (1910; АШ), «В ресторане» (1911; АШ), «Граалю Арельскому» (рецензия на его «Голубой ажур») (1911; П). *Вскоре Иванов и Арельский мне изменили окончательно.*— 24 мая 1912 года И. Северянин писал В. Брюсову: «Давно собираюсь Вам сообщить, что Грааль Арельский и Георгий Иванов, „оставшись со мною в лучших отношениях“, в ректорате Академии Эго-поэзии больше не состоят и „футуризму не сочувствуют“: гг. синдики „Цеха поэтов“ „нашли несовместимым и то и другое“, и вот — „им пришлось делать выбор“... Все это, конечно, смешно, но и грустно: Грааль Арельский — одаренная натура, а Иванов обладает вкусом» (Цит. по: Богомолов Н. А. Талант двойного зрения//Г. Иванов. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989 (Из литературного наследия). *Теперь у меня в руках четвертая книга стихов известного поэта Георгия Иванова — «Сады».*— Сады. Берлин [1923]. В дальнейшем Северянин цитирует строки из стихотворного сборника. *«Теплый месяц вздохнет...»* — из стих. «Легкий месяц блеснет над крестами забытых могил...». *«Малиновка моя, не улетай»; чай из «неуклюжих стаканов»; «струю кипятка последний луч позолотил слегка»; «проплывающие облака воображать большими парусами»* — из стих. «Глядит печаль огромными глазами...». *«С чуть заметным головокруженьем»* — из стих. «В середине сентября погода...». *«Очарованная одалиска»* — из стих. «Из облака, из пены розоватой...». *Те слова, которые я прочел ему более десяти лет назад в своем сонете.*— Сонет (1911; ЗЛ), кроме того, Северянин посвятил Иванову «Диссону» (1912; ГК).

Шепелявая тень

Название пародирует общий заголовок мемуарных очерков Г. Иванова «Китайские тени» *Как-то в «Звене».*— «Звено» — литературный журнал, выходивший в Париже до 1928 г. под ред. М. М. Винавера и П. Н. Милюкова. *«Это была не передняя, а кухня».*— Ср.: «Северянин жил на Средней Подьяческой. [...] Чтобы попасть к нему, надо было пройти не то через прачечную, не то через кухню, в которой занимались стиркой несколько женщин» (Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 455). *Поэту-народнику Петру Ларионову.*— П. А. Ларионов — поэт из окружения Северянина, вме-

сте с ним печатался в альм. «Поэзоконцерт», ему посвящен «Триолет» (1909; АШ). К. Фофанов называл его «Перунчик». Ср. о посещении в февр. 1918 г. московского «Кафе поэтов»: «Однажды кафе посетил Северянин. [...] В военной гимнастерке, в солдатских сапогах, он был обрюзглив и надменный. Его сопровождала жена — „тринадцатая“ и, значит, последняя. Заикающийся, взлохмаченный ученик, именовавшийся почему-то „Перунчиком“. И еще какие-то персонажи. [...] Северянин пустил вперед „Перунчика“. Тот долго представлялся публике. Читал стихи Фофанова и Северянина, посвященные ему самому. [...] Опустившийся, диковатый и нетрезвый, читал он неинтересно и вяло». (С. Спасский. Маяковский и его спутники. Л., 1940. С. 104—105).

«Новая простота...»

Профессор Р. Брандт.— Брандт Роман Федорович (1853—1920) — языковед, историк литературы, поэт, переводчик, педагог; автор большой статьи «О языке Игоря Северянина» (Критика о творчестве. С. 128—157). *Не могу не изумиться Антону Крайнему.*— Антон Крайний — псевд. Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869—1945), так она подписывала свои критич. статьи.

Газета ребенка

(И. В. Игнатьев и его «Петербургский глашатай»)

«Нижегородец» — газета, выходившая в 1911—1914 гг., в которой активно сотрудничали эго-футуристы. *Лукаш* Иван Созонтович (1891—1940) — рус. писатель, в начале творчества входил в окружение Северянина, при его содействии вышла его первая книга «Цветы ядовитые» — стихотворения в прозе; Северянин посвятил ему: «Промельк» (1911; АШ), «Вне» (ЗЛ) и др. *Я пробовал выпускать его на своих вечерах.*— см. коммент. к очерку «Шепелявая тень». *На другой день после свадьбы перерезал себе горло.*— И. В. Игнатьев покончил с собой 20 янв. 1914 г. Ср.: «Люба принесла известие из студии, что директор „Петербургского глашатая“, бедный Игнатьев, хотел зарезать свою жену и зарезался сам» (Блок А. А. Записные книжки. М., 1965. С. 203). См. о нем: Крючков Дм. Памяти Ивана Васильевича Игнатьева// Очарованный странник. Спб., 1914. Вып. 3; Харджиев Н. И. Памяти Ивана Игнатьева//Харджиев Н. И., Тренин В. В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970.

Мариинская опера — Императорский Мариинский театр в Петербурге, основан в 1860 г. *«Рогнеда»* (1865) — опера Александра Николаевича Серова (1820—1871). См. стихотворение Северянина «Тайна песни» (1918; С). *«Игорь»* — опера Александра Порфирьевича Бородина (1833—1887) «Князь Игорь». *Стравинский* Федор Игнатьевич (1843—1902) — оперный певец (бас), отец композитора И. Ф. Стравинского. *Славина* Мария Александровна (1858—1951) — певица (меццо-сопрано). *Долина* Мария Ивановна (1868—1919) — певица (контральто). *Куза* Валентина (Ефросинья) Ивановна (1868—1910) — певица (сопрано). *Чета Фигнеров* — Фигнер Медея Ивановна (1859—1952),— певица (драматическое сопрано) и Фигнер Николай Николаевич (1857—1918), певец (лирико-драматический тенор). *Карякин* Михаил Михайлович (1850—1897) — певец (бас). *Бзуль* Анастасия Степановна — певица (меццо-сопрано). *Яковлев* Леонид Георгиевич (1858—1919) — певец (лирико-драматический баритон). *Чернов* Аркадий Яковлевич (1858—1904) — певец (баритон). *«Вампучность»* — комическая условность (от назв. оперной пародии М. И. Болконского «Вампука», поставленной Р. А. Унгерном в театре «Кривое зеркало» в 1908 г.). *Доницетти* Гаэтано (1797—1848) — итал. композитор. *Беллини* Винченцо (1801—1835) — итал. композитор. *Стравинский* Игорь Федорович (1882—1971) — рус. композитор, ко времени написания этих автобиографич. заметок был автором опер «Соловей» (1914) и «Мавра» (1922). *Прокофьев* Сергей Сергеевич (1891—1953) — рус. композитор, к этому времени был автором опер «Игрок» (1916) и «Любовь к трем апельсинам» (1919). В 1920-е годы Северянин состоял с ним в переписке. *Тома* Шарль Луи Абруаз (1811—1896) — франц. композитор, которого вместе с Пуччини, Чайковским и Римским-Корсаковым Северянин называл своим любимым композитором. *Леонкавалло* Руджеро (1856—1919) — итал. композитор. *Пуччини* Джакомо (1858—1924) — итал. композитор. *Россини* Джоакино Антонио (1792—1868) — итал. композитор. *Мейербер* Джакомо (1791—1864) — нем. композитор, пианист и дирижер. *Церетелли* (Церетели) Акакий Акакиевич — антрепренер, содержавший частную оперу в Харькове; в нач. 1900-х гг. гастролировал в Петербурге. *Дракули* Александр Николаевич — антрепренер, содержавший оперную труппу, выступавшую до 1908 г. на сцене Большого зала консерватории в Петербурге. *Гвиди* Карло — антрепренер Петербургской итал. оперы. *Народный дом* — театр Народного дома

императора Николая II на Петроградской стороне. *В музыкальной драме...*— Театр муз. драмы, выступавший на сцене консерваторского театра, был открыт в 1912 г. *Липковская* Лидия Яковлевна (1882—1958) — певица (колоратурное сопрано), артистка Мариинского театра и театра Музыкальной драмы. В письме к А. Д. Барановой от 22.VI.1925 г. Северянин сообщает: «В Берлине виделся почти ежедневно с Липковской, и Лидия Яковлевна предложила мне в октябре устроить совместно с нею концерты в Париже и Бессарабии». (Письма. С. 56). Точно известно одно такое выступление: 2 июня 1934 г. в Бухаресте. Липковской посвящено стихотворение «Лидия Липковская» (КР), о ней упоминается в романах «Падучая стремнина» и «Рояль Леандра», в «Поэме беспоэмия» (ТБ) и др. *Кузнецова-Бенуа* Мария Николаевна (1880—1966) — певица (колоратурное сопрано). В эмиграции организовала Частную Русскую Оперу, которая открыла свой первый сезон в Париже 27 янв. 1929 г. оперой «Князь Игорь». См. упоминание об этом событии в письме к А. Д. Барановой 5.II.1929 г. (Письма к Барановой. С. 59). *Беллинчиони* Джемма (1864—1950) — итал. певица (сопрано). *Гай* Мария (1879—1943) — исп. певица (меццо-сопрано). *Боронат* Олимпия (графиня Ржевусская) — певица итал. оперы (сопрано). Ей посвящены стих. Северянина «Боронат» (1910; VR), «В альбом Олимпии Боронат» (1909; П). *Арнольдсон* Сигрид (1861—1943) — швед. певица (колоратурное сопрано). Ей посвящено стих. Северянина «Арнольдсон» (1910; П). *Баттистини* Маттиа (1856—1928) — итал. певец (драм. баритон). *Руффо* Титто (1877—1953) — итал. певец (баритон). *Ансельми* Джузеппе (1876—1929) — итал. певец (тенор). *Наваррини* Франческо (1855—1923) — итал. певец (бас). *Зембрих* Марчелла (1858—1935) — польск. певица (колоратурное сопрано). *Кавальери* Лина (1874—1944) — итал. певица (сопрано). *Собинов* Леонид Витальевич — певец (тенор). Ему посвящено стих. «К слухам о смерти Собинова» (1919; М), которое первоначально называлось «На смерть Собинова» и было связано с ошибочным сообщением газеты «Ревельское слово» (10 апр. 1919 г.) о смерти Собинова от тифа. *С 1896 г. до весны 1903 г. я провел преимущественно в Новгородской губ., живя в усадьбе «Сойволе».*— См. об этом в поэме Северянина «Роса Оранжевого часа» и комментарии к этой поэме. *Светлов* (Ивченко) Валериан Яковлевич (1860—1935) — писатель, историк балета, балетный либреттист; редактор журн. «Нива». *Я стал издавать свои стихи отдельными брошюрами.*— Таких брошюр (от 2-х до 24 страниц) с 1904 по 1912 гг. Северянин издал 35. *Лухманова* Надежда Александровна

(1848—1908) — писательница. *Ив. Наживин свез мою брошюру «Интуитивные краски» в Ясную Поляну.*— См. об этом: И. Ф. Наживин. Из жизни Л. Н. Толстого. М., 1911. С. 87—88. *Наживин* Иван Федорович (1874—1940) — писатель-толстовец.

Трагический соловей

Мравина (настоящая фамилия Мравинская) Евгения Константиновна (1864—1914) — певица (лирико-колоратурное сопрано). Мравина была сестрой по матери Александры Михайловны Коллонтай (урожд. Домонтович; 1872—1952), которая оставила воспоминания о Мравиной («Советская музыка», 1964, № 4). *Дебютировала она в «Риголетто» на императорской Мариинской сцене.*— Мравина действительно дебютировала в опере Верди «Риголетто» в партии Джильды 7 авг. 1885 г., но не в Мариинском театре, а в итал. городе Витторио. См. о ней: Григорьева А. Е. К. Мравина. М., 1970. *Князь Сергей Волконский в своих «Оперных воспоминаниях».*— Волконский Сергей Михайлович, кн. (1860—1937) — директор императорских театров (1899—1902), театральный и музыкальный критик, мемуарист. В своих «Оперных впечатлениях» он писал о Фигнере: «Главный же его недостаток был в непомерном самомнении, которое сквозило во всем его поведении, окрашивало собой все его роли. Он выдвигал себя, он заискивал перед райком, он создавал свою личность, свою славу, он работал на себя, не для искусства, и влияние его было не художественно, в нем было слишком много пошлости — нарядность его была исключительно внешняя» (Волконский Сергей. Мои воспоминания: В 2-х тт. Т. 1. М., 1992. С. 159). *Зимой 1906 г., в Петербурге Мравина дала в зале Дворянского собрания свой прощальный концерт.*— Концерт состоялся 18 марта 1906 г. Критик Н. Соловьев так писал в рецензии на этот концерт: «В чем г-жа Мравина сильно подвинулась, так это в экспрессии. Некоторые нумера были спеты ею прелестно, с очень тонкою нюансировкой, и песня Груни (из оперы Серова «Вражья сила») была передана с таким выражением, так детально, так изящно и притом с чисто русской простотой, что, сознаюсь, я такого прекрасного исполнения песни Груни никогда не слыхал». (Биржевые ведомости. 1906, 21 марта). *Навстречу мне поднялась с кресла совершенно согбенная старуха.*— Ср.: Отчего так жутко-онемело/Поднялась навстречу мне она? («У Е. К. Мравиной». Март 1913; VR). *Вскоре ее не стало.*— Е. К. Мравина умерла от паралича сердца 12 (25) октября 1914 г.

Каменская Мария Даниловна (1854—1925) — певица (меццо-сопрано). *Чупринников* Митрофан Михайлович (1866—1918) — певец (тенор). *Макарова* Александра Арсеньевна — певица (меццо-сопрано). *Пела ли она Кармен, Амнерис или Лауру («Джоконда»).*— Кармен — героиня оперы франц. композитора Ж. Бизе (1838—1875) «Кармен» (1874). Амнерис — персонаж оперы итальянского композитора Дж. Верди (1813—1901) «Аида» (1870), Лаура — персонаж оперы итал. композитора А. Понкиелли (Понкьелли) (1834—1886) «Джоконда» (1876). *«Севильский цирюльник»* — опера (1816) итал. композитора Дж. Россини. *Клементьев* Лев Михайлович (1868—1919) — артист оперы (лирико-драмат. тенор). *Матвеев* (сценич. псевдоним Васильев) Александр Матвеевич (1876—1961) — певец (драматич. тенор). *Арцыбашева Е. И.*— жена М. И. Арцыбашева (1878—1927), который редактировал в Варшаве (вместе с Д. В. Философовым) газету «За Свободу!» *Образцов* (наст. фамил. Шанфирин) Лев Михайлович (1865—1942) — артист оперы (баритон). *Большаков* Николай Аркадьевич (1874—1958) — певец (лирико-драматич. тенор). *Лабинский* Андрей Маркович (1872—1941) — певец (лирико-драматич. тенор) и педагог. *«Гугеноты»* — опера (1835) Дж. Мейербера. *Акцери* (настоящая фамилия Ирецкая) Наталья Константиновна (1874—1940) — певица (лирико-колоратурное сопрано) и педагог. *Ван-Брандт* (сценич. псевд. Клабановская) Надежда Тимофеевна (1882—1925) — выдающаяся оперн. певица (лирико-колоратурное сопрано). *Лакмэ* — героиня оперы франц. композитора Лео Делиба (1836—1891) «Лакмэ» (1883). *Премьера в Петербурге «Золотого петушка»* — состоялась в 1909 г. *Андреева* (Петровская) Мария Осиповна — артистка оперы (меццо-сопрано). *Нерон* — персонаж оперы Антона Григорьевича Рубинштейна (1829—1894) «Нерон» (1876). *Сук* Вячеслав Иванович (1861—1933) — дирижер, композитор. *Эспозито (автор «Каморры»)* — Эудженио (Евгений Доминикович) Эспозито (1863—после 1935) — композитор и дирижер. *«Адриена Лекуврер»* — опера (1902) итал. композитора Франческо *Чилеа* (1866—1950). *«Германия»* — опера (1902) итал. композитора Альберто *Франкетти* (1860—1942). *«Царь-плотник»* — имеется в виду опера нем. композитора Альберта *Лорцинга* (1801—1851) «Царь и плотник, или Два Петра» (пост. 1837). *«Дон Пасквале»* — опера (1843) итал. композитора Гаэтано *Доницетти* (1797—1848). *«Пуритане»* — опера (1835) итал. композитора В. Беллини. *«Эрнани»* (1844) и *«Отелло»*

(1886) — оперы итал. композитора Дж. Верди. *«Елена»* — опера (1903) франц. композитора Камила *Сен-Санса* (1835—1921). *«Кащей»* — опера «Кащей Бессмертный» (1902) Н. А. Римского-Корсакова. *«Сорочинская ярмарка»* — опера (окончена Ц. Кюи в 1916) Модеста Петровича *Мусоргского* (1839—1881). *«Лючия»* — опера «Лючия ди Ламмермур» (1835) Г. Доницетти. *«Моряк-скиталец»* («Летучий голландец») — опера (1841) нем. композитора Р. Вагнера. *«Заза»* — опера (1900) итал. композитора Р. Леонкавалло. *«Гамлет»* — опера (1868) франц. композитора А. Тома. *«Гибель Фауста»* — такой оперы у франц. композитора Гектора Луи *Берлиоза* (1803—1869) нет. Возможно, Северянин имеет в виду его ораторию «Осуждение Фауста» (1846). *«Фиделио»* — единственная опера (1805) немецкого композитора Людвига ван *Бетховена* (1770—1827). *«Мадмуазель Фифи»* — опера (1903) Цезаря Антоновича *Кюи* (1835—1918).

Загадочный кучер

Гамалея Всеволод Гаврилович (1883—ок. 1942) — пианист, профессор Петроградской консерватории. *...вечер стихов и музыки в Печерах...* — Местная газета поместила в разделе хроники сообщение об этом выступлении: «8-го сентября Печерским русским об-вом просвещения был устроен вечер в зале гимназии, где современный поэт Игорь Северянин и известный пианист Гамалея блестяще исполнили программу вечера; первый читал свои стихи, а второй исполнил вещи великих композиторов Чайковского, Бетховена и Шопена. Публика осталась довольна. Аплодисментам не было конца. Из публики были поднесены исполнителям роскошные букеты цветов» («Голос народа», Печеры, 1929, 15, 16 сент.). Об этом же вечере Северянин сообщал в письме к А. Д. Барановой от 1.XI.1929: «8-го сент. я дал концерт в Печерах (б. город Псковск. губ.). Это у границы. Погода была отчаянная: холод, дождь, буря. Собралось все же почти $^3/_4$ зала, и успех был очень большой: „восторгам не было границ". От нас до Печер 12 ч. езды через Тапе, Юрьев, Валк и Верро. Живописный мужской монастырь на окраине городка. Холмистая местность. Население русское. Одна поклонница „в бурю и грозу" за 30 верст в автомобиле съездила, чтобы засыпать поэта цветами из своего имения! Вместе со мною выступал пианист Всеволод Гамалея, б. муж М. Н. Бариновой <Мария Николаевна Баринова (1878—1956) — пианистка, профессор Петроградской консерватории>. Я знаю его с детства, когда он еще был правоведом и ухаживал за моей сестрой. В 1925 г.

мы встретились с ним в Берлине, и я перетянул его в Юрьев, где он с тех пор живет постоянно, изредка концертируя». (Письма. С. 64).

По лесам и озерам

Тойла — маленькое эстонское селение на берегу Финского залива. Северянин впервые посетил Тойла в 1912 г. (ср. «Эстляндские триолеты Сологуба»). В 1914 и 1915 гг. он проводит там все лето. Окончательно обосновался в Тойла Северянин с конца 1917 г. См.: Круус Р. О «эстонском» периоде Игоря Северянина//О Игоре Северянине. *«Прекрасно озеро Чудское».*— Из стих. Николая Михайловича Языкова (1803—1846) «Две картины» (1825). *Пюхайыги* (Pühajogi, эст.— букв. «святая река») — река, протекающая к востоку от Тойла. «Pühajogi» — название одного из поэтических сборников Северянина (Тарту; Одамес, 1919). *О близости имения Елисеева.*— Елисеевы — богатая купеческая семья, их имение находилось недалеко от Тойла. *Пюхтицкий монастырь* — Пюхтицкий Успенский женский монастырь, основан в 1891 г. в виде женской общины «на такое число сестер, какое община в состоянии содержать на свои средства»; в 1892 г. община переименована в монастырь (см.: Пюхтицкий Успенский женский монастырь. М.: Новости, 1991). Монастырь, расположенный в поселке Куремяэ, Северянин часто посещал. Этими прогулками навеяно несколько стих. поэта, в том числе цикл «На колокола» (КР). *Об этом же говорит и Аксаков.*— Северянин имеет в виду книгу Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859) «Записки об ужении рыбы» (1847). *Ирис* — так в некоторых очерках Северянин называет Ф. Круут. *Отец Иоанн Кронштадтский* — Иван Ильич Сергиев (1829—1908), крупный православный подвижник и богослов. Принимал активное участие в создании Пюхтицкой обители. *Княгиня Шаховская* Елизавета построила в монастыре храм во имя Сергия Радонежского (1895), где похоронен ее муж и она сама. *Муж ее, эстляндский губернатор.*— Шаховской Сергей Владимирович (1852—1894) принял деятельное участие в становлении Пюхтицкого православного прихода, а затем монастыря. *Выстроена лютеранином, которому явилась Пюхтицкая Божия на дуб.*— Пюхтицкая чудотворная икона Божией Матери «Успение» найдена на горе Пюхтице («Святая гора») на месте явления Богородицы эстонскому пастуху в XVI веке. Икона была помещена в часовне, на месте которой была выстроена церковь и основан монастырь. Празднование 15 августа.

Дом на диване

Очерк описывает жизнь у озера Ульясте, где Северянин начиная с 1923 г. временами снимал комнату. См.: Круус Р. Сочинения. С. 503—507. *Хозяева* — Иоханнес и Юули Каламеэс. *Комната наша большая.*— Ср. письмо к А. Д. Барановой от 1 июня 1923 г.: «Комната обширная, высокая, светлая, идеально чистая. Внутри — белые сосновые бревна,— что может быть гигиеничнее? На окнах неизменные олеандры, резиновые деревья, кактусы, которые, однако, здесь „дела не портят“...» (Письма. С. 43).

Рассказ моего знакомого

Материальные условия жизни Северянина в Эстонии были достаточно стесненными. Пенсии, которую он получал от эстонского правительства, едва хватало на жизнь. Газеты, где иногда печатался Северянин, часто не платили гонораров, плата за книги и концертные выступления была небольшой. Северянин вынужден был обращаться за материальной помощью к разным лицам и благотворительным организациям. Серьезную материальную поддержку оказывала поэту А. Д. Баранова (см. Письма). В 1936 г. Северянину оказывал помощь С. В. Рахманинов и Рахманиновский фонд в Нью-Йорке (см. Рахманинов С. Литературное наследие. Т. 3. Письма. М., 1980. С. 406). С 1926 г. Северянину за его заслуги по переводу и пропаганде эстонской поэзии нерегулярно выделялись субсидии из государственного фонда, т. н. культурного капитала (см. Письма. С. 22). В последние годы Северянин жил на средства В. Б. Коренди и на случайные выручки от продажи своих старых книг.

Блестки (Афоризмы, софизмы, парадоксы)

Блестки — 100 афоризмов, написанных явно в подражание О. Уайльду, с которым некоторые современники сравнивали Северянина. Ср.: «Он видимо старался походить на Уайльда, с которым у него было нечто общее в наружности» (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. М., 1989. С. 453). В б-ке Северянина в Тойла была книга: О. Уайльд. Афоризмы/Пер. кн. Д. Л. Вяземского. Спб., 1913 с дарственной надписью: «Принцу поэтов — Игорю Северянину книгу его гениального брата подарила Ан. Чеботаревская. Одесса, 17.III.1913». См. также стих. Северянина «Афоризмы Уайльда» (1918; Сол) и сонет «Уайльд» (Мед).

ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Моя первая встреча с Буниным

Впервые: Вести дня (Таллинн), 1939, 14 августа, № 182. Печатается по тексту, подготовленному Р. Круусом: Сочинения. С. 426—428.

Саркуля — деревня Сааркюла, близ Нарва-Йыэсуу, где Северянин поселился в 1938 году.

...на лекцию Бунина, совершавшего поездку по государствам Прибалтики...— И. А. Бунин приезжал в Прибалтику в конце апреля — начале мая 1938 г.: 22 апреля он прибыл в Каунас, выступал в Литве и Латвии; 5 мая из Даугавпилса приехал в Тарту; 10 мая — отбыл в Таллинн. См.: Перов А. Бунин в Риге//Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1975. Вып. 358. С. 358—371; Шумаков Ю. И. А. Бунин в Прибалтике// Таллинн, 1984. № 3. С. 90—96.

Нет, уж я лучше прямо на лекцию, а потом на банкете встретимся.— Лекция Бунина состоялась 11 мая 1938 г. в Таллинне, в концертном зале «Эстония»; по окончании ее в гостинице «Золотой лев» состоялся банкет в честь русского гостя. Сохранилась фотография с этого банкета, опубликованная в таллиннской газете «Русский вестник» (1938, № 37, 14 мая); на ней, вместе с Северяниным и Буниным, сфотографированы эстонский поэт Г. Виснапу, директор таллиннской русской городской гимназии А. Пешков, актер и режиссер русского театра Л. Эберг.

Визит полпреда

Впервые: Вести дня (Таллинн), 1939, 1 сентября, № 198. Печатается по тексту, подготовленному Р. Круусом: Сочинения. С. 423—425.

Появление этого мемуарного очерка связано с теми событиями в жизни дипломата и литератора Федора Федоровича Раскольникова (1892—1939), которые в июле-августе 1939 г. привлекли внимание европейской общественности и широко освещались в зарубежной печати: Верховный суд СССР объявил его вне закона; он опубликовал в парижской газете «Последние новости» (1939, 26 июля, № 6694) заявление «Как меня сделали „врагом народа“», разоблачавшее механизм террора и инсценировки политических процессов в СССР. Кроме того, 23 августа 1939 г. был заключен договор о ненападении между Германией и СССР, определивший напряженную политическую обстановку в Эстонии накануне ввода

в нее советских войск. Политический смысл этой публикации Северянина (которая удостоверяет не только тот факт, что поэт уже в 1930 г. встречался с советским официальным лицом, но и то обстоятельство, что он в 1939 г. без осуждения писал о «враге народа») заключался в том, чтобы декларировать его постоянную позицию: «Всегда был вне политики».

Лето 1930 г. в Тойле.— Ф. Ф. Раскольников был в Эстонии в качестве полномочного представителя СССР с марта 1930 до 1933 г.; поездку в Гунгербург, во время которой он познакомился с Северяниным, он совершал в конце июля 1930 г.

Жена с знакомой барышней...— Ф. Круут и Ирина Константиновна Борман (1901—1985), гостившая в то время в Тойла.

Известный эстонский государственный и общественный деятель — Александр Ойнас (1887—1942), социал-демократ, член Государственного собрания Эстонии, сопровождавший Раскольниковых в поездке.

Очень элегантная и миловидная молодая женщина...— М. В. Раскольникова-Канивез, жена Ф. Раскольникова. Ср. этот эпизод в ее воспоминаниях: «...мы отправились в Гунгербург, известный еще в дореволюционной России морской курорт на Финском заливе. Там, у моря, в чудесном сосновом лесу, мы провели три прекрасных дня. Там же, не помню как, мы познакомились с поэтом Игорем Северяниным. Множество его стихов я знала наизусть. В школе одно время мы увлекались его поэзией. <...> И я с интересом смотрела теперь на бывшего „короля поэтов“. Это был высокий аскетического типа человек, державшийся с большим достоинством. Он был женат на эстонке и жил в Эстонии» (Канивез М. Моя жизнь с Раскольниковым//Минувшее: Исторический альманах. Париж, 1989. Вып. 7. С. 66).

«Годами девочка, а как уже черства...» — стихотворение Северянина «Годами девочка...», вошедшее в сборник «Классические ро́зы»; было опубликовано в рижской газете «Сегодня» 30 марта 1930.

«Когда отечество в огне...» — из стихотворения «Поэза благословения» (VR).

«Ни капли крови и ничьей...» — из стихотворения «Начальники и рядовые!» (М).

«Долой политику — сатанье наважденье!» — начальный стих стихотворения «Долой политику» (1921, сборник «Фея Eiole»).

— *Хотелось бы еще парк и виллу осмотреть.*— В Тойла, недалеко от дома, где жил поэт, располагалась вилла-дворец

купца Елисеева, в то время одна из загородных резиденций президента Эстонии (разрушена во время второй мировой войны).

Гроза в Герцеговине

Впервые: Юность, 1987, № 4. С. 90—92 (публ. И. Хургиной), где опубликован по рукописи: РГАЛИ. Ф. 1152, оп. I, ед. хр. 19. Печатается по этому тексту.

Очерк представляет собою беллетризированную заметку о первом путешествии Северянина и Ф. Круут (в очерке она названа Ирис) по Югославии (всего они были в Югославии три раза). Это было самое длительное их путешествие, продолжавшееся с 21 октября 1930 по 4 марта 1931 г. (См.: Игорь Северянин: Письма. С. 66—67). Рассказ о происшествии — подлинный и подтверждается заметкой Н. Рыбинского «Едва не погиб Игорь Северянин» (Сегодня (Рига), 1931, 3 января, № 2).

...командирован Державной комиссией...— при короле Александре сербское правительство содержало особую комиссию, финансировавшую издание книг и предоставлявшую пособия русским писателям-эмигрантам.

...в средних числах января 1931 года...— Белградские концерты Северянина начались в 20-х числах ноября 1930 г., продолжились в декабре; затем он читал лекции «Первая книга Фофанова» (20 декабря), «Эстляндские триолеты Сологуба» (29 декабря), а 5 января 1931 г. в Научном институте при Палате Академии наук исполнил роман в строфах «Рояль Леандра (Lugne)». См.: Тарановский Ф. В. Русский институт в Белграде за первые шесть лет его деятельности (с 1928/1929 по 1933/1934 акад<емический> год включ<ительно>)//Записки Русского Научного института в Белграде. Белград, 1935. Вып. 11. С. 221.

...долиной Дрины...— река в Югославии, правый приток р. Савы. Ей посвящено стихотворение Северянина «Дрина», помеченное датой: «15 января 1931». (1932. «Адр»).

Полковник ген. шт. А. В. Сливинский...— Александр Владимирович и Мария Андреевна Сливинские владели большой виллой «Флора мира» на далматинском побережье Адриатики.

...загадочная и приманчивая соперница Екатерины Великой...— Имеется в виду «княжна Тараканова» («принцесса Азовская»), жившая в 1773—1774 гг. в Нейсесе, замке в Далмации. Еще в 1923 г. Северянин посвятил ей стихотворение «Dame d'Azow» (КР); в стихотворении «Январь на юге» (да-

тированном 18 января 1931) он упоминает «О Далмации, чей облик бирюзов/И о жившей здесь когда-то Dame d'Azow» (Адр).

...через Ерцегнови и Каттаро, туда, за Ловчен, в занесенную снегами и уютную Черногорию — в Цетинье.— Ерцегнови (Герцеговни) — цепь селений к юго-востоку от Боснии; Каттаро — Котор, город, залив и цепь гор в Югославии, Ловчен — гора в Югославии; Цетинье (Цетине) — столица княжества Черногория до 1918 г.

...через Инсбрук в Швейцарию и Париж.— В Париж Северянин и Ф. Круут прибыли в феврале; 12 февраля состоялся первый концерт поэта в Париже.

...между станциями Мостар и Яблоница.— Мостар — город в Югославии на реке Неретве; Яблоница — следующая станция на пути в Сараево.

...в замке Храстовец, в Словении, вблизи Марибора...— В замке Храстовец (Hrastovac) вблизи пограничного словенского города Марибора И. Северянин и Ф. Круут жили в июле-сентябре 1933 г. (на средства Державной комиссии). Это пребывание отразилось в цикле стихов поэта, вошедших в ОР; цикл называется «Цикламены».

Игорь-Северянин беседует с Игорем Лотаревым о своем тридцатипятилетнем юбилее

Впервые: Вести дня (Таллинн), 1940. 2 февраля, № 27. Печатается по тексту, подготовленному Р. Круусом: Сочинения. С. 429—431.

Началом своей литературной деятельности поэт считал день 1 февраля 1905 г.— в этот день вышел в свет февральский номер журнала «Досуг и дело», напечатавшего стихотворение И. Лотарева «Гибель „Рюрика“». По традиции он отмечал «круглые» годовщины этого события литературными вечерами и новыми публикациями. 14 марта 1940 г. в Таллинне было устроено чествование поэта; на этом вечере он в последний раз публично читал свои стихи: «Давно уже Игорь Северянин не читал с таким настроением, как на этом вечере. Встреченный шумными овациями всего зала, он сразу как-то преобразился. Каждое прочитанное им стихотворение вызывало шумные аплодисменты, публика долго, настойчиво требовала все новых и новых его выступлений» (Вести дня, 1940, 15 марта, № 61).

Форма «автоинтервью» — распространенный в русской журналистике фельетонный жанр, определяющий ироническую тональность очерка.

Начало улицы Свободы.— В это время Северянин жил в Нарва-Йыэсуу на улице Вабадузе, название которой он буквально переводит на русский язык.

Вейкюла — деревня близ Нарва-Йыэсуу.

...бронзовый бюст хозяина, работы молодого эстонского скульптора Альфреда Каска.— Этот бюст А. Каск вылепил в 1929 г.

На некоторых из них я снят с женой, с которой расстался вот уже пять лет.— Имеется в виду Ф. Круут; фотографии И. Северянина с нею публиковали некоторые газеты. Он расстался с нею весной 1935 г., переехав из Тойлы в Таллинн. Однако церковный брак их не был расторгнут, и Северянин не хотел предавать гласности свои изменившиеся личные обстоятельства.

...моей новой подруге...— Спутницей последних лет жизни поэта стала Вера Борисовна Коренди (урожд. Запольская).

Заметки о Маяковском

Впервые: Таллинн, 1988, № 5. Печатается по изд.: Сочинения. С. 402—417 (текст подготовлен Р. Крусом по машинописной копии Государственного музея В. В. Маяковского в Москве). Датируется 31 января 1941 года — это самое последнее прозаическое произведение Северянина. Всего вероятнее, оно не предназначалось для печати, хотя именно в эти годы появилась серия воспоминаний о Маяковском друзей его молодости. В письме к Г. А. Шенгели от 7 марта 1941 г. поэт заметил: «Материалы о Маяковском, понятно, вряд ли возможно напечатать из-за интимностей. Было бы чудесно продать в музей. Очень прошу». Личные и творческие взаимоотношения Маяковского и Северянина наиболее детально рассмотрены в работе: Харджиев Н. Маяковский и Игорь Северянин// Russian Literature. 1978. V.6. № 4. P. 307—346.

Берлин. 1922 г. Осень...— И. Северянин и Ф. Круут приехали в Берлин 6 октября 1922 г. и прожили там до середины декабря.

— Или ты не узнаешь меня, Игорь Васильевич?..— Ср. описание той же встречи в очерке «Беспечно путь свершая...»

Читаю и я «Весенний день», «Восторгаюсь тобой, молодежь»...— Популярные стихотворения И. Северянина из сборников «Громокипящий кубок» и «Victoria Regia».

...Есенин с Айседорой только что уехали перед нашим приездом в Америку.— С. А. Есенин и Айседора Дункан

(1877—1927) были в Берлине в мае-июне 1922 г.; затем посетили Бельгию, Италию и Францию и в октябре из Парижа отбыли в США.

...устроили в «Накануне» четыре мои книги...— В берлинском издательстве «Накануне» (выпускавшем одноименную газету просоветского направления) вышли две книги Северянина: «Соловей» и «Трагедия Титана. Космос. (Изборник I)». Два других «изборника» — «Царственный паяц. Сатира и ирония» и «Форелевые реки. Лирика» — изданы не были.

Володя уехал уже в Париж...— Маяковский выехал из Берлина в Париж 18 ноября 1922 г.

Штеттин...— Щецин, порт в Польше.

Вскоре Ф. М. поссорилась со Златой...— О Злате см. примечания к ПС, поэме, целиком посвященной любви его к этой женщине.

Она прочла в газете «Голос России» мою «Поэзу отчаянья»...— стихотворение 1920 г., вошедшее в сборник «Фея Eiole» (1922); впервые оно появилось не в газете «Голос России», а в нью-йоркской газете «Новое русское слово» (1921, 14 июля, № 3092).

...осенью 1921 г... я только что расстался с Марией Васильевной...— Речь идет о М. В. Домбровской (Волнянской), знаменитой «Тринадцатой» И. Северянина.

...г. Лившицу, моему берлинскому импрессарио...— импрессарио поэта в Берлине был Озиас Лившин.

...рекомендация Гзовской и Гайдарова...— В. Г. Гайдаров и О. В. Гзовская, русские актеры, познакомились с Северяниным в Таллинне в декабре 1920 г., затем вместе с ним ездили в Ригу. См. Гзовская О. Пути и перепутья//Ольга Владимировна Гзовская.— М., 1976. С. 157—158; Гайдаров В. В театре и кино.— Л.; М., 1966. С. 98—99.

...в большом зале филармонии вечер моих стихов...— Вечер состоялся 21 ноября 1922 г.

Софья Сергеевна Шамардина...— См. о ней примечания к КСЧ.

...Валентина Ивановна Гадзевич...— См. примечания к КСЧ.

Володя был верным другом...— По свидетельству И. Грузинова, Маяковский так отзывался о совместной поездке с Северяниным в Симферополь: «И вот, когда мы доехали с ним до Харькова, то я тут только обнаружил, что Игорь Северянин глуп» (Грузинов И. Маяковский и литературная Москва//Встречи с прошлым. М., 1978. Вып. 3. С. 190).

Владимир Иванович Сидоров (Вадим Баян) ...выпустил

книгу «Лирионетты и баркароллы» (?!)...— Сборник стихов В. Баяна «Лирический поток: Лирионетты и Баркароллы» (М., 1914) вышел с предисловиями И. Северянина и И. Ясинского.

Он предложил мне турне по Крыму...— Об этом турне см. в КСЧ и примечаниях к поэме.

Маяковский и не думал сердиться: выучил наизусть...— Ср. в воспоминаниях С. С. Шамардиной: «После моего знакомства с Маяковским Северянин признал и Маяковского. Я уж не помню, как я их познакомила. Маяковский стал иногда напевать стихи Северянина. Звучало хорошо». (Встречи с прошлым. М., 1988. Вып. 6. С. 144).

В марте 1918 г. в аудитории Политехнического музея меня избрали «Королем поэтов»...— Неточность: Северянин был избран «королем» 14 (27) февраля 1918 г.

Мой друг, Владимир Маяковский...— Это стихотворение Северянин включил в ЛС.

ТЕОРИЯ ВЕРСИФИКАЦИИ

(Стилистика поэтики)

Печ. впервые по рукописи: РГАЛИ, ф. 1152, оп. I, ед. хр. 12. В рукописи после заглавия помета Северянина: «Авторукопись. Работа выполнена исключительно по памяти в сентябре-октябре 1933 г. в замке Hrastovac, Slovenija, Jougoslavie». Источником представлений о метрике для Северянина возможно послужила «Наука о стихе» В. Я. Брюсова. В разделе «Строфика» Северянин называет твердые строфические формы, существовавшие в средневековой поэзии (канцона, вирелэ, лэ и пр.), однако ничего общего с этими строфами не имеющие (см.: Гаспаров М. Л. Северянин-стиховед//О Игоре Северянине. С. 67—68). Особый интерес представляют 10 придуманных Северяниным новых строфических форм (миньонет, дизэль, кэнзель, секста, рондолет, перекат, квадрат квадратов, квинтина, перелив, переплеск), которые он широко использовал в своем творчестве.

Шебуев Николай Георгиевич (1874—1937) — поэт, прозаик, журналист, издатель еженедельного журнала «Весна». См.: Шебуев Н. Г. Друзья мои — книги. М., 1976. *В моем безрадостном томительном запустьи* — альманах «Винтик». Пг., «Венера», 1915. *Мы сходимся у моря под горой* — Мен. *Мой мозг словами «Ты — больной» сжимаешь ты* — Газэлла, 1912, ГК. *Нарцисс Сарона, Соломон* — Рондели, 1911, ГК. *Бо-*

родаевский Валериан Валерианович (1879—1923) — горный инженер, поэт, в 1917 г. комиссар Курского губернского земства. *О не рыдай над мертвым телом* — Рондо, 1907, П. *Пока не поздно, дай мне ответ* — Рондо XX, Вер. *Любовь по существу банальна* — ФЕ. *Я голоса ее не слышал* — Virelai, 1912, ГК. *Каждый день? Не день, а третий год* — ФЕ. *О, сереброголубые кружева* — Нона, Мен. *Пяст* (Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940) — поэт, прозаик, переводчик. См. его «Поэму в нонах», М., 1911. *Витает крыльный ветерок* — Баллада XXI, Вер. *Эстония, страна моя вторая* — Секстина VI, 1920, Вер. *Мей* Лев Александрович (1822—1862) — рус. поэт. *Покаран мир за тягостные вины* — Лэ Ш, Вер. *Черубина де Габриак* — под этим мистифицированным псевдонимом выступила в журнале «Аполлон» Васильева (урожд. Дмитриева) Елизавета Ивановна (1887—1928). *Наша встреча — Виктория Регия* — Виктория Регия, 1909, ГК. *Ветер ворвался в окно* — Дизэль I, Вер. *Птицы в воздухе кружатся* — Кэнзель XII, Вер. *Озвень, окольчивай опетливай* — В Миррелии, 1912, Зл. *Смерть над миром царит, а над смертью — любовь!* — Рондолет, 1910, VR. *На кладбище, на родственных могилах* — Перекат I, 1909, П. *Никогда ни о чем не хочу говорить* — Квадрат квадратов, 1910, ГК. *Любовь приходит по вечерам* — Квинтина IV, Вер. *Я слышу в плеске весла галер* — Образ прошлого, Вер. *В мое окно глядит луна* — У окна, Вер.

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

Письма к Августе Барановой

Баранова Августа Дмитриевна (урожд. Кабанова, 1891—1975), дочь богатого купца, жена юриста и промышленника А. А. Баранова; познакомилась с Северяниным в Москве в 1916 г.; в 1921 г. выехала за границу (жила в Стокгольме и Берлине); активно переписывалась с Северяниным, помогала ему материально. Письма печатаются по изданию: Игорь Северянин: Письма к Августе Барановой. 1916—1938. Сост., подг. текста, введение и комм. Бенгт Янгфельд и Рейн Круус. Stockholm, 1988. (Письма). В примечании использованы комментарии к этому изданию.

1

Где дали вечера — В этом письме Северянин сообщает о своих гастрольных поездках, упоминая поэзоконцерты в Риге

(25 и 27 января 1921 г.), Каунасе (30 марта), Шауляе (8 апреля), Тарту (21 мая). *Вы приедете в Тойлу* — А. Д. Баранова в Тойлу не приезжала; с 1918 г. они с Северяниным лично не встречались. *Я подписал условие с ковенским импрессарио на Берлин* — импрессарио поэта был Ханон Сролевич Лурье (см.: Письма. С. 108); в мае 1921 г. Северянину был разрешен въезд в Германию; однако эта поездка не состоялась. *Посылаю Вам одну из трех выпущенных в Эстии книг.*— Издательство «Odamees» выпустило три книги Северянина: два сборника избранных поэз («Pühajõgi» и «Créme des Violettes») и новый сборник «Вервэна», который и был послан при этом письме. *Мария Асафьевна и Вера Асафьевна* — сестры А. А. Баранова, эмигрировавшие в Швецию вместе с А. Д. Барановой. *Асаф Асафович* — Баранов (1889—1920), муж А. Д. Барановой с 1912 г., юрист, служивший в Московском купеческом банке. *Мария Васильевна* — Домбровская (1895—?), гражданская жена Северянина в 1915—1921 гг.

2

...«Северные огни» Ляцкого...— Ляцкий Евгений Александрович (1868—1942) — критик и литературовед, автор книг о Гончарове, Чернышевском, Чехове, Горьком и др. После революции эмигрировал в Швецию, где организовал русскоязычное издательство «Северные огни», выпустившее в 1920—1921 гг. 20 книг. Проспект сочинений Северянина, вероятно, поступил в издательство, но не заинтересовал его.

3

...на днях я уезжаю в Берлин, оттуда в Париж...— Эта поездка не состоялась. *Я гастролировал там...*— имеется в виду поэзоконцерты Северянина в Таллинне 1, 6, 8, 14 и 29 сентября 1921 г. (ресторан «Villa mon repos», а также 12 сентября в Таллиннском драматическом театре. *...эстийская поэтесса Фелисса Крут, моя невеста...*— Фелисса Михайловна Крут (1902—1957) в декабре 1921 г. стала женой Северянина. *Я благодарен Балькис...*— так Северянин в стихах именовал свою гражданскую жену М. В. Домбровскую (имя героини поэмы Мирры Лохвицкой «На пути к Востоку»); после разрыва с поэтом М. В. Домбровская какое-то время жила в Таллинне, в крайней бедности,— затем следы ее затерялись.

4

...так блистательно двигаетесь по службе...— В 1922—23 гг. А. Д. Баранова была заведующей канцелярией Стокгольмского отделения Российской Железнодорожной Мис-

сии за границей. *...прибавилось 4 книги...* — из четырех перечисленных томов издания в 1922 г. была издана лишь поэма «Падучая стремнина» (Берлин, 1922). Антология «Утеса Эстии» вышла в свет в Юрьеве в 1929 г. (под названием «Поэты Эстонии»); перевод книги эстонской поэтессы Мари Ундер (1883—1980) «Предцветенье» был напечатан только в 1937 г. в Таллинне. Сборник «Литавры солнца» издан не был (впервые напечатан в настоящем издании); с 1922 г. его состав был пересмотрен. *...послать Вам книги свои...* — далее речь идет о сборниках «Фея Eiole» (Берлин, 1922), «Менестрель» (Берлин, 1921) и «Миррэлия» (Берлин, 1922). *«Amores»* — книга эстонского поэта Генрика Виснапу (1890—1951) в переводах Северянина; была выпущена в Москве имажинистами в 1922 г. *Мадлэн* — знакомая Северянина (см. стих. «Поэза для Мадлэны», ТБ), настоящее имя ее не установлено. *Злата* — первая любовь Северянина, Е. Т. Гуцан (см. комм. к поэме «Падучая стремнина», «Воспоминания о Маяковском»). *...в принцы — Лилии, Сирени и Нарциссов... «Принц Лилии»* — А. К. Эссен (см. «Поэзу принцу Лилии», ФЕ; «В блокнот принцу Лилии», ЛС и др.); *«Принц Сирени»* — Башкиров-Верин Борис Николаевич, поэт, после революции эмигрировал в Германию; ему посвящен сб. «Соловей» (см.), стихи «Ты принц от ног до головы», В, «Поэза принцу Сирени, ФЕ; *«Принц Нарциссов»* — Правдин Борис Васильевич (1887—1960), ученый и поэт (см. «Рондо», ФЕ). *...Миррэлия — на Готланде?* — см. примеч. к сб. «Миррэлия» и вступ. статью; Готланд — остров в Балтийском море, принадлежащий Швеции; торжество Миррэлии и Готланда будет обыграно в поэме Северянина «Осенний рейс» (ЛС). *«Все то, что выше жизни...»* — неточная цитата из драматической поэмы Мирры Лохвицкой «Вандэлин (Весенняя сказка)» (1899). *«Поэза о Иоланте»* — стихотворение, вошедшее в сб. ТБ.

5

Мои концерты... — Северянин выступал в Берлине 7 ноября 1922 г. в советском полпредстве (в день пятой годовщины революции) и 21 ноября в берлинской филармонии. *Затем я еду...* — дальнейшие поездки не состоялись. *...он живет с композитором С. Прокофьевым...* — С. С. Прокофьев жил тогда в Эттале (Германия) вместе с Б. Н. Башкировым-Вериным, другом его молодости, и даже участвовал с ним в конкурсе по переводу сонетов И. Эредиа. См. стих. Северянина «Сергею Прокофьеву» (ЛС), а также письмо Прокофьева к Э. Дамской (Ненастьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973. С. 222—223). *Минский* Николай Максимович (1855—1937), поэт; в

первые послереволюционные годы жил в Германии и был председателем правления берлинского Дома искусств. *Венгерова* Зинаида Афанасьевна (1867—1941), критик, историк литературы. *Пуни* Иван Альбертович (1894—1956), художник, в 1921 г. эмигрировал в Берлин, а год спустя — в Париж. *Василевский* Илья Маркович (псевд.: Не-буква; 1882—1938), журналист, писатель-юморист; в 1919—23 гг. жил за границей, затем вернулся в Россию. *Маяковский* Владимир Владимирович — о встречах с ним Северянина см. в этом томе: «Беспечно путь свершая...» и «Воспоминания о Маяковском». *Виснапуу* Генрик (1890—1951) — эстонский поэт, стихи которого Северянин активно переводил. *Гзовская* Ольга Владимировна (1889—1862) — актриса; эмигрировала после революции, в 1943 г. вернулась в СССР; в начале 1921 г., гастролируя по Эстонии, устроила «Вечер романтики и новой поэзии», в программу которого входили и стихи Северянина. См.: «Сонет Ольге Гзовской» (ФЕ), «У Гзовской» (ЛС). *Вакх* — сын Северянина и Ф. Круут, родился 1 августа 1922 г. *Макар Дмитриевич* Кабанов, брат А. Д. Барановой.

6

Маргарита Карловна Кайгородова, жена художника А. Д. Кайгородова (1878—1945); ему посвящено стихотворение «Отзнак» (ФЕ). *Долидзе* Федор Ясеевич (1883—1977) — импрессарио, устроитель литературных выступлений Маяковского, Северянина и других поэтов. *Осенью мы поедем в Россию.*— Эта поездка не состоялась, но мысль о поездке в Россию не покидала Северянина. *«Via Sacra»,* альманах с участием Северянина (пьесы «Плимутрок», «Вакханка из Кальяри», «Аэро-Фарс»), В. Адамса-Александровского, И. Беляева и Б. Правдина. *Маленького Асафа...*— сын А. Д. Барановой, названный по имени отца (род. 30 января 1914 г.) *...стихи, возникшие сегодня внезапно...*— стихотворение «Солнечной женщине», посвященное А. Д. Барановой (ЛС).

7

«Калевипоэг» — эстонский эпос, воспевающий национального богатыря, сына Калева; эпос составлен эстонским ученым Ф. Крейцвальдом по образцу финской «Калевалы» (составленной Э. Леннрутом); был впервые издан в 1857—61 гг. Перевод Северянина не состоялся.

10

С трудом удалось продать...— Указанные Северяниным рукописи вышли далеко не сразу: поэма «Роса оранжевого часа» в 1925 г., а переводы М. Ундер — только в 1937 г. *Сирота* Петр, импрессарио и аккомпаниатор знаменитого тенора Д. А. Смирнова (1882—1944); после революции жил в Таллинне, в октябре 1923 г. Смирнов давал концерты в Хельсинки одновременно с Северянином.

11

В ноябре был в Риге...— концерт Северянина в Риге состоялся 13 ноября 1924 г. *...день двадцатилетней моей литературной деятельности...*— 1 февраля 1905 г. в журнале «Досуг и дело» было опубликовано юношеское стихотворение «Гибель Рюрика» (хотя отдельные брошюрки Северянин начал выпускать, на свои средства, несколькими месяцами раньше).

12

...еду в Берлин...— Северянин уехал в Берлин только в конце апреля. *Костанов* Петр Маркович — учитель музыки; ему посвящено стихотворение «Купанье звезд» (КР). Ася — сын А. Д. Барановой Асаф.

13

...вышли в свет новые поэмы...— «Колокола собора чувств» и «Роса оранжевого часа» *...пишу новый большой роман...*— «Рояль Леандра».

14

...удалось дать 2 вечера...— Первый вечер прошел 4 мая перед публикой Литературно-художественного кружка Берлина, второй, вероятно, на одном из «артистических вторников» Марии *Бран. Липковская* Лидия Яковлевна (1884—1958), колоратурное сопрано, артистка Мариинского театра, жившая в эмиграции в Бухаресте; совместные концерты ее и Северянина не состоялись. *Юрьевская* Зинаида (1892?—1925) — петербургская оперная певица; в эмиграции пела в немецкой опере. *Аскарина* Марина, певица, осенью 1925 г. выступала в Париже. *Чириков* Евгений Николаевич (1864—1932), писатель; Северянин посвятил ему сонет (Мед) и стихотворение «Модель парохода (Работа Е. Н. Чирикова)» (КР). *Немирович-Данченко* Василий Иванович (1844—1936), писатель, автор исторических романов, брат драматурга; Северя-

нин посвятил ему сонет (Мед). *Гайдаров* Владимир Георгиевич (1893—1976), актер, муж О. *Гзовской* (см. прим. к письму от 23 октября 1922).

15

Крыжановская-Рочестер Вера Ивановна (1871?—1924), писательница, автор многочисленных «оккультных» романов; умерла в Таллинне 29 декабря 1924 г.; в ее некрологах получило огласку и бедственное положение писательницы в последние годы жизни.

17

...проезжая Берлин, не могли с Вами повидаться...— с сентября 1927 г. А. Д. Баранова жила в Берлине со своим вторым мужем Федором Федоровичем Перно (1881—1937), инженером, работавшим в фирме Круппа. *Державная комиссия...*— При короле Александре сербское правительство выплачивало русским писателям-эмигрантам месячные пособия и финансировало издание книг. *В Научном Институте в Белграде...*— В Русском Научном Институте в Белграде Северянин выступал трижды: 20 и 29 декабря 1930 г. и 5 января 1931 г. *«Lugne»* — роман в строфах «Рояль Леандра». *Успех был выдающийся...*— об огромном впечатлении, произведенном Северяниным на поэзовечерах в Париже в 1930 г., писали многие современники: Н. Оцуп, М. Цветаева и др. *Ремизов* Алексей Михайлович (1877—1957), писатель; в библиотеке Северянина сохранилось 4 книги Ремизова с дарственными надписями, датированными февралем 1931 г. *Тэффи* — Надежда Александровна Бучинская (1872—1952), писательница, сестра Мирры Лохвицкой; с 1920 г. жила в Париже. *Оцуп* Николай Авдиевич (1894—1959), поэт, с 1923 г. жил в эмиграции, редактировал журнал «Числа», в котором поместил рецензию на парижские выступления Северянина (Числа, 1931, № 5. С. 264—265). *Юсуповы* — князь Феликс Феликсович (1887—1967) и княгиня Ирина Александровна (1895—1970). *Петр Маркович* — Костанов, учитель музыки.

18

...приват-доцент из Юрьева...— Б. В. Правдин. *...магистр философии из Праги...*— Вальмар Теодорович Адамс: после окончания Тартуского университета со степерью магистра философии, он был в 1929—31 гг. стипендиатом при Пражском университете. *...барышня из Гунгербурга...*— Ирина Константиновна Борман (1904—1985), поэтесса; ей посвящено стихотворение Северянина «Стихи сгоряча» (КР) *...вдова*

художника из Ревеля...— Агата Веэбер (1901—1988), вдова художника Куно Веэбера (1898—1929); ей посвящено стихотворение «По Швейцарии» (Адр.) *Карузо* Софья Ивановна, см. комментарий к письмам И. Северянина к С. Карузо. *Книга* моя...— сборник «Классические розы». *Федор Федорович* — Перно, муж А. Д. Барановой (см. примеч. к предыдущему письму).

19

...с начальником культурного отдела...— Эту должность занимал поклонник Северянина поэт Савва Чукалов (1889—1971). *Массалитинов* Николай Осипович (1880—1961) был в то время главным режиссером Народного театра в Софии. *Краснопольская* Татьяна — писательница; ей посвящены стихотворения Северянина «Октава» и «Заклинание» (VR). *Столица* Любовь Никитична (1884—1934), поэтесса; ей посвящен сонет Северянина (ОР). *Федоров* Александр Митрофанович (1868—1949), писатель. *Котляревский* Нестор Александрович (1863—1925), историк литературы, директор Пушкинского Дома; осенью 1922 г. был выслан в Берлин; его вдова, актриса В. В. Пушкарева, умерла в Софии в 1942 г.

20

Сливинские Мария Андреевна и Александр Владимирович, полковник генерального штаба — хозяева имения Дубровник под Рагузой (Югославия), в которой чета Северянинов останавливалась во время турне. *Braithwaite*, миссис — знакомая Северянина по Лондону. *...много читаем...*— перечисленные Северянином книги были изданы в 1929—1931 гг. в Белграде, в серии «Русская библиотека» (в которой вышли и его КР).

23

«Золотой петушок» — журнал, издававшийся в 1934 г. в Кишиневе Л. Г. Евицким; Северянин был активным его сотрудником. Вышло три номера, после чего издание журнала прекратилось. *...читал по радио...*— получасовое радиовыступление Северянина в Белграде состоялось 3 декабря 1933 г. *...открываются курсы версификации...*— возможно, именно с подготовкой к этим курсам связана «Теория версификации», составлявшаяся в сентябре-октябре 1933 г. в замке Храстовац.

24

Стодульский Семен Ильич, литератор, автор «исторической драмы» «Испытания любви»; жил в Кишиневе, вместе с

Северянином участвовал в издании журнала «Золотой петушок». *Столица* Любовь Никитична — см. примеч. к письму от 5 декабря 1931; сонет, ей посвященный, был напечатан в № 2—3 журнала «Золотой петушок», затем был включен в ОР.

26

...в день своего тридцатилетнего юбилея... — имеется в виду годовщина литературного дебюта; см. письма от 5 января и 5 февраля 1925 г. *...устраивают в середине месяца мой концерт...* — чествование Северянина в Таллинне было отложено и не состоялось. *...10 экземпляров новой книги...* — речь идет о романе «Рояль Леандра» (Бухарест, 1935). *Мими*-Вноровская Ольга Леонтьевна, румынская знакомая Северянина, поэтесса; 2 июня 1934 выступала с чтением стихов на вечере Северянина и Л. Липковской; в 1935 г. выпустила, на свои средства, «Рояль Леандра», а в следующем году — книгу собственных стихов. *Шульц* Александр Эдуардович, журналист; ему посвящено стихотворение Северянина «Тоска небытия» (ОР). *Волгин* — Никифоров-Волгин Василий Акимович, беллетрист, автор книг «Земля-именинница», «Дорожный посох» и др.; ему посвящен сонет Северянина (ОР). *...статья Пильского...* — Пильский П. Странствующий рыцарь. 30-летие литературной деятельности Игоря Северянина.//Сегодня, 1935, № 28, 31 января.

Письма к С. И. Карузо

Адресат публикуемых писем Игоря Северянина — Софья Ивановна Карузо (урожд. Ставрокова, 1893—1985) — пока мало известен читателям. Краткие сведения о ней с использованием фрагментов писем см. в публикации Г. И. Евдокимовой («Голос Родины», 1988, № 15, 18) и Л. Н. Ивановой («Час пик». 1993, № 49, 15 дек.; «Вышгород» (Таллинн). 1994, № 1).

Знакомство поэта с молодой почитательницей его таланта состоялось весной 1915 г. в Харькове, на одном из «поэзоконцертов» Северянина. В 1920 г. выпускница Харьковского Института благородных девиц, Софья Ивановна с мужем — офицером царской армии графом А. Г. Карузо и сыном Игорем покинули родину, разделив нелегкую судьбу русской эмиграции «первой волны». В феврале 1931 г. во время очередной зарубежной поездки Северянина, С. И. Карузо, живущая тогда в Брюсселе, узнала из газет о его выступлениях в Париже и напомнила о себе письмом. Так завязалась переписка. Но увидеться им больше не довелось.

Все 34 письма (за 1931—1940 гг.) и сборники стихов с авторскими надписями и пометами С. И. Карузо незадолго до кончины передала в дар России. Избранные письма, помещенные в настоящем собрании сочинений, публикуются по автографам, хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. Полная их публикация предполагается в одном из выпусков «Ежегодника Рукописного отдела Пушкинского Дома». Писем С. И. Карузо к Северянину обнаружить, к сожалению, не удалось.

Подготовка текста писем и примечания к ним Л. Н. Ивановой.

1

Писал о Вас стихи — речь идет о стихотворении «Лилия в море» (КР), первоначально опубликованном в рижской газете «Сегодня» (1930, 24 мая, № 143).

2

Хорошая книга «Грамматика любви» Бунина, «Оля» Ремизова — «Грамматика любви» И. А. Бунина (Белград, 1929) и «Оля» А. М. Ремизова сохранились в библиотеке Северянина (Тарту, Гос. литературный музей им. Ф. Крейцвальда). Книга Ремизова, подаренная Северянину в Париже в 1931 г., имеет дарственную надпись: «Игорю Северянину — с прямой душой и открытым сердцем повесть о пламенном сердце Алексей Ремизов, 5.02.31. Paris». (Переписка с Барановой, С. 134). *Книга вышла в 1928 г.* — речь идет о сборнике «Поэты Эстонии. Антология за сто лет (1803—1902)». Тарту, 1928. *«Классические розы» все еще печатаются* — сборник Северянина «Классические розы» вышел в Белграде в начале сентября 1931 г. *Из какой национальности Александр Григорьевич* — муж Софьи Ивановны — граф А. Г. Карузо (ум. в 1946 г.) происходил из семьи итальянцев, пустивших свои корни в России. *Поэта и магистра философии* — поэт и литературовед Вильмар (Вальмар) Теодорович Адамс (Адамс-Александровский Владимир Федорович; 1899—1993) учился в эти годы в Пражском университете. *Эта обреченная, чуткая, изумительно красивая женщина* — по-видимому, речь идет о Хильде Францдорф (1898—1941), жене эстонского поэта, друга Северянина с 1919 г.

3

Подожду писать в «Баян» — возможно, имеется в виду певческое общество «Баян» в Риге. *Разрушение Храма Хри-*

ста Спасителя — храм Христа Спасителя в Москве был разрушен 5 декабря 1931 г. Обсуждение в печати проектов использования занимаемой им площади началось уже летом. *Все эти «Числа», «Современные записки»* — имеются в виду выходящие в Париже журналы «Числа» (1930—1934) и «Современные записки» (1920—1940). *Все издания «Русской библиотеки»* — к этому периоду в серии «Русская библиотека» (Белград) вышли следующие издания перечисленных авторов: Куприн А. И. «Елань» (1929), «Колесо времени: Роман. Рассказы» (1930); Шмелев И. С. «Въезд в Париж» (1929), «Родное. Из потерянной рукописи» (1931); Бунин И. А. «Грамматика любви» (1929); Мережковский Д. С. «Наполеон». Тома 1—2 (1929), «Тайна Запада. Атлантида—Европа» (1930), «Иисус неизвестный». Тома 1—2 (б. г.); Гиппиус З. Н. «Синяя книга: Петербургский дневник 1914—1917 гг.» (1929); Лазаревский Б. А. «Лиза: Рассказы» (1930); Зайцев Б. К. «Избранные рассказы. 1904—1927» (1929). «Книга-июнь» — Тэффи Н. «Книга-июнь: Рассказы». Белград, 1931. *Вот и стихи мои в «Числах»* — в журнале «Числа» (1931, № 5) опубликованы стихотворения Северянина: «Отличной от других», «Моя удочка», «Не более, чем сон», «Осенние листья», «У лесника». В этом же номере помещена статья Н. Оцупа «Северянин в Париже».

4

От Эстонии (около 100 долларов в год) — в периоды с 1926 по 1931 и с 1937 по 1940 годы Северянин получал субсидии от правительства Эстонии. *Академиком А. И. Беличем* — Белич Александр Иванович (1876—1960), сербский славист, президент Академии наук Сербии, с 1947 г.— почетный профессор МГУ. *А наша англичанка все еще не едет* — имеется в виду Грациелла Брейтвейт, гостившая в Тойле в конце 1932 г.

5

На распродажу новой книжки — имеется в виду сборник «Адриатика» (Нарва, 1932). *Статья Пильского* — П-ский (Пильский П. П.) «Дорожная тетрадь поэта. Новая книга стихов И. Северянина. («Адриатика»)//Сегодня (Рига), 1932, № 223. *Ехать ли нам туда* — поездка Северянина в Англию не состоялась. *Уехать из Тойлы между 20—25 октября* — Северянин выехал из Тойлы лишь 1 марта 1933 г., в Рагузе (Дубровник) побывал летом того же года. *Поэт с одной дамой* — речь идет о В. Адамсе и его невесте. *Инженер Эссен* — Эссен Александр Карлович, сосед и приятель Северянина.

7

Были серьезные причины — «серьезные причины» состояли в том, что 7 марта 1935 г. Северянин расстался с Ф. М. Круут (не оформив развода). *«Рояль Леандра» лежит на складе* — Роман в строфах «Рояль Леандра» вышел в Бухаресте в 1935 г. *Некто Лидия Тимофеевна Рыкова* — впечатлениями о поездке в Тойлу Л. Т. Рыкова делилась в недатированном письме к Ф. М. Круут (см. цитаты из него в статье М. Петрова «Игорь Северянин и его кишиневские друзья»//Молодежь Молдавии, 1987, 20 июня).

Письма к Георгию Шенгели

Георгий Аркадьевич Шенгели (1894—1956) — поэт, переводчик, теоретик стиха. Познакомился с И. Северяниным перед первой мировой войной, в 1916—1917 годах входил в ближайшее окружение поэта, продолжал с ним переписку, когда тот оказался в эмиграции. При содействии Г. Шенгели в советской России были опубликованы два стих. Северянина: «Красная новь», 1941, № 3; «Огонек», 1941, № 13. См.: Коркина Е. Георгий Шенгели об Игоре Северянине//Таллинн. 1987, № 3. Шенгели написал стих. «На смерть Северянина»:

Я помню Вас под Гатчиной
    на Вашей реке форелевой
В смешной коричневой курточке
    с бронзовыми якоречками;
Я помню Вас перед рампами,
    где бурно поэзы пели Вы,
В старомодный сюртук закованы
    и шампанскими брызжа строчками.
И всюду — за рыбной ловлею,
    в сияньи поэзоконцертовом,
Вы были наивно уверены,
    что Ваша жена — королевочка,
Что друг Ваш будет профессором,
    что все на почте конверты — Вам,
Что самое в мире грустное —
    как в парке плакала девочка...

Письма печатаются по изданию: Северянин И. Стихотворения и поэмы. 1918—1941/Составл., послесловие и примеч. Ю. Шумакова, М., 1990. В примечаниях использованы комментарии Ю. Шумакова к этому изданию.

1

Из книжки Вашей узнал о смерти Юлии Владимировны. — Книга стихов Г. Шенгели «Норд» с надписью: «Игорю

Северянину — другу моей лирической весны. Г. Шенгели. 1927. 27.VIII. Москва» хранится в Госуд. литер. музее им. Ф. Крейцвальда в Тарту. *Юлия Владимировна* — первая жена Г. А. Шенгели, с которой он развелся летом 1924 г. Она была жива, Северянин ошибочно и слишком буквально истолковал строки стих. Шенгели: «О, как ты мучилась, как ревновала ты!//И тихо умерла второго ночью мая... О молодость моя! Тебя со мною нет!» *В 1921 г. умерла мама моя.*— Мать И. Северянина умерла 13 ноября 1921 г., похоронена в Тойла.

3

Выехал в Латвию, в Двинск, к одному местному поэту.— Двинск — ныне Даугавпилс; поэт — Формаков Арсений Иванович (1900—1983) — поэт, прозаик, литературовед, музыкант. *Переводчик «Евгения Онегина»* — имеется в виду Бельмонт Лео (1865—1941), его перевод «Евгения Онегина» вышел в 1902 г.

4

Из Toila уехал — после размолвки с Ф. М. Круут Северянин переехал в Таллинн к Вере Борисовне Коренди (урожд. Запольская, по мужу Коренева; Коренди — эстонизированная форма фамилии).

6

Медлил с ответом на кригу — Г. Шенгели. Избранные стихи. 1914—1939. М., 1939. *Две книги Раннита* — Раннит (наст. фам. Долгошев Алексей Константинович, 1912—1986) — эстонский поэт. *Стихотворение «Старый Лондон»* — стих. не было опубликовано.

8

Два томика Байрона — Шенгели послал Северянину два тома Байрона в своем переводе. *Не пришлете ли нам книжку стихов Нины Леонтьевны?* — Н. Л. Шенгели под фамилией первого мужа выпустила книгу стихов: Нина Манухина. «Не то...» Лирика. Кашин. 1920. *Перевод «Моего завещания» Словацкого* — вошел в КР.

9

Лиля Брик, говорят, поместила интересную статью — в этой статье Л. Брик, в частности, писала: «Ему, Маяковскому, доставляло удовольствие произносить северянинские стихи. Он относился к ним почти как к зауми. Он всегда пел

их на северянинский мотив (чуть перевранный), почти всерьез: «Все по-старому», «Поэза о Карамзине», «В парке плакала девочка...», «Весенний день», «Нелли», «Каретка куртизанки», «Шампанский полонез», «Качалка грезерки», «Это было у моря» и много других». (В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 334).

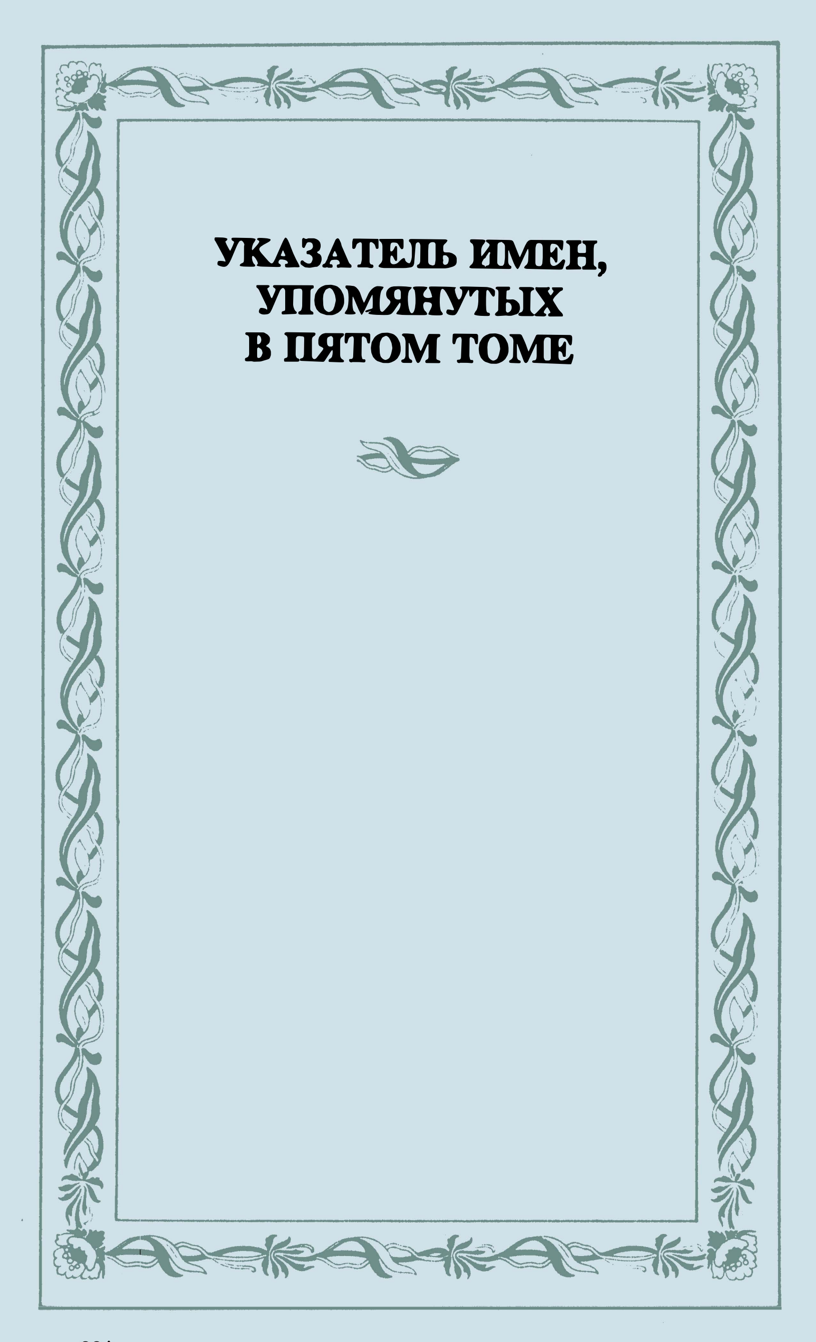
11

Мучает Веру и то, что ее ребенок — дочь В. Коренди и П. Коренева — Валерия (1931—1983).

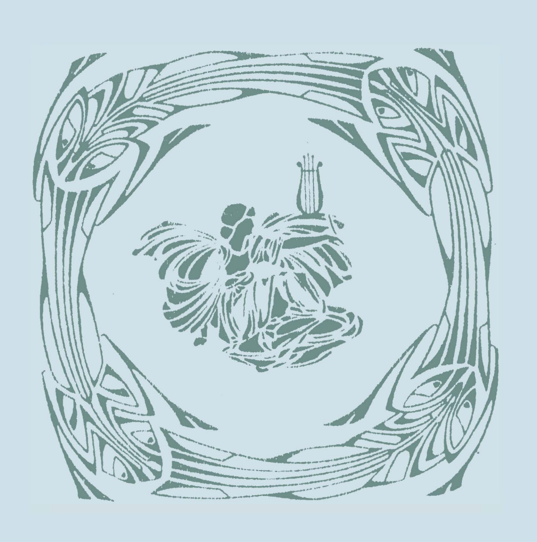
15

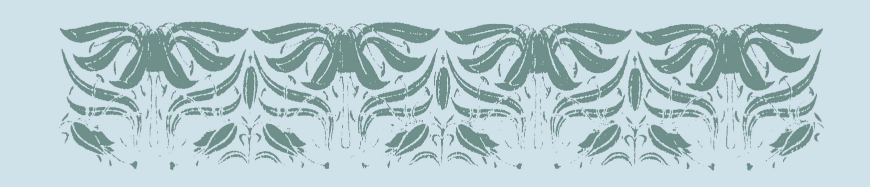
Алле Аугуст (1890—1952) — эстонский поэт. *Барбарус Йоханнес* (1890—1946) — эстонский поэт, первый Председатель Президиума Верховного совета ЭССР. *Гира Людас* (1886—1946) — литовский поэт. *Маркушевич* — работник советских издательств. *Якобсон Аугуст* (1904—1963) — эстонский прозаик и драматург.



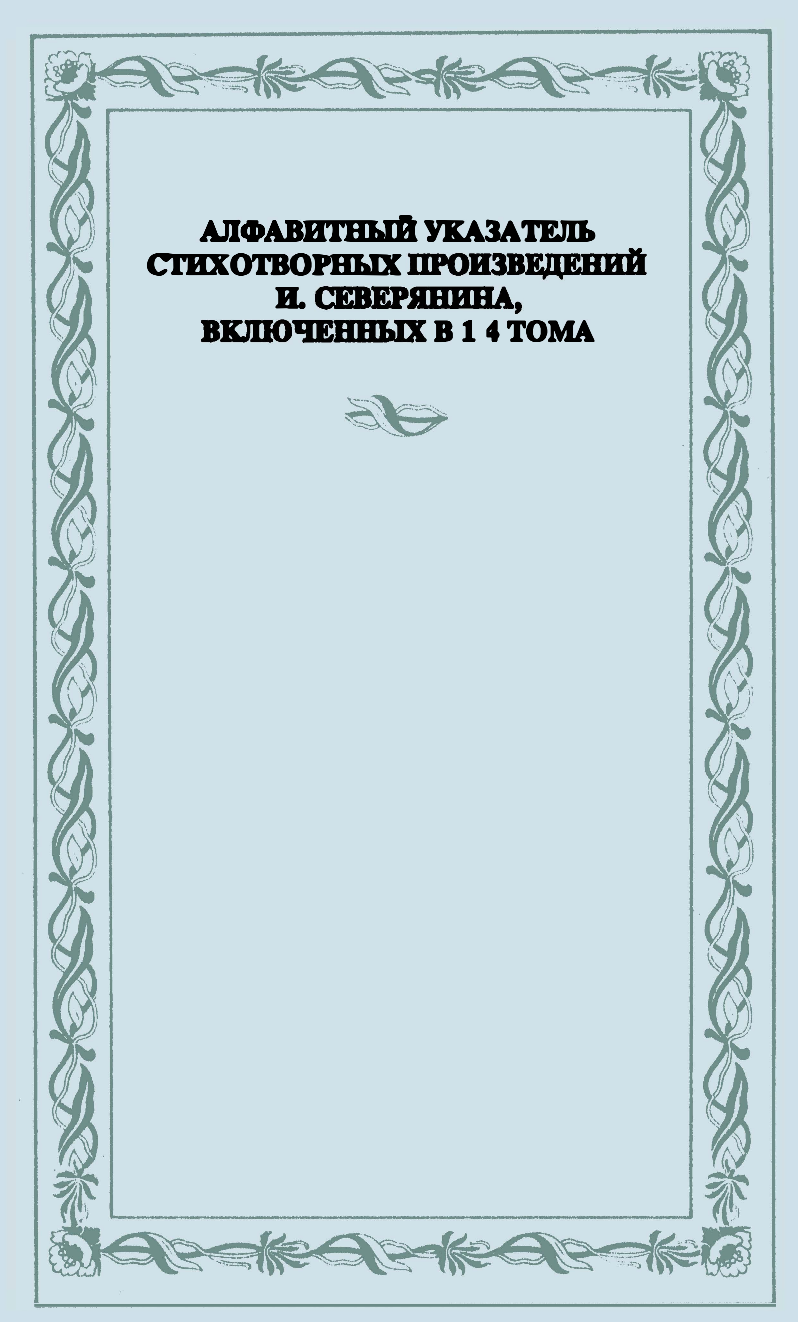


УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, УПОМЯНУТЫХ В ПЯТОМ ТОМЕ









АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. СЕВЕРЯНИНА, ВКЛЮЧЕННЫХ В 1 4 ТОМА







* Кроме тома и страницы в указателе указан сборник, в который входит данное произведение: ГК — Громокипящий кубок; Зл — Златолира; АШ — Ананасы в шампанском; VR — Victoria Regia; Па — Поэзоантракт; ТБ — Тост безответный; Мир — Миррэлия; РЛ — Ручьи в лилиях; Сол — Соловей; Вер — Вервена; М — Менестрель; ФЕ — Фея Eiole; РЯ — Рассказы в ямбах; КР — Классические розы; ЛС — Литавры Солнца; Мед — Медальоны; Адр — Адриатика; ОР — Очаровательные разочарования.

Содержание

«УСНУВШИЕ ВЕСНЫ»

ОЧЕРКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ТЕОРИЯ ВЕРСИФИКАЦИИ
(Стилистика поэтики)

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

Северянин Игорь

С 28 Сочинения. В 5-ти т. Т. 5/Состав., вступ. статья, коммент. В. А. Кошелева и В. А. Сапогова.— СПб.: Издательство „Logos“, 1996.— 400 с.: ил.

ISBN 5-87288-085-5 (т. 5)

ISBN 5-87288-080-4

Игорь Северянин — псевдоним Игоря Васильевича Лотарёва (1887—1941), одного из кумиров читающей публики 1910-х годов. В настоящем собрании сочинений впервые его творчество представляется в возможно полном виде, во всем обилии жанров, к которым обращался «король поэтов»: сборники «поэз» и поздние книги лирики, поэмы и автобиографическая проза, теоретический трактат и избранные письма. Разные по художественным достоинствам, эти произведения, собранные воедино в соответствии с последней авторской волей, позволяют вполне представить и его «двусмысленную славу», и его «недвусмысленный талант».

С $\frac{4702010102}{Г73(03)\text{-}96}$ Подписное **ББК 84.Р1**

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

СОЧИНЕНИЯ

Том 5

Художник *В. Е. Корнилов*
Технический редактор *И. В. Буздалева*
Корректоры: *О. С. Денисенко*, *Л. Б. Лаврова*

ЛР № 030078 от 20.08.96

Сдано в набор 01.11.94. Подписано в печать 28.02.97. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Тираж 3000 экз.
Заказ 499

Издательство „Logos". 190000. Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга»
Комитета Российской Федерации по печати. 198052, г. Санкт-Петербург,
Измайловский пр., 29


LOGOS